

**Программа книгоиздания
«КАНТЕМИР»**

Программа книгоиздания



КАНТЕМИР

«Благодарная Молдавия — братскому народу России»

Благотворители:

Бизнес-Элита, SRL (директор С. В. Марар)

Март, IMSA (директор Ю. О. Дерид)

Инициаторы программы:

Газета руководителя «Бизнес-Элита» (директор С. В. Марар)

Издательство «Нестор-История», Санкт-Петербург
(директор кандидат исторических наук С. Е. Эрлих)

Участники программы:

Бюро межэтнических отношений при правительстве Республики Молдова (директор О. И. Гончарова)

Высшая антропологическая школа (и. о. ректора кандидат исторических наук Р. А. Рабинович)

Институт культурного наследия Академии наук Молдовы (директор доктор исторических наук В. А. Дергачев)

Международная федерация национального стиля единоборств «Воевод» (президент Н. И. Паскару)

Международная федерация русскоязычных писателей (председатель О. Е. Воловик, Будапешт)

Общественная благотворительная ассоциация «Единодушие» (президент Л. А. Мерян)

Семейный центр «Compassiune» (президент А. И. Липецкий)

Союз коммерсантов «Est-Vest Moldova» (председатель С. М. Цуркан)

Союз производителей и экспортеров молдавских вин (председатель доктор технических наук, член-корреспондент Академии наук Молдовы Г. И. Козуб)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «НЕСТОР»
Санкт-Петербург–Кишинев–Париж



ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ ИСТОРИИ

Учредители проекта:

Санкт-Петербургский институт истории
Российской академии наук

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания
и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
(Санкт-Петербург)

Институт лингвистических исследований РАН
(Санкт-Петербург)

Высшая антропологическая школа (Кишинев)

Центр русских, кавказских
и центральноевропейских исследований
Школы высших исследований социальных наук
(Париж)

Социологический институт РАН
(Санкт-Петербург)

Руководитель проекта

Сергей Эрлих

Издатель

Сергей Марар

**Библиотека журнала «Нестор»:
Источники и исследования истории и культуры
России и Восточной Европы
Том XX**

Редакция:

Р. Ш. Ганелин, П. В. Ильин, О. И. Киянская,
Э. И. Колчинский, И. В. Лукоянов (главный редактор),
В. И. Мусаев, С. В. Яров

Редакционный совет:

Е. В. Анисимов, Б. Ф. Егоров, В. Н. Плешков, А. Н. Цамутали
(Санкт-Петербургский институт истории РАН)

Оу Бао
(Университет Цинхуа, Пекин)

В. Берелович
(Школа высших исследований социальных наук, Париж)

Ж. Нива
(Женевский университет)

У. Розенберг
(Мичиганский университет)

Д. М. Фельдман
(Российский государственный гуманитарный университет)

М. Хайнеманн
(Ганноверский университет)

Л. Хеймсон
(Колумбийский университет)

М. Хильдермайер
(Геттингенский университет)

А. М. Эткин
(Европейский университет в Санкт-Петербурге, Кембридж)

Х. Ян
(Кембридж)

Ли́дия Ло́тман

Воспо́минания



Нестор-История
Санкт-Петербург
2007

УДК 882-94
ББК 84Р7-49

Лотман Л. М. Воспоминания. СПб.: Нестор-История, 2007.
280 с., ил.

ISBN 978-598187-228-0

Лидия Михайловна Лотман — литературовед, исследователь русской литературы XIX века, автор многочисленных статей и нескольких монографий, в течение многих лет один из ведущих сотрудников Пушкинского Дома. Предлагаемая книга представляет собой ее воспоминания. Большую часть книги составляют «литературные портреты» известных филологов и деятелей культуры. Перед нами предстают такие выдающиеся люди, как Г. А. Гуковский, Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский, Г. А. Бялый, Д. С. Лихачев, Л. Я. Гинзбург, Ю. М. Лотман, В. Э. Вацуро и многие другие. Рассказ Л. М. Лотман о ее детстве, о семье, в которой она выросла, дает представление о жизни петербургской интеллигенции в 20-е годы прошлого века. Главы, посвященные Юрию Лотману, брату Лидии Лотман, представляют большую ценность для истории филологии в России. Учеба Лидии в аспирантуре была прервана войной: она работала в госпитале, а потом участвовала в эвакуации ленинградских детей-сирот в тыл по «дороге жизни». Повествование о ленинградской блокаде и об организации детдома в тылу — один из самых волнующих разделов книги. Как свидетель и участник событий, Л. М. касается и таких печальных тем, как разгром гуманитарной науки в ходе «антикосмополитической кампании» и преследование ученых. Книга будет интересна широкому кругу читателей, всем интересующимся историей культуры.



© Лотман Л. М., 2007
© Издательство «Нестор-История», 2007

Мы предлагаем вниманию читателей воспоминания Лидии Михайловны Лотман, петербурженки, жизнь которой связана с этим городом: с университетом, где она училась, с Пушкинским домом, где она много лет работала, с Невским проспектом, где она провела детство и юность. Лидия Михайловна общалась, сотрудничала, дружила с замечательными людьми, являвшими собой цвет русской культуры, и большую часть книги составляют «литературные портреты», в которых она показывает и сферу деятельности этих людей, и их характеры и бытовые черты поведения, часто со свойственным ей юмором. Перед нами предстают такие выдающиеся люди, как Г. А. Гуковский, Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский, Г. А. Бялый, Д. С. Лихачев, Л. Я. Гинзбург, Ю. М. Лотман, В. Э. Вацура и многие другие. Рассказ Л. М. Лотман о ее детстве, о семье, в которой она выросла, дает представление о жизни петербургской интеллигенции в 20-е годы прошлого века: знаменитая немецкая школа ПетершULE на Невском проспекте, посещение всей семьей Эрмитажа, уроки музыки, чтение и семейное обсуждение книг, дача, которую семья снимала в Сестрорецке, и, наряду с этим, небогатый и непритязательный быт, иногда даже недоедание. Лидия Лотман, сестра знаменитого Юрия Лотмана, никогда не оставалась в тени своего брата: ни как ученый, ни как личность; но очень любила, уважала и ценила его. Рассказ о Юрии Лотмане, сопровождающийся интересными деталями, веселыми и грустными, представляет большую ценность для истории культуры. Учеба Лидии в аспирантуре была прервана войной: она пошла работать в госпиталь, а потом участвовала в эвакуации ленинградских детей-сирот в тыл по «дороге жизни». Во время войны семья Лотманов принимала участие в борьбе с врагом: брат Юрий Лотман все годы войны был на передовой как связист в артиллерии, сестра Виктория стала военным врачом. Рассказ Л. М. об организации детдома в тылу и о работе с детьми, пережившими гибель родителей, представляет собой один из самых волнующих разделов книги. Не менее интересны,

но в несколько ином плане, рассказы об издании собрания сочинений Гоголя под редакцией Томашевского, о собирании старых рукописных книг В. И. Малышевым и многое другое. Как свидетель и участник событий, Л. М. касается и таких печальных тем, как разгром гуманитарной науки в ходе «антикосмополитической кампании» и преследование ученых.

Лидия Михайловна Лотман — литературовед, исследователь русской литературы XIX века. В сфере ее научных интересов целый ряд писателей и литературных направлений. Ее кандидатская диссертация и многочисленные научные исследования посвящены русской драматургии: монографии «А. Н. Островский и русская драматургия его времени», 1961 г.; «Борис Годунов» А. С. Пушкина: Комментарий — совместно с С. А. Фомичевым, 1995 г.; работы о драматургии Сухово-Кобылина, Тургенева, Льва Толстого и Чехова. Она была организатором, редактором и одним из авторов коллективного труда «История русской драматургии». Другой областью ее научных интересов была история русской поэзии: она занималась творчеством Фета (монография «Afanasy Fet». Twaine Publishers. Boston, 1976), Тютчева, А. К. Толстого, крестьянских и так называемых второстепенных поэтов XIX века (главы в «Истории русской поэзии», том 2, Л.: Наука, 1969 г. и в «Истории русской литературы», том 3, Л.: Наука, 1982). Среди прозаиков, которых изучала Л. М. Лотман, — Григорович, Левитов, Решетников, Чернышевский, Николай Успенский, Мельников-Печерский, Писемский. Она каждый раз находила важные в художественном и общественно-политическом отношении черты в творчестве этих писателей, показывала их роль в литературном процессе и своеобразие их художественной манеры. Л. М. участвовала в подготовке академических собраний сочинений Гоголя, Лермонтова, Белинского, Тургенева, Некрасова. Одной из тем, постоянно интересовавших Л. М. Лотман, было участие писателей в общем литературном процессе, их взаимодействие, диалог. В ее исследованиях, идущих в этом русле, есть много интересных наблюдений и находок. Некоторые из них содержатся в ее монографии «Реализм русской литературы 60-х гг. XIX в.: (Истоки и эстетическое своеобразие)», 1974 г., написанной на основе ее докторской диссертации; а также в ее статьях о Достоевском и Помяловском, об Анатоле Франсе и Достоевском, о Льве Толстом и Решетникове и др.

Идея о роли «диалога» в истории культуры неоднократно разрабатывалась философами, поэтами и культурологами — ср.,

например, замечательную статью Мандельштама «О собеседнике», известные труды М. М. Бахтина или работы Эммануэля Левинаса и других философов-«диалогистов». У Л. М. Лотман литература также рассматривается как «земля людей», где происходит общение наиболее выдающихся личностей эпохи между собой и с читателем, будь то в форме беседы, спора или соревнования. Говоря о взаимодействии писателей в рамках единого литературного процесса, Л. М. подчеркивает в некоторых работах и мысль о влиянии филологической науки, в частности фольклористики, публикации древних текстов и др., на художественную литературу (*Русская литература*, 1972, 2, с. 129–141; 1996, 1, с. 19–44). Идея коллективного характера развития культуры близка Л. М. Лотман и по сути дела лежит в основе данной книги.

Мы надеемся, что книга найдет путь к читателю, интересующемуся историей литературы и культуры.

Лариса Найдич

Минувшее меня объемлет живо
А. С. Пушкин

Вся моя жизнь прошла в Петрограде – Ленинграде – Санкт-Петербурге. Это была длинная жизнь, и хотя я не гожусь в летописцы: я никогда не вела записей и дневника, мало того, я не фиксировала дат и зачастую не запоминала их, — я все же долго наблюдала меняющуюся и движущуюся вокруг меня действительность, которая радовала и угрожала нам, была трагической, тревожной, но и радостной, энергичной, мажорной. Восприятие жизни во многом зависит от характера человека, воспринимающего ее или вспоминающего о событиях. Мой брат Юрий Михайлович Лотман «каялся», что остается оптимистом, несмотря на то, что исторический опыт требует от него большой объективности в оценке реальности. Так что склонность к оптимизму — наша семейная черта. В день, когда мне исполнилось шесть лет, я, глядя с седьмого этажа из окна нашей квартиры на толпы людей, которые шумели на Знаменской площади, украшали себя бумажными гвоздиками и бантами, а памятник Александру III красными повязками, спросила папу, правда ли, что эти люди празднуют мой день рождения. Папа посмеялся и сказал, что они отмечают совсем не мой день рождения, а государственный, официальный праздник. Это сообщение немного огорчило меня, так как вид толпы, оформленный и упорядоченный талантливыми художниками русского авангарда, был живописен и привлекателен, и хотелось быть причастной к этому веселью. Наша семья была очень дружной. Отношение родителей к детям, которых было по тем временам не так просто прокормить (нас было четверо), было непринужденным, но продуманным и равным. Ссоры никак не поощрялись: на попытки ябедничать отец возражал: «Доносчику первый кнут». Во все тяжелые моменты жизни семья была для нас опорой, прибежищем и ориентиром.

Отношение к семье было для нас нравственной основой. Впоследствии наше уважение к университетским учителям напрямую опиралось на отношение к родителям. Так, например, моя глубокая симпатия к Павлу Наумовичу Беркову, профессору, лекции которого я слушала, отчасти укреплялась тем, что он казался мне похожим на отца. Элемент подобной теплоты был у нас и в отношении к другому нашему профессору — Владимиру Яковлевичу Проппу, и ко многим другим. При любом характере исторического развития в жизни много прекрасного, и где-то в глубине души у нас постоянно присутствовала стихийная вера в человека и в то, что нас окружают добрые люди, которые создали все хорошее вокруг нас, все, что мы любили: Эрмитаж, Русский музей (который наш папа называл музеем Александра III), филармонию, мосты через Неву, Невский проспект и кино «Светлая лента» против нашего дома. Конечно, не всегда подобное мировоззрение соответствовало общему настроению. Может быть, этот скрытый оптимизм придавал нашим представлениям об окружающем некоторую долю своеобразия. У нас был свой, семейный, взгляд на законы человеческих отношений. Признаки сохранения этих основ человеческой жизни мы постоянно замечали в общении с людьми.

1. Когда мы были маленькими...

— Помнишь, какими дураками мы были в прошлом году на елке?

— Помню, а что?

— Ты мне сказала: Ты будешь папой, а я мамой, а бабушек нам не надо.

— Ну и что?

Из детских разговоров

1. Первые впечатления

Я себя помню с довольно раннего возраста. Помню, как меня отец нес на руках, и я, глядя назад, за его спину, наблюдала разбитую панель, состоящую из известняковых плит, помню, как отец, взяв подмышки меня и старшую сестру с двух сторон, бежал, перепрыгивая через ступеньки, вниз по лестнице с шестого этажа. Мне было страшно, в глазах мелькали ступени, но не хотелось этого показать, чтобы не обижать отца и не портить веселого настроения. Помню, как мама оставляла нас троих во дворе на целый день, так что мы не могли попасть домой. Это могло быть только тогда, когда еще не было брата, а он родился, когда мне было 4 года 3 месяца. Оставляли нас иногда и одних дома, когда родители уходили на работу на целый день. Сестры Инна и Ляля (Виктория) сидели на корточках у стены, в квартире было темно, а я ходила мимо них и пела: «Я холодная, я голодная».

Одно событие запомнилось мне как страшное, но имевшее хороший конец: я проглотила пуговицу. Пуговица была перламутровая, пришита она была к белой кофточке из шелкового полотна. Она имела форму веретенца. Сосать ее было очень приятно. Но вдруг она оторвалась, и я ее проглотила. Мы были одни дома. Старшая сестра Инна, которой тогда было лет пять, сама очень испугалась, но почему-то стала убеждать меня, что теперь я умру. Я плакала, пока не стемнело. Когда стало совсем темно, я еще больше стала бояться (я вообще долго боялась темноты, почти до

юности). Мама и папа уже на лестнице услышали крики, а когда вошли в квартиру, Инна кричала: «Лида должна умереть!», а я кричала: «Я не хочу умереть!». После того как испугавшиеся родители разобрались, в чем дело, мама с деловым видом достала из теплой закрытой печки гречневую кашу и компот и накормила нас. Все окончилось благополучно, и смерть в тот раз не состоялась.

Вообще, те сохранившиеся отрывки из воспоминаний первых лет стоят передо мной как яркие, цветные картины, кадры.

Очень раннее воспоминание. Я сижу на коленях у папы, расчесываю его вьющийся светлый чуб и пытаюсь завязать ему бант из голубой ленты. В возрасте школьницы я уже помню отца темноволосым и коротко постриженным, но на молодой фотографии он блондин. Помню: мы «гуляем», то есть пребываем во дворе, арка ведет со двора на улицу. Из этой арки во двор выходит «хулиган», мальчик, которого все боятся. Но мы иногда у него просим покровительства и таким образом поддерживаем с ним почтительно-парламентарные отношения. Идет дождь, мы прячемся под арку и поем вместе с ним:

Дождик, дождик, перестань,
Мы поедem в Арестань,
Богу молиться,
Христу поклониться.
У Христа-то сирота
Открывает ворота
Ключиком, замочком,
Шелковым платочком.

Что за Арестань, неизвестно. Может быть Иордань?

2. *Родители*

Из истории родителей я знаю только отрывочные рассказы, которые по большей части принадлежат моей матери. Мама была человек поэтически одаренный, ее рассказы очень увлекательны. Но насколько они соответствуют действительности, и есть ли в них доля вымысла, этого я не знаю. Мама была очень энергичным, мужественным, живым человеком демократического происхождения. Она родилась в большой, очень бедной еврейской семье в Одессе. Ее отец был портным, который ставил

заплаты. Семья часто недоедала. Мама рано начала работать. Была она очень веселая блондинка, косы до колен. В молодости она была склонна к богемной жизни, дружила со студентами, а по профессии была портнихой. С шести лет работала в швейной мастерской, причем исполняла сначала всякие задания, которые поручались детям: приносила, уносила, покупала, разносила заказчикам готовые изделия. Пыталась даже мыть полы, но у нее горлом шла кровь, потому что с самого детства у нее были плохие сосуды. Она рассказывала, как в детстве ее посылали с заказами в монастырь, так как к тому, что шили в их мастерской, в монастыре добавляли вышивки, которые делали монахини. Вспоминала, как ходила в монастырь в бурную погоду, когда в Одессе дул норд-вест. А в монастыре ее сажали в уголок в кухне и угощали, и она говорила, что нигде она так вкусно не ела и не испытывала такого комфорта от тепла и от ласки, как тогда, когда ее принимали пожилые монахини. Рассказывала мама и как относилась заказ какой-то барыне в очень хорошем, богатом доме. Это был маскарадный костюм: голубое шелковое платье, отделанное черным бархатом. И какой красавицей казалась ей эта богатая женщина, которая при ней примеряла этот костюм!

В маминой семье, очень бедной, было довольно много детей, и был еще и приемный-сирота, очень больной. Мама решила ему помочь. Она пришла в богатый дом, где был швейцар, пробралась внутрь мимо швейцара к важному богатому человеку, врачу, и убедила его, чтобы он лечил больного мальчика. И он действительно лечил его какое-то время бесплатно и как-то помог ему выправиться.

Молодой 15-летней девушкой мама ушла из дома, потому что она, помимо своей работы, вечерами готовилась сдавать экзамены в частной гимназии и жгла керосин в керосиновой лампе, за что ее отец устраивал ей скандалы. Она поселилась с подругой, и они жили очень весело. К ним ходили молодые студенты, в том числе наш папа, который тогда вовсе не был маминым любимцем. Они его называли «здравствуйте-до свиданья», потому что у него была такая шапка, у которой был козырек спереди и сзади, и он был из хорошей семьи — образованный и воспитанный молодой человек, что совершенно не соответствовало богемному быту моей мамы. Но еще до этого она угодила в тюрьму. Это произошло вот каким образом. Мамин брат Моисей работал в водопроводной мастерской, и он внушал маме революционные идеи, можно даже сказать сагитировал ее. Старшая их сестра

Люба вышла замуж за богатого человека. У него была маленькая мастерская, где изготавливали щетки, и мама начала свою революционную деятельность с того, что устроила забастовку в его мастерской. У нас долго еще была щетка из этой мастерской, и там черной щетиной по белому было выведено: С. Н., что означало Сара Нудельман (имя и девичья фамилия нашей мамы; потом ее звали Александра Самойловна). Мы так и прозвали эту щетку Сара Нудельман. У этого Моисея была запрещенная литература, и, когда был обыск по всему дому, он сказал маме, что у него под матрасом есть какие-то листовки. Мама, которой было 15 лет, вышла на лестницу и бросила эти листовки в пролет, но они угодили прямо на голову жандармам, которые совершали обыск. Они, конечно, сразу увидели, из какой двери был свет и пришли туда. Мама заявила, что это ее листовки, и ее увезли в тюрьму. В то время был всюду обыск, облава, и захватили много народа. Был большой поезд извозчиков с людьми, которых схватили. Мама обратила внимание на очень элегантную женщину в черном шелковом платье, которая сидела с полицейским офицером и с ним хихикала и шутила. Это была, как потом выяснилось, сестра нашего папы — Елена. Она оказалась в соседней с мамой камере. Мама прежде всего решила, что надо вывести клопов. Она попросила кипятку и стала поливать пол и стены. Затем она услышала голос: «Кто там в соседней камере?» (между камерами была дырка, где стояла параша — одна на две камеры). Так они познакомились с Еленой. Когда было свидание с родственниками, мама увидела, что к этой Елене приходит очень хорошо одетая полная пожилая женщина, которая говорит: «Верист а бериен, вер зитцт ин клеткеле?». Оказывается, что это была мать Елены и нашего отца — бабушка Роза. Ее дома звали «медведицей», и она говорила: «Кто медведица, кто сидит в клетке?». А к маме пришел ее отец, который сказал, что революционеров в полиции кладут между досками и на них пляшут — и правильно делают, потому что нечего бунтовать. Мамина мама могла принести только очень жалкую передачу: какие-то кусочки хлеба, а между ними кусочек селедки. Но мама наша не унывала и, конечно, ее скоро выпустили: что было взять с 15-летней девчонки!

Когда маме было 16 лет, она скопила три золотых, зашила их в лифчик... и уехала в Париж. В Париже она тоже работала швеей, в мастерской по кофточкам. Там они жили втроем в одной комнате (все швей), ходили обедать в кафе и танцевали в обеденный перерыв. Мама вспоминала с очень большим удовольстви-

ем, как они танцевали с продавцами из соседней лавочки. Она даже помнила песенки, которые тогда пели в Париже — каждую неделю новую, мы бы сказали сегодня, новый шлягер. Одна из песенок была про прихрамывающую, но веселую девушку (ее хромота не мешала ей жить, к тому же в постели этот недостаток был не заметен), и парижане, когда пели эту песню, припадали на одну ногу. Мама все это помнила всю жизнь. Она потом очень хорошо знала французский. По возвращении она сдала экзамены за гимназию, причем папа ей в этом помогал. Потом она поступила в школу зубных врачей. Надо сказать, что мама была очень способная. Уже когда мы были взрослые дети, у зубных врачей потребовали, чтобы они сдали экзамены на стоматологов за медицинский институт. Мы были против этого, потому что мама сверх своей работы бесконечно учила программу института — собирались старые врачихи и зубрили. Мы считали это глупым предприятием, но мама прекрасно сдала на стоматолога.

Мама была фантазерка, она сочиняла и рассказывала детям разные истории. Ее одаренность выражалась и в музыкальности: у нее был хороший слух и прекрасный голос. Одно время она была даже запевалой в хоре. Дома мама часто пела детям: это были революционные песни, арии из опер, романсы. Одной из ее любимых песен было: «Средь мира дольного для сердца вольного / Есть два пути» на слова Некрасова. Еще она часто пела песенку: «Жаль козленка мне убить, / Но нужно столик наш накрыть. / Столик, столик живо / Будет нам пожива. / Столик, живо, / Будет нам пожива».

Папа ухаживал за мамой восемь лет. А когда они поженились, то его отец — человек состоятельный — сказал: «Сашенька, не тешуйтесь. У нас такой берег. К нашему берегу или бревно, или дерьмо. Мы к этому привыкли». Мама была ужасная простушка, а папа интеллигент. Всегда, когда они ссорились, после того как поженились, мама укоряла его, что он бы на ней никогда не женился, если бы не какая-то тетка — родственница, которая все это организовала. Но вообще они друг друга очень любили, и брак их был счастливым. Папа был человек очень образованный. Он учился на двух факультетах: на математическом и на юридическом — и закончил Петербургский университет по этим факультетам. Очевидно, в связи с этим он и принял лютеранство. Мама же оставалась в иудейской вере. Она вообще считала, что веру не выбирают, а в ней рождаются. Когда родители поженились, они были бедными, у них ничего не было. Мама говорила, что у них было две ложки

и две вилки, и папа сделал ей шелковое платье для венчания. Но потом отец успешно работал по юридической части, и семья стала жить вполне благополучно. А позже он был юрисконсультom в ряде учреждений, главным образом в издательствах. Был большим знатоком авторского права, постоянно выступал в арбитраже. Во время НЭПа он получал процент за выигранные дела, и тогда наша семья очень хорошо жила в материальном отношении. Мама тоже всю жизнь работала. Она проработала 35 лет в детской поликлинике. Когда я к ней приходила лечить зубы, я ужасалась, потому что дети, прежде чем войти в кабинет, уже начинали реветь. Но мама умела их успокаивать. У нее был подход к детям и прекрасные руки. Она была прямо волшебницей.

Живя в Петербурге, мама сохраняла некоторые связи с Одессой. Однажды к ней приехал ее старый друг, руководивший там профсоюзом безработных. Он пожил несколько дней в Питере, но потом заторопился обратно, сказав, что иначе его безработные найдут работу, а он станет безработным.

Родители имели право жить в Петербурге до революции. Но у бабушки вида на жительство не было; тогда существовала черта оседлости, и евреи имели право жить только в определенных местах. Папина мама бабушка Роза жила с детьми, за что околоточному платили взятку. Впоследствии, через много лет, наша двоюродная сестра Лёля, дочь дяди Якова, любила рассказывать, как она, будучи маленькой девочкой, пугалась прихода околоточного, думая, что он ее заберет за плохое поведение. Бабушка Роза, очевидно, не была посвящена в эти тайны. По рассказам Лёли, она была красивая, хорошо одетая, надушенная и гордая. Внукам прививалось почтение к бабушке. Вся большая семья жила тогда еще на Мытнинской улице (в районе Суворовского проспекта).

Папа имел образование в разных областях. В подростковом возрасте он учился в техническом училище, где приобрел навык работы с металлом и с деревом, он был человеком, умеющим делать ручную работу. Впоследствии в молодости он путешествовал за границей и всюду устраивался рабочим. Он побывал в Бельгии, в Англии, Франции. Он рассказывал, как в Бельгии мастер его очень невзлюбил (папа предполагал, что из-за антисемитизма) и давал ему очень шумную работу: выпрямлять какие-то металлические полосы, которые издавали страшный шум. Он кончил архитектурное училище и работал и по этой части. Он строил какие-то постройки в имении министра земледелия Наумова. Участвуя в одном из строительствах, он однажды

столкнулся с озорством рабочих, которые бросили ему кирпич на голову. Он был в котелке, и по счастью кирпич не повредил его, а скользнул по касательной. Папа был также прекрасным чертежником. Его изящная, красивая манера чертить, прекрасные шрифты меня поражали, когда он пытался что-то сделать мне для школы. Это было так несовременно и изящно, что не могло быть использовано для выполнения школьных заданий. При этом он почти никогда не рисовал. В нашей семье потом дети все рисовали. Особенно талантливым рисовальщиком был Юра. Он с детства умел уловить в рисунках сходство. Его остроумные графические экспромты украшали впоследствии часто книги и оттиски, которые он дарил, и даже наши альбомы. Отец же, который был прекрасным чертежником, хорошо рисовать не умел. На рисунках он всегда изображал одно и то же — уток. Всегда очень четко и аккуратно в задумчивости рисовал этих уток.

Я родилась в день революции. Рассказывали, что в эти дни папа шел по Петрограду и встретил приятеля, который сказал ему: «Михаил Львович, что вы так ходите? Хоть бы котелок сняли! Вас матросы убьют!». Другой знакомый, приятель мамы по имени Миша, стоял у Гостиного Двора, заряжая пушку. Папа удивленно спросил его: «Что вы делаете?». Ничего не ответив, Миша пальнул так, что в Гостином вылетели стекла.

Во время НЭПа папа хорошо зарабатывал как юрист, но в более трудные времена он еще преподавал математику в техникуме. Он был очень начитанный, способный, образованный человек. Достаточно сказать, что на аттестат зрелости он сдавал экстерном и очень много занимался. Вместе с ним сдавало 300 человек, из которых только пятеро выдержали экзамен. Кроме него, еще двое действительно сдали, а двое подкупили преподавателей. Впоследствии, когда я училась на филфаке Ленинградского университета, он поражал меня своим знанием литературы. Например, он знал стихотворения Гнедича и другие произведения, широко не известные. В детстве он много нам читал, например, в самом раннем детстве баллады о Робин Гуде в переводе Вс. Рождественского. Я хорошо это помню: мы переехали на Невский, когда Юре было 9 месяцев, а папа читал нам еще на Старо-Невском.

Во время гражданской войны мама с родственниками: с тетей Полей, женой дяди Якова, брата отца, и с детьми папиной сестры Анны поехали на Украину, чтобы переждать там голодное время. Там, в Умани, они, конечно, столкнулись с очень большими трудностями. Дом их заносило снегом по самые верхние окна.

Когда там родилась наша сестра Ляля (Виктория), то ее купали водой из снега, собранного из форточки и растопленного. Но еще ужаснее было другое. Шла гражданская война, набегали сторонники разных противоборствующих армий, убивали людей, производили погромы. Наша двоюродная сестра Елена (Лёля), дочь дяди Якова, хорошо запомнила, как вся семья пряталась от погромщиков. На доме нарисовали крест, в знак того, что евреев здесь нет (действительно некоторые члены семьи были крещены). Несмотря на это, был случай, когда на улице захватили двоюродного брата Володю (того, который потом умер в молодом возрасте от чахотки). Заподозрив, что он еврей, его повели на расстрел. В отчаянье он стал молиться по-немецки, говоря, что он — христианин, и его отпустили. В это время в подвале дома наша семья скрывала еще одну еврейскую семью. Предполагалось, что дети об этом ничего не знают. Но однажды взрослые заметили, что дети в своих играх скрывают друг друга и изображают, что носят еду в подвал.

Папа поехал на Украину, чтобы забрать оттуда маму с тремя детьми: Инной, мной и Лялей. Чтобы пробраться через фронты, он взял мандат в Петросовете. С этим мандатом он как-то пробрался к нам. Но когда он приехал, пришла белая армия. Офицер зашел в тот дом, где жили все приехавшие женщины, и спросил, есть ли мужчины. Наша мама, которая была женщина очень большой отваги, сказала, что нет. А за дверью висел папин плащ, в котором был этот мандат от Петросовета. Офицер взял плащ, повертел в руках мандат и сказал: «А это что такое?». Мама спокойно, обращаясь только к нему, тихо сказала: «Когда-нибудь и в вашей семье случится так, что ваша жена или мама попадет в такое положение, и их оставят в покое». Офицер ушел. Такой был случай. Потом они выбрались оттуда и приехали в Петроград.

3. Как меня украли

Я совершенно не помню знаменитого происшествия моего детства, события, потрясение от которого так никогда и не изгладилось в нашей семье, — моего похищения. Мама много раз рассказывала о нем, всегда в одних и тех же выражениях и всегда плакала. Я же лично помню только, как няня Шура, из рук которой я была украдена, говорила: «Я эту воровку из тысячи

бы узнала и своими зубами загрызла!». Это очень загадочная история, нелепая и жестокая. Необъясним поступок женщины, которая это сотворила. Мне было два года, а Инне пять. Наша няня Шура, которую наша мама взяла из приюта, была тогда еще очень молоденькая — 16 или 17 лет. Шура пошла с нами гулять, меня она несла на руках, а Инну вела за руку. К нам присоединилась какая-то женщина, которая стала говорить, что она знает нашу маму, что наша мама — зубной врач, что она у нее лечилась, и всякие подробности про нашу семью. Надо сказать, что от до-революционного великолетия (а мы тогда говорили «довоенного», потому что все бедствия начались не с 17-го года, а с 14-го) у нас были некоторые «остатки роскоши» — в частности, хорошие детские пальто — шубка с обезьяним мехом и другие. Я-то родилась в 17-м году, так что большей частью это все было от Инны, от старшей девочки. Я была одета в шубку, в какие-то валенки и в меховую шапку. Эта женщина играла-играла с детьми и взяла меня на руки, а затем, когда Инна что-то попросила и Шура с ней стала возиться, она исчезла с ребенком. Дело происходило на Старо-Невском, а она, как потом выяснилось, уехала в другой конец Невского и выбросила меня на Галерной в помойку. Предварительно она сняла с меня все до панталон. Что же она в результате получила? Детскую шапку, детскую шубку, валенки и рейтузы. Я была очень спокойной девочкой. Это, очевидно, помогло ей осуществить ее план, а мне остаться живой. Человек, способный на такое, мог, конечно, и убить. Было мне, как уже было сказано, два года, и дело было в ноябре. В городе была напряженная обстановка, военное положение. Прохожих было мало. Тогда очень рано смеркалось, ведь был ноябрь. Какая-то женщина, идя домой, сказала дворнику, что в помойке плачет ребенок. Дворник ей не поверил, сказал, что это ей мерещится от голода. Она опять вернулась к помойке, опять услышала плач, опять пошла к дворнику, и дворник спустился в глубокую помойку и вытащил меня. Вытащил, помыл, посадил у себя на кровати. Я после этого взяла его за бороду и сказала: «Дядя». Он ушел за дверь и стал меня звать разными именами: «Маша! Глаша! Даша! Таня!». Никакого ответа. Так он и не угадал моего имени. И я стала жить у этого дворника. Но кто-то донес, что у дворника живет ребенок, которого он нашел. Все время, пока я участвовала в этих диккенсовских приключениях, — семь дней — родители сходили с ума. У мамы еще была грудная Ляля. Все бегали: и родители, и родственники. Наш родственник Саша Ширкови, деятель

революции, принимал большое участие, стараясь нам помочь. Все узнавали, но узнать, конечно, ничего было невозможно. Все сходили с ума. Мама пробилась в «Красную газету», и там, чуть ли не валяясь на коленях, умолила дать объявление. Тогда было распоряжение ввиду военного времени не давать никаких частных объявлений. В газете в конце концов все же опубликовали, что пропал ребенок и такие-то приметы. А между тем я жила у этого человека, и к нему прислали инспектора каких-то детских организаций. Эта инспектриса со мной поиграла, я ей очень понравилась, я была хорошенькая, с золотистыми кудрями. Она побежала в свою организацию и написала заявление, что просит разрешения меня усыновить. В это время и дворнику стало известно, что нужно подать заявление. Он тоже написал заявление о том, что он хочет меня усыновить. Тогда считалось, что детей нужно воспитывать коммунистически, и меня все-таки увезли в детский дом. В детском доме я повела себя очень принципиально: я не разговаривала и ни на какие расспросы не отвечала. Все решили, что эта девочка — немая. В это время объявление было опубликовано. Какой-то солдат возил в детский дом картошку на кухню, и там он услышал разговор, что нашли девочку, очень хорошенькую, но немую. Он пошел к нашей маме, по указанному адресу и стал маме говорить, что он может что-то рассказать и т. п. Мама сначала решила, что это шантаж, тем более что в газете было написано: «за большое вознаграждение». Но он упомянул две приметы, которых не было в объявлении. Во-первых, он сказал, что в волосах у девочки красная ленточка, а во-вторых, что у нее на глазу ячмень. Он меня там в детском доме видел. Ячменя не было, когда я пошла гулять с няней, но я была склонна к ячменям. У меня они часто бывали. А насчет ленточки мама это хорошо помнила: я требовала ее повязать. А потом я не давала ее снять ни дворнику, ни в детском доме. Тут проявилась твердость моего характера. За все время я сказала одно слово: «Дядя» — дворнику (так что он знал, что я не немая). Но больше я никому ничего не говорила. Мама помчалась в этот детский дом и увидела меня в больших валенках, в казенной одежде. Я, когда ее увидела, вместо того, чтобы побежать к ней, побежала от нее и спряталась в угол. А ей сказали: «Вам надо доказать, что это ваш ребенок. Уже двое подавали заявление, что это их ребенок». Они спутали. Это были заявления на усыновление. «Вы должны представить свидетельские показания». Тогда мама пошла в угол, забрала меня оттуда и сказала: «Лида, ты не узнаешь свою маму?». Я заплака-

ла, но не ответила. Мама наша была большая выдумщица. Она сказала: «Терем, терем, теремок! А кто в тереме живет?». Я ответила: «Я — мышка-норушка, я — лягушка-квакушка». В устах «глухонемой девочки» это прозвучало как чудо. Так мама доказала, что я — ее ребенок. Я же доказала, что для меня интерес к литературе важнее «принципа».

Потом мама ходила к дворнику и благодарила его, даже предлагала деньги. Но он денег не взял и был даже не доволен, говоря, что она не достойна иметь такого хорошего ребенка, раз не может за ним уследить. А солдата мама действительно наградила: она вылечила ему зубы и поставила, где нужно было, золотые коронки — и все это бесплатно.

4. Наводнение 1924 года

Одним из самых ярких впечатлений моего детства было ленинградское–петроградское наводнение. Как известно, оно произошло в 1924 году. Мы играли в нашей большой комнате на ковре. У нас была большая детская комната, через которую лежал ковер — персидская дорожка, мы на ней всегда играли. Вдруг стало страшно темно, хотя было четыре часа дня. В это время пришла мама (она ходила в магазин), и она, очень возбужденная, стала рассказывать, что она шла по Невскому и за ней бежали две «змеи», и потом она с ужасом заметила, что и навстречу бежит «змея». Тогда она осознала, что эти «змеи» — вода. Она в детстве жила в Одессе, где их заливало часто — они жили в подвале. Поэтому она быстро догадалась, что это вода. Вода шла из трех источников: из Невы по Невскому, из Мойки (это же был угол Мойки на Невском) и из канализации. Стали подниматься крышки люков, и вода шла и из канализации. Мама стала быстро действовать, она ведь была очень энергичная, в трудные моменты у нее как будто крылья вырастали. Она решила всех нас одеть и отправить на Пески, где жила ее сестра — тетя Маня. Тетя Маня жила на Бассейной. Это интересно: я сейчас читала старую книгу Пыляева, и там говорится, что во время наводнения 1824 года Пески не заливало, потому что это более высокое место. Но наша поездка на Пески не состоялась, потому что уже на Невском вода была по колено. Напротив нашего дома стоял извозчик, он привязал лошадь к дереву, а сам куда-то исчез. Мы

все время смотрели в окно, у лошади уже вода была до живота. Нас особенно заинтересовало то, что на все деревья на аллее вдоль Мойки забрались кошки. Деревья были густо заняты кошками. Вскоре в нашей квартире стали беспрерывно раздаваться звонки и открываться двери. Приходили люди. Электричество перестало работать, и тогда в дверь стали стучать. Мы жили на третьем этаже, до которого вода не доходила, и стала набираться полная квартира народу. Зажгли керосиновую лампу, все сидели очень уютно, без конца кипятили чайник, и все пили чай. Но, конечно, у всех было очень тревожное настроение. Я пошла на кухню, где няня Шура на примусе кипятила чайник, и сказала: «Я очень беспокоюсь, что папы нет». Я не хотела говорить об этом с мамой или с другими детьми, чтобы не беспокоить их еще больше. Шура мне неожиданно ответила: «А у меня нет ни папы, ни мамы», и заплакала. Еще в течение вечера были разные происшествия. Например, приехал наш двоюродный брат Дуся — Давид, сын тети Мани, на лодке. Он был на Исаакиевской площади, и там его подхватили, потому что там уже было очень глубоко, и его привезли к нам на лодке. Он рассказывал — правда или нет, не знаю, — что Исаакиевская площадь оцеплена и что с собора бросаются монашки и кричат, что конец света. Как впоследствии выяснилось, очень многие люди погибли, попадая на ступеньки, которые ведут в низкие подвалы, потому что там была большая глубина. Они шли по стенке, где было как бы меньше опасности, и попадали в эти ямы. Может быть, кто-то и выплывал, но кто-то погибал, они ведь падали. Вода прибывала. Несмотря на суматоху, нас положили спать, и шум чужих людей стал утихать. Они, очевидно, стали уходить. А наша старенькая бабушка, мамина мама, бабушка Шейва, стояла у окна и говорила нам, что вода убывает, а потом сказала: «Открылась мостовая». Лошадь так и простояла все время и была вся мокрая, чуть не по спину. Ночью мы проснулись потому, что пришел папа и рассказывал о своих приключениях.

Читая потом роман Я. П. Полонского «Признания Сергея Челыгина», где наводнение описано по воспоминаниям, тоже детским, я нашла очень большое сходство в реакции людей и во всяких обстоятельствах между наводнениями 1824 и 1924 годов.

Наутро мы с мамой пошли по каким-то делам. Мостовая ведь в Ленинграде была торцовая. Торцы были деревянные, как шестиугольные шашки очень большой толщины. Они, конечно, были не всюду. На Невском, где была такая мостовая, после

наводнения стало вдруг очень тихо: было мало шума от движения. От трамваев был, конечно, шум (по Невскому тогда ходили трамваи). Но пролетки извозчиков, машины, которых тогда было мало, но все-таки они были, шли тихо, их совершенно не было слышно. Как будто все они шли по паркету. А все эти шашки всплыли. Пушкин писал: «И всплыл Петрополь, как тритон / По пояс в воду погружен», а здесь это было особенно заметно. Их собирали, ставили в большие пирамиды и сушили, а потом обратно укладывали, мостили. Это, между прочим, была очень гигиеническая мостовая, хотя, может быть, от нее было больше пыли, чем от асфальта. Она давала труху.

На следующий день сияло солнце. Такая погода была хорошая! Пушкин пишет: «Гробы с размытого кладбища». О 1924 году тоже есть такие сообщения, тогда тоже плавали гробы. В церкви Петра и Павла у нашей школы Петершуде в подвале были гробы, и их вынесло водою через нижние окна. Вынесло и трупы из церквей. Город понес, конечно, огромные убытки. Но это другой разговор. Вот такое мое впечатление от наводнения 1924 года.

Впоследствии наводнение стало одним из моих «страхов». Когда пушки начинали стрелять, что означало подъем воды, я так боялась, что хотела лечь спать, чтобы не переживать этого чувства. Для этой цели я сдвигала стулья, чтобы не мять кровать в неурочное время.

Однажды, уже взрослой — сотрудником Пушкинского Дома — я дежурила в Институте во время резкого подъема воды. Невка около Пушкинского Дома тогда еще не имела набережной. Вода дошла почти до края берега. Приехал Томашевский — он заведовал архивом — рукописным отделом, где были собраны, в частности, все рукописи Пушкина. Времена были тяжелые, мракобесные, но как было прекрасно дежурить с Томашевским, какое от него исходило мужественное спокойствие в тот вечер! Я сочинила — конечно, для себя, не для огласки, стихотворение:

Над Пушкинским Домом плывут облака
И бьется о берег упругий река...
И книги по полкам, и кровь в наших жилах —
Все нам говорит, что прекрасное живо.

5. Детский мир

В детстве и впоследствии в юности много эмоций, постоянно угнетавших, но и утешавших нас, составлявших наш мир тепла и уюта, были связаны, с одной стороны, со страхами и ужасами, с другой — с играми, чтением и эстетическими впечатлениями. Страхи более всего были присущи мне. Как показала жизнь, Инна отличалась своеобразным характером. Она скрывала свой страх так глубоко, что сама переставала его чувствовать, но он где-то в очень больших глубинах ее сознания существовал. Так, например, когда во время блокады напротив нашего дома орудийным выстрелом милиционеру оторвало голову, она упала в обморок, но, приведенная в чувство, сказала: «Я просто прилегла отдохнуть». А Ляля и Юра оказались очень смелыми, мужественными людьми по характеру. Мне в моей жизни тоже приходилось не бояться, когда были все основания бояться, но по своей природе я более расположена к страху. Прежде я боялась темноты и высоты. Высота привлекала меня, мне хотелось броситься вниз, и я очень живо представляла себе, как это будет. Первой прививкой против страха высоты была в самом раннем детстве шутка, которую практиковал отец. Он брал меня и Инну подмышки с двух сторон и бежал с нами с лестницы, с шестого этажа. Ступени мелькали в глазах, мне было очень страшно, но я не кричала. Не понимать папиных шуток у нас в семье с самого раннего детства считалось неприличным. Я боялась темноты, так как инстинктивно допускала существование таинственных, иррациональных явлений, опасалась собак, так как не знала, что они думают про себя. Мне кажется, что мои страхи более связаны с избытком фантазии, чем с реальными причинами. Во время войны я довольно хладнокровно вела себя при бомбежках и обстрелах и во время переезда на барже с детьми из детского дома через Ладожское озеро на виду у немецких батарей, но самих немцев боялась панически. Однажды во время блокады я шла через Дворцовый мост. Начался сильный обстрел. Ложиться мне не хотелось: пальто было жалко пачкать, и я прошла через мост, хотя кругом свистели и падали осколки. Я прошла через мост, а за мостом было Адмиралтейство — военный объект с закрытыми дверьми. Прямо на набережную выходила одна такая закрытая дверь — парадная с небольшим навесом. Около этой двери стоял матрос — часовой с винтовкой. Я встала рядом с ним. Кругом летели и падали в снег осколки. Молодой матрос спросил меня:

«Ты боишься?» — и я сказала: «Боюсь», и он ответил: «Я тоже боюсь». Так мы и простояли рядом до конца обстрела. В детстве чтение «Страшной мести», «Вия» Гоголя, а затем и «Семьи вурдалаков» Алексея Толстого заставляло меня холодеть от ужаса, и даже менее страшные вещи, например, некоторые «Песни западных славян» Пушкина, вызывали у меня долгие размышления и порождали в моем воображении целые фильмы ужасов.

Чтение книг в нашей семье обставлялось своего рода ритуалом. Читали по большей части большие романы: Диккенса, Жюль Верна, Марка Твена, повести Конан Дойля и других. Собиралась вся семья, причем никто не отвлекался и не занимался посторонними делами. Короткие рассказы Чехова, Аверченко, Тэффи читал отец. Особенно он любил Чехова. Но уже в очень раннем нашем детстве он читал нам, как я уже упоминала, баллады о Робин Гуде в переводе Вс. Рождественского и почему-то лицейские стихи Пушкина. Когда читались баллады о Робин Гуде, Юра был еще совсем маленький, может быть, двухлетний. Вскоре эти баллады вошли прочно в наше сознание и дали бесконечные сюжеты для наших игр, и Инна присвоила себе высокий титул Робин-Стрела, а Юра тоже уже получил свою роль — Джон Маленький. Первой книгой, которую Инна прочла нам вслух, была сказка «Гуси-лебеди», а первой большой книгой, которую она прочла нам целиком, был роман «Путешествие капитана Гаттераса». Прочтя про себя эту книгу, она затем прочла ее нам, и с этого начались наши систематические семейные чтения, а капитан Гаттерас поселился в наших играх, и Инна, которая уже была в первом классе, мечтала о полярном плавании к Северному полюсу, закалялась, открывала ночью в детской форточку и ходила, скрестив руки на груди так, как на картинке был изображен капитан Гаттерас. Инна стала главным чтецом в нашей семье. Она относилась к этой своей обязанности очень серьезно, проявляя свою власть над окружающими и свои тиранические наклонности. Она всегда прерывала чтение на самом интересном месте, откладывая продолжение до следующего раза и никакие уговоры и просьбы, даже ходатайство отца, не влияли на ее решение. Книгу она прятала тщательно, чтобы никто, не дай Бог, не заглянул в продолжение. Единственный случай, когда я нарушила этот запрет, кончился для всех плачевно. Я проследила, где она спрятала книгу Вальтер Скотта «Уэверли», и заглянула в нее. Инна это обнаружила, категорически отказалась читать дальше, несмотря на все просьбы, и я дочитала эту книгу сама.

До сих пор эта книга, которую я читала ранним утром в холодной зимней комнате до школы, осталась для меня одним из самых романтических впечатлений моей жизни. Юра участвовал в этих чтениях чуть не с двух лет, с трех во всяком случае. И совсем маленьким он погрузился в исторические романы Вальтер Скотта, веселые и трагические происшествия романов Марка Твена, в юмор и мрачную реальность романов Диккенса, в «золотую лихорадку» произведений Брет Гарта.

В те годы к нам приходила книгоноша — женщина, которая носила с собой складной ранец-портфель и ходила по квартирам, забирая ненужные книги у одних и предлагая их другим. Среди книг, принесенных ею, была одна, которую мы потом читали все детство — про короля Матиуша. Книга эта была без обложки, и мы не знали ни автора, ни названия. Много позже, сразу после войны, я познакомилась с одним человеком — эмигрантом из Польши, преподававшим в школе вблизи Ленинграда. В разговоре он упомянул Януша Корчака. Я сказала, что ничего про него не знаю. «Как? Вы не читали „Короля Матиуша“?» — удивился он. Так я узнала, кто был автор нашей любимой книги.

Инна долгое время покушалась руководить нашим чтением. Но очень скоро она отказалась от этих попыток, тем более что отец ее в этом не поддерживал. Он никогда никому из нас не делал замечаний и не давал даже советов. Однажды я попробовала поделиться с ним своими впечатлениями от чтения. «Папа, мне очень нравятся книги Чарской», — сказала я. Папа грустно ответил мне: «Лида, ты уже такая большая девочка...». Семя сомнения было брошено в мою душу. Я стала думать, почему он так сказал, что имел в виду. Когда Юре было двенадцать лет, Инна пожаловалась отцу, что он читает Анатоля Франса, а это ему не по возрасту. Отец сказал лаконично: «Пусть читает». «Но, — возразила Инна, это — „Эпикуров сад“, он не поймет, да и рано понимать!» — «Если не поймет, значит: вреда в этом нет, да он и читать не станет, а если поймет, значит не рано».

В очень раннем возрасте, года в три, Юра уже был для нас *человеком* — товарищем в играх и участником наших фантазий. Получалось так, что играми, имевшими характер действия, также и спектаклями, которые мы впоследствии ставили, руководила Инна. Она же руководила нашими опытами в рисовании. Литературные же игры, имевшие характер словесного творчества, были нашим не зависимым от нее изобретением, и они осуществлялись помимо нее мною, Лялей (Викторией) и Юрой. Одной

из самых памятных для нас игр было путешествие на корабле во время зимних каникул Инны, которая была не то в первом, не то во втором классе. В нашей детской комнате стояли четыре кровати и большой деревянный грубо сколоченный мужем нашей няни, столяром Виктором, стол. За этим столом дети нашей семьи и их друзья занимались многие годы. Во время игры в путешествие этот стол был перевернут вверх ножками и превращен в корабль, на котором мы плавали несколько дней, казавшихся нам бесконечно большим сроком. Затем наш корабль столкнулся с айсбергом, затонул, и мы пересели на плоты — коврики, которые лежали у каждой кровати. Стол же, поставленный снова на ножки, оказался пещерой на необитаемом острове, а прилаженный к столу детский столик был горой, на которую мы взбирались. Кроме того, он же образовал норку, под которой Юра вместе с приходившей к нам двоюродной сестрой Ирмой, отвлекаясь от своих обязанностей шкипера на корабле, играл в кроликов, очень уютно располагаясь на диванных подушках. Памятным событием таких игр был и Последний день Помпеи, который мы изобразили следующим образом. Сдвинули кровати, из подушек и одеял сложили огромную гору, внутри нее посадили маленького Юру, снабдив его полотенцами, кружевными накидками с подушек и кубиками. Он должен был их извергать через верх горы, что и исполнял с большим прилежанием. Мы же бегали по комнате и принимали пластические позы из картины Брюллова. Вернувшиеся откуда-то папа и мама открыли дверь и остановились в ужасе и недоумении. Через несколько секунд, однако, мама все поняла и с криком: «Они мне задушат ребенка!» — разбросала подушки, разрушила «Везувий» и извлекла потного малыша. Инна инсценировала эпизоды из любимых книг, особенно из «Нибелунгов». На одной из таких инсценировок эпизод рождения Зигфрида кончился скандалом. Инна всегда приглашала зрителей на свои постановки. Рождение Зигфрида, которое она поставила на даче, она изобразила так наивно и реалистично, что мама выхватила у нее из-под одеяла Юру и надавала всем артистам и зрителям тумаков и всех разогнала. Одна из наших сравнительно поздних постановок мне запомнилась особенно ярко. До начала 30-х годов у нас в квартире Новый год встречали бурно: взрослые родственники папы и мамы, отдельно студенты-родня, их друзья и квартиранты и отдельно дети. Причем иногда компании смешивались, и большой массивный дядя Фиш, наш свойственник, известный в городе инженер, отец писателя

Геннадия Фиша, танцевал с маленькой румяной Лялей, смешно задирая ноги. Ляля потом жаловалась: «Мне так неудобно. Дядя Фиш так хорошо танцует, а я в валенках». В начале 30-х годов веселье явно уступило сдержанности и замкнутости. Даже любимый нами чудный праздник ёлки, когда приносили огромную елку и папа по несколько раз в день бегал за новыми игрушками, потускнел, примолк и постепенно исчез. Ощущая все эти перемены как большие огорчения, мы по-своему старались их сгладить и готовили постановку. Инна и Юра должны были разыграть не больше не меньше как «Колхас» Чехова, а мы с Лялей его же «Дачный муж». Вдруг прибегают в детскую Ляля с трагическим известием: мама и папа собираются в гости. Обсудив это, мы решили, чтоб не испортить им настроение — не показывать вида, что это нас огорчает. А Ляля продолжала уточнять: «Мама достала шелковое платье, а папа, когда увидел меня, спрятал лакированные ботинки за спину». Ботинки эти лежали с «мирного времени» в шкафу. И вдруг, когда мы уже примирились со своей судьбой, к нам в детскую явились под руку мама и папа. Она — в шелковом платье, он — в лакированных ботинках. Они пришли в гости к нам. Спектакль состоялся. Самый большой успех выпал на долю Юры, игравшего суфлера в папиных штанах, которые ему доставали до горла, и которые он, чтобы они не упали, придерживал зубами. Мама понимала, что, уходя вечером из дома, родители нас огорчали, и она придумала своеобразную компенсацию. В эти вечера мы могли рыться в зеркальном шкафу с ее платьями, и нам оставляли угощение для вечернего чая. Это сделало наше одиночество очень интересным. Мы давали своеобразные балы. В шкафу мы находили бархатные спорки, из которых Инна и Юра — кавалеры — сооружали себе плащи; находили и береты, шляпы с перьями. Мы же с Лялей из кружевных покрывал с кроватей делали себе длинные платья. Находили и другие детали для украшения нас — дам. Помню, один раз я изображала королеву бала — красавицу, за которой все ухаживают, а Ляля — старушку (она на голову накинула мамино меховое полупальто). Вдруг она сбросила этот мех и оказалась такой красавицей, что все кавалеры бросили меня и ушли к ней. Этот сценарий, сочиненный, конечно, Инной, почему-то не огорчил меня, понравился мне своей театральностью, эффектом, хотя был для меня полной неожиданностью. Властность Инны сказалась и в том, как она организовала наши упражнения в рисовании. Она настойчиво требовала, чтобы, изображая человека, укладывали

в длину туловища с ногами семь раз голову, и главное — чтобы голова была совершенно круглая. Это последнее требование было особенно тягостно. Мы даже обратились за поддержкой к очень старой бабушке Шейве — матери нашей мамы. Она взялась изобразить нам голову человека, и с большим трудом нарисовала маленький ровный кружок, поделенный пополам сверху вниз и с одного бока на другой. Это, конечно, не разрешило наших проблем, и в конце концов мы обратились к папе. Он очень удивился нашему вопросу: «Почему совершенно круглая? Разве вы такие головы видите? Вы смотрите на то, что вас окружает». Инна пробовала настаивать на своем, но мы уже почувствовали освобождение и не слушались ее. У меня же был свой идеал красоты. Тайно я похитила оторванную от нот картонку с белой поверхностью и нарисовала на ней Лялю и знакомого мальчика Витю. У них были большие головы, голубые глаза и рыжие волосы. Они держались за руки. Мне казалось, что они очень похожи, и картина мне казалась очень красивой — как я теперь бы сказала, романтической. Я спрятала эту картинку за шкаф и любовалась ею, когда никого не было. Ведь использование переплета от нот было преступлением, и мне было очень жалко, что я никому не могу ее показать. Эти эпизоды относятся к очень раннему периоду нашей жизни. Но и потом все мы рисовали. Инна даже мечтала быть художником не хуже Репина. Я тоже одно время увлекалась рисованием и даже немного пробовала писать натюрморты маслом, особенно весной, когда появлялись подснежники и фиалки, и это меня очень волновало. Но по-настоящему талантливым рисовальщиком оказался только Юра, в очень небольшой степени испытывавший руководство Инны. Уже в 13 лет он зарабатывал понемногу на оформлении зданий к праздникам. В 14 или 15 лет он оформлял филфак вместе с нашим соучеником Бердниковым. Оба они лежали в нашей комнате на полу и рисовали плакаты и шуточные картинки для оформления здания к празднику Первого мая и карнавала, который был устроен на филологическом факультете. К этому времени мои товарищи по университету, друзья и просто однокурсники уже приняли подростка Юру в свой круг. Он ходил на лекции Льва Львовича Ракова по античной истории и удивлял студентов своей эрудицией, что было не удивительно, так как увлечение античной историей у Юры началось очень рано, как и увлечение зоологией. В кругу моих университетских товарищей, особенно под влиянием талантливого Толи Кукулевича, серьезно занимавшегося античной

литературой, и его друга биолога Саша (Александра Сергеевича) Данилевского, оба круга научных интересов Юры окрепли и получили мощные импульсы для своего углубления. Все это было позже. Но продолжу более ранние воспоминания. Одной из культурных затей Инны было издание детского рукописного журнала в нашей семье. Он получил почему-то название «Маленький ученый», и на обложке его был Инной нарисован маленький Юра (в девочкиных белых панталонах). Это было не предвидение, а предзнаменование. В журнале не было ничего ученого. В нем были стишки мои и других детей, маленькие рассказы. Участвовали в журнале и подруги Инны, из которых наиболее начитанными были Соня Полякова, впоследствии известный специалист по классической античной литературе, преподававшая в университете, доктор наук, и Соня Позднеева, впоследствии музыкант, преподаватель и директор музыкальной школы. Одна из них, точно не помню кто, поместила в нашем журнале начало своей повести о японском полковнике, самурае «Ода Нобунага». Я училась в первом классе, мне было семь лет, а значит, Юре три года. Я принесла в школу журнал, и другая ученица — Юдя, в очках, перелистывая журнал, сразу «усекла» эту повесть и сказала: «А вот это — интересно!». Впоследствии у нас возникла мысль издать еще хоть один номер этого журнала. Юра даже предлагал названия для журнала и его отделов, говоря, что журнал надо назвать «Голос желудка», а один отдел — «Попурри, или В желудке все смешается» — любимое изречение нашей мамы, имевшей слабость мешать в одной кастрюле разные попадавшие ей под руку продукты: перловку и манную крупу, капусту и картошку, горох и прочее. Время было, как всегда, довольно голодное, и нам, подросткам, не хватало еды. Однако журнал мы уже не собрались издать. Другой затеей Инны были семейные олимпиады, конкурсы по отделам: игра на пианино (все разучивали одну и ту же пьесу, а родители слушали из другой комнаты), рисование с натуры и копирование, веселые проекты. Однако безграничная фантазия Инны и ее склонность создавать и разыгрывать сюжеты не всегда имела только благодушную направленность. Она любила разыгрывать «острые сюжеты» в нашей детской среде. Юра никогда не был жертвой этих игр. Я стала только один раз объектом нападения. Это длилось неделю. Она запрещала со мной разговаривать и прочее. Но в конце недели мы помирились, для меня устроили концерт танцев дикарей (со словами, начинавшимися «Курли до нашей эры»), в ко-

тором участвовали Инна, Ляля и Юра. Все это было очень забавно, но не сгладило вполне обиду, которую я испытывала ни с того ни с сего целую неделю. Добродушное и простодушное создание, Ляля всегда была готова жертвовать собой для других, более всех она понимала и жалела маму. Однажды летом Инна под влиянием своей старшей подруги Нины стала критиковать маму, что нам казалось очень странным. Глаза на эту несправедливость у меня открылись, когда Нина с презрением отозвалась о мамином зеленом платье, которое всегда так хвалила наша учительница немецкого языка Дарья Терентьевна. Если уж Дарья Терентьевна одобряла это платье, то оно было выше всякой критики. Дарья Терентьевна Прокофьева — учительница немецкого языка, в прошлом была начальницей пансиона для девочек иностранного происхождения. Она была женщиной изумительно милой и воспитанной.

Юра не был «маленьким ученым», но, конечно, очень рано был умнее своего возраста. Отец гордился тем, что он, двухлетний, смело и ловко влезает на высокую стремянку. А в шесть лет Юры папа обратил внимание на его не по возрасту глубокомысленный вопрос: «Говорят, что вселенная бесконечна. Но тогда она должна быть шаром. Но если это шар, то в чем он помещается?». Наряду с играми и семейными мероприятиями, у нас были сепаратные собственные забавы, в которые Инна не была посвящена или была посвящена лишь отчасти. У нас с Лялей — мы были погодки — были свои тайны, вплоть до того, что был свой тайный шрифт, которым мы переписывались. Суть его была в том, что каждая буква состояла из тех же элементов, что и в русской азбуке, но иначе расположенных. Эта же потребность в тайнописи побудила меня быстро овладеть зеркальным письмом. Я его вообразила в своей голове. Юра очень скоро был посвящен в наши тайны. Так, мы с Лялей изобрели своеобразную игру, получившую, также ввиду конспирации, странное название — «рослый рослак» или РР. Договариваться, что вечером, когда все уснут, мы будем играть в эту игру, нужно было, показывая друг другу указательный палец. Если игра не состоится, на пароль «рослый рослак» следовал ответ «ослый ослак» или показывался согнутый указательных палец. Игра состояла в том, что каждый участник избирал себе героя или нескольких героев, характеризовал их, уславливался о месте и времени действия, и каждый начинал говорить и действовать от лица своего героя. Однако каждый не знал, как будет действовать герой партнера. Между героями

завязывались отношения дружбы, вражды, любви — счастливой или несчастной, возникали ссоры, дуэли. Никто не имел права вмешиваться в действия чужих героев, особенно убивать их. Так что развитие сюжета было непредсказуемо. Вечером шепотом мы с Лялей часами играли в эту игру. Юра очень быстро в нее включился. Мы стали крутить один «сериал», когда были вдвоем, а другой — когда были троим. Так, мы с Юрой, когда мне было девять лет, а ему соответственно четыре с половиной года, гуляли по набережной Невы (у меня был коклюш, и мне было предписано дышать морским воздухом), часами играя в «бабки-ёжкин рослый рослак» — бесконечную сказку с превращениями, приключениями и сказочными героями. Любимым героем Юры в нашей тройственной игре был Хинцен, задорный детский Д'Артаньян, который нередко попадал в сложные, даже безвыходные положения, теснимый героями моими или Лялиными. Дело в том, что в рослом рослаке было непререкаемое правило: нельзя было брать ход обратно, и Юра должен был униженно просить нас разрешить ему сказать сакральную формулу: «Будто бы этого не было». Само происхождение имени героя Хинцен было знаменательно. Оно произошло оттого, что я, решая примеры в первом классе в Петершule, где преподавание велось по-немецки, в задумчивости повторяла: «Fünfzehn plus fünf», будучи не в силах решить этой сложной задачи. А Юра, сидя на окне, перердразнивал меня: «Хинцен плюс хинц». За то и получил от папы прозвище Хинцен плюс хинц. Как это бывает и в литературе, образ высмеянного героя, как, например Дон Кихот, солдат Швейк и Тартарен из Тараскона или Мюнхгаузен, со временем получает значение идеального, возвышенного и даже героического. Так и Хинцен из насмешки стал выражением идеала. В первом классе, когда решалась задача «fünfzehn plus fünf» мне было семь лет, а Юре соответственно три с половиной года, но образ Хинцена жил и позже, наполняясь все новым содержанием.

Подростком Юра очень любил наше девичье общество, хотя у него были свои друзья. Он обращался к моим подругам на «вы», был с ними изысканно вежлив, оказывал им услуги, например, бегал «на уголок» к *Фаусту* — в маленькую лавочку, торговавшую безалкогольными напитками и конфетами. Оттуда он приносил нам воду с сиропом и сладости. Иногда он фантазировал, что влюблен в какую-то из моих подруг, но это были скорее мечты, о которых объекты этих чувств не знали. Юру отличала упрямая нетерпимость к тому, что его не интересовало, увлеченность

в занятиях предметами, привлекавшими его, и общий веселый, оптимистический тонус. Подчас утром, собираясь в школу, он пел свои излюбленные песни: «Ах, как ты мне нравишься, / Да ах, да ах, / Ах, да ты красавица, / Да ах, да ах, / В лес бы заманила вечерком / И приворожила там тайком» — и арии. Особенно любил он петь арию Папагено из «Волшебной флейты»: «Я самый лучший птицелов».

Всем детям папа давал прозвища: меня он звал «медная» за мой громкий голос, похожий на трубу — сильный и звонкий, Лялю — «абапка» или «абапчонок», так как она долго вместо «папа» говорила «абапа». Инну за густые волосы и растрепанную прическу он называл «Лохмачевская» или «Ванька-ключник». Юра получил от него прозвище с восточным оттенком — «Юрэка». Бесконечно снисходительный к девочкам нашей семьи — он не только никогда не наказывал нас, но и не повышал на нас голоса — папа был иногда придиричив к Юре, который бывал своеволен. Правда, его придирки ограничивались тем, что, что бы ни произошло дома, он задумчиво замечал: «Этот пакостник Юрэка!», хотя Юра в большинстве случаев не был виновен в происшествиях. Впрочем, Юра относился к подобным обвинениям без обиды и даже не оправдывался — тем более что папа сам был склонен к озорству.

Инна вскоре стала ощущать себя взрослой и модничать: она чернила себе брови и ресницы урсолом и красила губы. Кроме того, она стала заказывать себе платья у портнихи (до этого для нас шила сама мама) и покупать себе шляпы. Шляпы составляли предмет ее особого увлечения. Инна выселилась из детской в длинную проходную комнату, где прежде была столовая — до того как квартиру родители вынуждены были разделить, отдав три из семи комнат жакту. После этого столовая была переделана из ванной — комнаты, выходившей во двор. В воскресные дни папа и Юра забавлялись, перебрасываясь шляпами Инны над ее головой. Инна при этом сидела за столом и равнодушно продолжала переписывать ноты — она уже училась в консерватории и таким образом подрабатывала. Это равнодушие и терпение Инна сохраняла до того момента, пока Юра и папа не добивались до последней, новой шляпы. Тут Инна вскакивала с криком: «Только не эта шляпа! Эту не смейте трогать!».

Мы выросли, наши профессиональные интересы определились довольно рано.

Все мы учились музыке, а для Инны музыка стала профессией. Ее специальностью, по которой она окончила консерваторию,

стала история и теория музыки. Ее педагогические способности, проявлявшиеся в детстве, помогали ей впоследствии в преподавательской работе: она преподавала и детям, и взрослым, работала во Дворце пионеров, в музыкальных школах и в училище. Ее ученики относились к ней с большой любовью, а к ее урокам — с огромным энтузиазмом. До сих пор эти занятия остались для многих из них замечательными воспоминаниями детства и юности. Инна работала и как музыковед, занималась творчеством Римского-Корсакова и Мусоргского. Она была редактором в музыкальных издательствах и писала музыку. Младшая сестра Виктория увлеклась медициной. Уже во время войны она работала как квартирный врач (их курс выпустили досрочно, так как в блокадном Ленинграде не хватало врачей). Впоследствии она специализировалась как терапевт и кардиолог. Она много лет работала в Институте Скорой Помощи (Большой пр., 100) под руководством известного врача профессора Джанелидзе. Он ценил Викторию Михайловну и однажды подарил ей свою книгу с надписью «Хорошему врачу». Когда было решено создать больницу Академии Наук СССР, Викторию Михайловну пригласили организовать одно из отделений. У нее лечились многие ученые.

Отец хотел, чтобы Юра тоже пошел в медицинский институт — возможно потому, что он знал, что будет война и думал, что Юра может стать военным врачом. Но когда он узнал, что его сын серьезно интересуется филологией, он не возражал. В 1939 году, когда Юра поступил на филфак, я как раз его окончила.

6. Наши праздники

В 20-е и в начале 30-х годов в обществе «по инерции» сохранялось чувство веселья, желание праздновать, возникшее, по видимому, во время революции. Приведу один пример. Родители рассказывали, как в 1917 году они попали в толпу, которая брала приступом какой-то дом. Из дома стреляли юнкера. При этом мама была на последнем месяце беременности. Я спросила папу: «Было страшно?» — «Ничуть, — ответил он, — было очень весело». В нашем детстве и в юности бурно и весело праздновались 7 ноября, 1 мая, семейные и прочие праздники.

В нашей семейной жизни особое значение имели дни рождения и связанные с ними подарки. Праздновались только детские

дни рождения, и инициаторами этих празднеств были сами дети. Особенно пышно, с приглашением многих детей-подростков праздновался мой день рождения, так как он совпал с днем революции. По семейной легенде, к маме не могли вызвать акушерку из-за стрельбы на улице, и только муж маминой сестры — латыш и человек воинственный — привел ее. Когда я была маленькой и из окна нашей квартиры, помещавшейся на шестом этаже дома на Старо-Невском, была видна Знаменская площадь с памятником Александру III, и массы народа толпились на ней, оркестры играли, а самые отчаянные парни залезали на памятник, повязывали царю красную повязку на руку и на глаза, я думала, что вся эта кутерьма посвящена моему дню рождения. Вскоре я вынуждена была расстаться с этой иллюзией. Родители брали нас на праздники «Красной газеты», где отец работал юрисконсультom, и уже в шесть лет, когда мама в запруженном людьми широкom коридоре поставила меня на стол в углу, я прочла с пафосом стихотворение:

Улица волнуется,
Шумит, гремит она.
Идет, течет по улице
Народная волна.

В коридоре возникла тишина, толпа остановилась и стала слушать. Это поразило меня и доставило мне момент вдохновения и счастья. Я почувствовала на миг, что владею людьми. Каково же было мое разочарование, когда мама, вслед за мною, поставила на стол пятилетнюю Лялю, и та с наивной старательностью робко прочла:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка,
Что ты рано встаешь,
Ляле спать не даешь?

Я была оскорблена в лучших чувствах. Рядом с этим «выступлением» мой пафос мне показался неуместным.

Впоследствии, в студенческие годы, на мой день рождения к нам собиралось много молодежи. Наш дом был на Невском, рядом с Дворцовой площадью. И уставшие после ноябрьской демонстрации, несколько продрогшие на дожде и ветре мои подру-

ги и товарищи «забежали» к нам. Девушки спали на сдвинутых кроватях, а парни, собравшись в другой комнате вокруг школьника Юры, потрясали квартиру гомерическим хохотом. Юра рассказывал, «о чем говорят в школе» — это была смесь анекдотов (часто весьма соленых), шуток и школьных происшествий. Кто же предполагал тогда, что Юра — просто очень талантливый рассказчик? Студенты думали: «Мы взрослые серьезные люди, а эти школьники — такие озорники!». Потом были очень веселые шарады. Помню одну из них — «Гузь». Дело в том, что Толя Кукулевич для заработка преподавал в техникуме русский язык и так заморочил голову своим студентам рассуждениями о «сомнительных» согласных, что половина класса в диктовке написала «гузь» вместо «гузь». Толя простодушно рассказал об этом с большим огорчением товарищам, а они — вернее Женя Наумов — человек очень артистичный — дали ему прозвище «Гузь», которое к нему пристало. В шараде мы разыграли «гуся» так. Первая часть была «Гус». Его изображал Женя Наумов, которого привязали к поставленным друг на друга стульям. Толя в плаще, сделанном из красной бархатной скатерти, был палачом, а подруга Лина, собрав в передней вешалки-распjalки, скромно покрывшись платочком, бросила к ногам «Гуса» вязанку, после чего Женя воскликнул: «Sancta simplicitas!». Вторая часть была мягкий знак. На стол положили подушку, вошла я и сказала: «Его нет, но он оставил по себе знак», ткнула пальцем в подушку и задумалась: «Какой, однако, это знак?». Целое изображал Саша Данилевский. Опустив свой белокурый чуб на лоб и несколько повесив свой прошедший через четыре поколения гоголевский нос (Саша был потомком Гоголя, но одновременно и Пушкина), он на корточках, покачиваясь, прошел через комнату, выставив для равновесия вперед руки с длинными красными пальцами. Почему-то это делало его особенно похожим на гуся, и все хором закричали отгадку: «Гузь лапчатый!». Саша поднялся очень обиженный: «Почему лапчатый?» — вотще допрашивал он отгадавших.

Но самым гвоздем дней рождения детей были подарки, которые были «интимным», внутрисемейным делом. Подарки готовились заблаговременно и тайно. Они должны были обязательно быть сюрпризами. Дети экономили свои всегда очень скромные личные средства и выбирали подарок с большой тщательностью. Утром в день рождения, пока именинник спал, ему готовили около кровати столик. По большей части он просыпался, так как суета будила его, но тихо лежал, тщательно скрывая, что

что-то слышит. На столик ставились цветы, если их можно было купить, клались подарки, веселые рисунки и шуточные стихи. Просыпаясь, именинник или именинница рассматривали подарки, радовались и восхищались — таков был ритуал. Одним из важнейших компонентов этого ритуала была тайна стоимости подарков, так как для нас, детей, при их покупке цена была предметом забот и огорчений.

Однажды на моем праздничном столике среди подарков была коробка с хорошими красками и кисточка к ней. Эта кисточка была отдельным подарком от маленького Юры, который с трудом набрал на нее денег. Когда, восхищаясь каждым подарком, я взяла в руки кисточку и, погладив ее волосики, сказала: «Какая хорошая!», Юра не удержался и крикнул: «Рупь!», за что и был подвергнут осуждению со стороны устроителей столика.

Помню день рождения Ляли — уже студентки второго курса медицинского института. Ей исполнилось 18 лет, и это мы решили отметить особенно пышно. Юра — ученик 9 класса — и все остальные, в том числе Толя Кукулевич, который ухаживал за мной, бегали по магазинам и искали подарка. Мы с Толей пошли в магазин «Русские самоцветы», но все, что нам казалось привлекательным, оказывалось для нас слишком дорогим. Наконец, отчаявшись, Толя высмотрел совсем ненужную и очень маленькую вещь — маленького зеленого зайчика. Толя смело спросил о его цене, но после ответа продавца: «Этот нефритовый зайчик стоит 200 рублей», мы с Толей стушевались и покинули магазин. Было решено соединить средства всех и купить Ляле часы. По этому поводу и по поводу дня рождения были сочинены и положены на стол многочисленные стихи. Не помню, кому принадлежит такое незамысловатое стихотворение:

Вопрос о часах острее перца
Часы для доктора — знание сердца.

Юра написал два стихотворения. Одно с эпиграфом из Пушкина:

*Нет, нет вы мне совсем не брат,
Вы дядя мне и на Парнасе
Даю совет тебе простой:
Стать лучшим доктором стремися,
Но все ж, увы, сколь ни учися,
Ты будешь для меня сестрой.*

Второе — по поводу подарка, в стиле Маяковского:

Часы для доктора —
Важнее нефрита.
Возьму все нефриты
И отброшу разом,
А с часами карта болезни
Бита.
За горло заразу
Лечу сразу.

Часы эти после служили Ляле несколько лет, с ними она начала свою работу как врач. Впоследствии она стала кардиологом, стихи стали пророческими. Действительно, Ляля — человек стремительный, смелый, не боящийся ответственности. Она «лечила сразу», чрезвычайно ценя время в борьбе с болезнью. Когда я уезжала после первого периода блокады в эвакуацию с детским домом, в котором я работала (мы вывозили детей на баржах через Ладожское озеро на виду немецких батарей), военнообязанная Ляля, оставшаяся с мамой и Инной в Ленинграде, надела мне на руку свои часы. Вернувшись в конце войны, в 1944 году, в Ленинград, я возвратила ей эти часы.

Памятный случай празднования семейного юбилея состоялся в 1934 году, когда по инициативе Инны мы решили отметить юбилей брака мамы и папы. Дата была совершенно мифическая, так как родители никогда сами ее не отмечали и нам ее не называли. Инна, как всегда, когда она что-то организовывала, ставила жесткие и обязательные условия. Конечно, подготовка к празднованию 4 декабря должна была начаться заблаговременно и проводиться в абсолютной тайне. Инна поставила категорическое условие — все наши «доходы», средства, которые так или иначе нами приобретались, должны были поступать в фонд праздника. Я восстала против этого требования. Мне только исполнилось 17 лет. На свою стипендию и мелкие заработки (я писала карточки для словаря русского языка) я покупала себе предметы одежды (чулки и пр.) и даже отдавала в починку туфли. Таким образом, я стала вносить в «кассу праздника» только часть своих доходов. Это было серьезным нарушением семейной дисциплины. Юра и Ляля безусловно подчинялись Иннинному требованию, и Юра три месяца не завтракал в школе, что я считала нарушением «прав человека». Надо сказать, что в то время были отменены карточки на продовольствие, и в магазинах ста-

ли появляться белые французские булочки и всякого рода деликатесы. Постепенно покупались дорогие хорошие вина и ставились в шкаф, за книги. Затем приобретались консервы, коробки конфет — все это пряталось между окон. После этого Инна, Ляля и Юра (без меня, как не соблюдавшей правил) заказали роскошный паштет из дичи трех сортов, оформленный как большой торт, и сладкий торт. Я не была при заказе, но представляю эту картину по рассказам: молодая девушка Инна, подросток Ляля 15 лет и двенадцатилетний Юра — все очень бедно одетые (помню их пальтишки) — явились в гастроном номер 1 (Елисейский магазин) делать свой заказ и высыпали на стол директора большую кучу мелких денег. Директор спросил, что они хотели бы заказать, и Инна, вспомнив «Мертвые души» Гоголя, сказала: «Бараний бок с кашей». Нужно сказать, что к тому времени как раз с продуктами стало лучше, имея деньги можно было кое-что выбрать. Директор вызвал шеф-повара, и заказ был оформлен соответственно его советам. Вечером 4 декабря мы попросили родителей посидеть в их спальне и стали накрывать на стол. Родители ничего не знали и рвались лечь спать (особенно папа), но когда их позвали в комнату, где был накрыт роскошный стол, они всплеснули руками и после некоторого недоумения стали восхищаться в соответствии с традициями поведения при получении именинных сюрпризов. Роскошную еду этого вечера мы уничтожали чуть не десять дней, и паштет и торт нам порядком надоели.

Я говорю о праздниках, и можно подумать, что наша жизнь состояла из праздников, но это, конечно, было не так. В нашем теплом, добром доме было много тревог, и они были спутниками нашими с самого раннего детства. Я помню ужасный случай: мы готовились к елке и уютно и весело делали елочные игрушки. Вдруг раздался резкий звонок. Возник шум в передней. Нас закрыли в детской, и вдруг мы узнали, что папу арестовали и увели. Так трудно было переключиться из мирного уюта и ожидания праздника в тяжелую тревогу и отчаянье. Мама ушла «хлопотать» к знакомым, в частности, к ответ. работнику, участнику революции — мужу тети Мани, чтобы просить его узнать, в чем дело. Мы в слезах, не раздеваясь, все заснули на одной кровати. Проснулись мы от громкого голоса папы: он с восторгом рассказывал, как шел через ночной город, какие звезды были на небе и как чудесен морозный воздух. Нам рассказали, что случайно обнаруживший папу среди арестованных прокурор, который

неоднократно встречался с ним в суде, по собственной инициативе разузнал, в чем дело, и обнаружил, что произошла ошибка. Арестовать должны были кустаря с похожей фамилией. Это были еще «идиллические» времена. Впоследствии таких ошибок не исправляли. Я в душе очень пожалела несчастного кустаря.

7. *Петершуле*

Возвращаюсь к нашему детству, чтобы кратко рассказать о нашей школе — Петершуле (Peterschule), впоследствии 41 школе, в которой учились все дети нашей семьи.

Старейшая школа Петербурга, построенная по распоряжению Петра Первого, она выходила на Невский проспект и Малую Конюшенную, где в конце 20-х — начале 30-х годов проводилась весенняя ярмарка на вербной неделе. Огромные коридоры-холлы, светлые классы, большие лестницы, которые мне снились многие годы. Стиль школьного распорядка, «ментальность» школы в первый период нашего пребывания в ней очень отличались от того, что было позже, в начале 30-х годов. Я поступила в школу в 1924, Инна на два года раньше, Ляля в 1925 году. К этой школе, где уроки шли на немецком языке, меня подготовила учительница немецкого языка Зинаида Ивановна Кропоткина. Она была замужем за князем, родственником знаменитого анархиста Кропоткина, и гордилась своим княжеским титулом. Она, например, рассказывала, как ехала на извозчике, и мальчишки кричали вслед: «Барыня! Сбросим барыню!». «Понимают, хамы, что барыня», — комментировала она эту ситуацию. Эта гордость к тому времени уже была мало уместна. Зинаида Ивановна была прекрасным преподавателем и быстро подготовила меня к немецкой школе. На собеседовании при поступлении в школу я свободно говорила на немецком языке. После того как меня приняли, нас — меня и других поступивших, чистеньких немецких девочек, осматривал толстый и веселый доктор Гомилиус. Он всех забавлял рассказом о том, как он садится на лавочку в трамвае, сперва на краешек скамейки, и постепенно всех «выжимает».

В школе царствовал строгий порядок. Наблюдала за ним зав. учебной частью младших классов — классная дама, как ее иногда называли, строгая пожилая женщина в седой «накладке» — ма-

леньком паричке. В первом классе у нас была замечательная пожилая учительница — добрейшая Мария Карловна Миллер. Впоследствии, лет через десять, я встретила ее на улице и, обрадовавшись, окликнула: «Фройлайн Миллер!». Она испугалась, остановилась с затравленным лицом и сказала: «Да, моя фамилия Миллер». Тогда я не уразумела причину ее страха. Завучем школы был Вульфийус — человек высокой образованности (замечательный историк) и очень веселый. Он любил шутить с детьми и сочинял сам про себя от их имени стишки, вроде следующего:

Gott sei dank,
Herr Wulfius ist krank.
Er liegt im Bett
Und frisst Kotlett.

Девочки в школе очень эффектно оформляли свои тетради. У них были откуда-то очень красивые вырезные открытки, которые они наклеивали на промокашки, прикрепляя их разноцветными ленточками к обложке тетради. Я больше всего любила засушенный цветок анютиных глазок, который наклеила на лиловую ленточку в своей тетради и которым часто любовалась. Во втором классе у нас преподавала Елизавета Гуговна Биддер. Мы ее очень любили, я нарисовала даже ее портрет. Впоследствии, когда администрацию школы и некоторых учителей арестовали, ее, как говорят, расстреляли.

На переменах школьники ходили чинно парами, в больших широких коридорах часто устраивались танцы-хороводы, в которых пели по-немецки: «Hei, tra-la, la, la! Hei, hopp-sa-sa!». Участвовали в этих танцах дети всех классов. Я единственная не хотела принимать в них участия. Мне не нравилась, как теперь бы сказали, их «заорганизованность», общее участие в них всех детей при руководстве учителей. В первых классах очень большое внимание уделялось правописанию, каллиграфии, и я писала по-немецки (готическим шрифтом) лучше, чем по-русски.

Очень пышно и красиво праздновалось рождество. Огромная елка украшалась в школе очень богато. Все дети приходили вместе с родителями. Подарков, как я помню, не выдавали, но было угощение, приготовленное родителями: шоколад-какао — горячий в чашках, и пышки с вареньем мне запомнились на всю жизнь, как самое вкусное лакомство в моей жизни.

Дети были аккуратные, хорошо одетые, и не все у меня с девочками хорошо складывалось. Они меня дразнили. Дело в том,

что наша мама была большой демократкой. Она шила нам серые халаты в виде цельнокроеных длинных платьев с большими карманами, своего рода «толстовок», и мы носили их поверх платьев. Эти «туалеты» отличались от того, что носили другие девочки. Все девочки из «хороших семейств» дружили между собой и чувствовали мой негативизм, хотя я ничем его и не выражала. Наш домашний уклад, очевидно, не соответствовал их домашней ментальности. Они были тщательно причесаны, с большими бантами, одеты в платья с передниками, украшенными оборками плиссе, или в модные тогда платья — короткие и с юбками плиссе. Нас же стригла сама мама «под горшок», в кружок. Теперь бы я выглядела более модно, чем они. Девочки считали, что я нарушаю все правила моды. Однажды моя одноклассница — первая ученица Лера Троицкая, впоследствии известный геофизик, стала горячо меня выговаривать за мою внешность и одежду, хотя я в это время уже стала довольно милостивой девочкой. Высокая ростом Таня Шаак так дразнила и толкала меня, что побоялась, как бы я не пожаловалась на нее фройлайн Биддер, и стала передо мной извиняться. Это так меня тронуло, что я стала целовать ей руки (что уже совсем было лишним). Думаю, что это смутило и ее, так как она была по природе человеком добрым и порядочным. Впоследствии ее судьба была очень драматичной. Отец ее Вильгельм Шаак был профессором медицины, одним из ученых врачей Ленинграда. До войны моя сестра Ляля проходила у него медицинскую практику. Она очень уважала его. Во время войны он был эвакуирован в Кисловодск, там продолжал работать, оперировал, а поскольку Кисловодск был оккупирован немецко-фашистскими войсками, он после войны был объявлен предателем и немецким шпионом — к тому же он и сам был петербургским немцем, что вызывало дополнительные преследования. С большим трудом удалось доказать, что он не был шпионом, и он остался в живых. Но его уволили со всех работ. В это время у него умерла жена, сам он заболел: у него был инфаркт. Ляля, вернувшаяся из армии после войны, положила его на отделение, в котором работала, в Институте скорой помощи. Он, кажется, умер в этой больнице. В это время Таня Шаак уже была хирургом, она была замужем, и у нее была дочь. Как раз тогда фабриковалось и раздувалось «дело врачей». Против Тани Шаак была организована гнусная провокация. Она делала операцию аппендицита, а через некоторое время к ней пришла ее пациентка и заявила, что у нее вышел ватный тампон, который якобы хирург оставила

в кишках. Таня сказала, что это глупости, и выбросила предъявленный ей тампон. Женщина, как и было заранее спланировано, пошла по начальству. Состоялся суд, который постановил, что шантажистке нужно выплатить чудовищную сумму, причем платить должна была сама Таня. У Тани и ее мужа описали и вынесли все имущество. Она, ее муж и дочь спали на полу и ходили зимой в тапочках. Несколько лет они выплачивали этот «долг». Я встретила Таню через много лет на вечере одноклассников, на банкете. Кошмар, который она пережила, окончился. Она стала известным хирургом, как и ее отец, разрабатывала новые методы в лечении больных. Я поспешила высказать ей слова сочувствия пережитым ею ужасам и уважения к ее отцу. Не знаю, имело ли это для нее значение.

В 1928 году, когда мы окончили четвертый класс, Петершале была «реформирована»: ее переделали в 41-ю советскую школу, а немецких учителей и учеников перевели, если они этого хотели, на Васильевский остров, в школу для нац.меньшинств — немцев. Мы туда не перешли и остались в 41-й школе. Весь климат школы переменился. Правда, некоторые учителя остались — прежде всего, строгий, серьезный и немного «отчужденный» от учеников Войт (Herr Woit), учительница рисования старенькая фройлайн Циглер, чудаковатый учитель черчения Лойцингер, который ко всеобщему удивлению ходил в коротких штанах и длинных шерстяных носках (он был не то швейцарец, не то австриец). В школе большую силу приобрела общественная работа, руководимая пионервожатыми. На их организаторскую деятельность особенно охотно отзывались девочки. У энергичных и демократичных молодых руководителей появились поклонницы, которые до вечера оставались в школе, весело и шумно проводя время в организованных мероприятиях. Школа стала противопоставлять себя семье, и подраставшие дети охотно в это включались. Я это почувствовала — конечно, неосознанно, и целиком встала на сторону семьи. Когда была проведена очередная реформа: отменена семидневная неделя, и для всех трудящихся, в том числе для школьников, введена «скользящая пятидневка» — в каждом учреждении свой график, у нас в школе, как и всюду, было проведено общее собрание в актовом зале с тем, чтобы трудящиеся одобрили это нововведение. Многим детям оно нравилось — было больше выходных дней. Мне тоже была приятна короткая неделя, но я выступила против этой затеи, конечно, не смея протестовать, а лишь ставя вопрос о том, как дети будут встречаться

с родителями. Я привела пример: в нашей семье принято всем вместе ходить в музей, гулять, кататься на лодке. При этом голос мой задрожал, и я испугалась, что заплачу. Я была тогда в шестом классе, мне было 12 лет.

В сознание поколения прочно, как аксиома, вошла идея высшего авторитета большинства, коллектива, которому должен подчиняться каждый член этого коллектива. Эта идея была для меня неприемлема. Когда все категорично придерживались одного мнения, особенно когда все выступали против одного, я всегда вставала на сторону этого одного, противостоящего коллективу, и испытывала от этого своего рода удовольствие, даже вдохновение. Проявление этого чувства у меня я помню в одном домашнем эпизоде. Мама поругала кого-то из детей за то, что он подал деньги нищему. Ее аргумент был таков: «Кто не зарабатывает, тот не подает без спроса». Папа возразил ей, и все мы, дети, были на его стороне. Но когда я увидела, что мама оказалась в изоляции, я сразу перешла на ее сторону и с подъемом закричала: «Мама права!», хотя в душе не была с ней согласна. Этим окончился спор, так как все почувствовали что-то нехорошее в своем единомыслии.

Впоследствии это стихийное сопротивление коллективу во мне просыпалось неоднократно и осложняло мои отношения с одноклассниками. Я нарушала «сговоры» коллективно смыться с контрольной и другие подобные «акции». Когда в 8 классе почти все девочки получили похабные письма с «объяснениями» вопросов пола и с соответствующими «иллюстрациями», я уничтожила письмо, не читая. Помню, что я поручила Юре выбросить письмо в помойное ведро и после этого беспокоилась, не стал ли он читать его. Но Юра — рыцарь с детства, так и выбросил его, не заглянув в конверт. Девочки нашего класса устроили подлинное расследование, а затем допрос и установили «автора». Потом некоторые считали, что ошибочно, и что настоящий «автор» вынудил более слабого в моральном отношении приятеля взять вину на себя. Девочки потребовали перевода виновника в другой класс и объявили бойкот этому мальчику до конца школы. Я, конечно, с ним не разговаривала (потом он стал хорошим специалистом — инженером), но не потому, что так решили, а потому, что чувствовала к нему отвращение. Он был при этом очень воспитанным, хорошим учеником, всегда вежливым и интеллигентным. Одноклассницы порицали меня за то, что я уничтожила «вещественное доказательство» — письмо — и не приняла ника-

кого участия в расследовании и в допросе в классе, а к тому же сказала, что этот допрос мне показался позорным.

Впрочем, в этом возрасте у меня уже были подруги, которые, несмотря на то, что я иногда с ними расходилась во мнениях, поддерживали меня. Я уже был членом «компании», хотя у меня была и мощная оппозиция среди мальчиков, отрицательно относившихся к моему увлечению литературой. Они намекали на то, что я слаба в математике, хотя я никогда ниже четверок не опускалась. Впрочем, во мне находили черты «чуждачности»: я одевалась не по моде, и у меня не было «романов». Моя «особость» была замечена и отмечена. Дело было в том, что отрицание коллектива мне не сходило с рук. Хотя и в Петершуле я подчас ощущала свое несогласие с другими, для меня годы в этой школе имели очень большое значение. Интересно, что, когда мы встретились на банкете соучеников, будучи людьми 45–46 лет, мы все «вошли» в «роли» своих детских лет. Активистки привели постаревшего вожатого и вместе с ним организовывали танцы польки-еньки и пение песен прежних лет, а у меня от этого «шкура становилась дыбом».

В старших классах у меня образовалось довольно прочное дружеское окружение. Подруги были и у меня, и у Ляли, и создавались компании. Многие девочки бывали у нас дома и занимались, помогая друг другу. У Ляли была подруга Дебора (Деба) Крупп — очень способная к математике, которая помогала нам в трудных случаях. Мои подруги были интеллектуалками, с которыми мы рассуждали, «теоретизировали», обсуждая мировые вопросы и семейные конфликты, возникавшие у некоторых из них время от времени. В нашей семье отношения были ровные, хорошие, и одна очень близкая мне подруга даже порывалась уйти жить к нам. Из этого ничего не вышло. Мои родители повели себя мудро, доброжелательно, но осторожно. Ее мать — бойкая, нарядная дама с большим апломбом, была уже готова устроить нам скандал, но победила без скандала, так как никто с ней в конфликт не вступал.

Юра пошел сразу во второй класс школы, так как был очень развит. Перед поступлением в школу он еще не умел писать: писал только печатными буквами. Я исписала с ним целую тетрадь: до ее середины я водила его руку, а во второй половине тетради он писал сам, списывая с учебника для 1 класса. Тетрадь мы украсили своими рисунками. Увидев ее, учителя убедились, что его можно принять во второй класс.

Однако фантастические ошибки Юра продолжал делать долго. Получив от папы поручение диктовать Юре ежедневно, Инна железно исполняла свой долг, но сильно допекала Юру своим педантизмом. Она диктовала ему в самое неудобное для него время и докладывала папе: «Отец, Юрий сделал 18 ошибок». — «Врешь, врешь! — кричал Юра. — Только 13!». Дело в том, что Инна считала за ошибки все сомнительные написания, к которым Юра прибегал, когда не знал, какое решение избрать. В конце концов он научился писать грамотно — благодаря Инне и благодаря собственным стараниям. Чтобы отточить свои знания, в последнем классе он взял ученика, которого натаскивал к выпускным экзаменам.

8. Наша жизнь на даче

Поездки на дачу играли большую роль в нашей жизни, и пребыванием на той или иной даче окрашивались разные ее периоды. Десять лет своего детства мы жили в Сестрорецке на даче, которую арендовали на этот срок родители. (Это было возможно только в годы НЭПа). Барская дача с большим садом, в котором дико разрасталась сирень, цвели многолетние цветы — дикие флоксы, желтые георгины, — своим задним фасадом выходила на Пески, в дюны, которые в то время еще не были застроены и представляли собою довольно высокие песчаные холмы, между которыми находилось небольшое заросшее озеро. Его все называли «бочага». Об этом озере рассказывали разные страшные истории, на нем происходили несчастные случаи: дно его было вязким и легко засасывало. Поэтому нам строго запрещалось ходить на бочагу, но поэтому же мы, под руководством Инны, обожавшей приключения, не вылезали из бочаги, чего наша работавшая и вечно занятая мама не замечала. Мы собирали на трясине в бочаге клюкву и делали из нее бусы. Один случай раскрыл маме глаза на наши авантюры. Однажды мы заметили прекрасный островок, покрытый особенно яркой зеленой травой. На нем росли невысокие кусты и маленькое деревцо. Раньше мы не обращали внимания на этот островок, и мы решили его обследовать. Мы перебрались туда и стали искать клюкву. Каково же было наше неприятное открытие, когда, соскучившись на островке, мы обнаружили, что он — плавучий и за это время отплыл

на середину бочаги! Страшные рассказы о детях, осмелившихся купаться в бочаге и утонувших, были нам известны. К тому же мы не умели плавать. Первая решила перебраться на берег отчаянная Ляля. Она бухнулась в темную воду, которая накрыла ее с головой, вынырнула, влезла на корягу, с нее перебралась на кочку, опять бухнулась в воду и оказалась вся черная на берегу. За ней полезла Инна. Она долго изучала дно своими длинными ногами, наконец нашла корягу, перебралась на кочку и по-собачьи доплыла до берега. Я дольше всех оставалась на трясине. Тихонько, чтобы никто не услышал, звала «Караул!», несмотря на угрожающие жесты Инны, но в конце концов проделала тот же путь, что и другие. Мы оказались на берегу все черные от тины и болотной мути, и тут же Инна выдвинула оригинальное предложение. Она сказала, что следует скатиться, переваливаясь с боку на бок, с высокой дюны — как мама обваливает рыбу в муке, перед тем как жарить. Тогда не видно будет, что мы такие черные. Мы так и сделали и побежали мимо няни Груши, которая сидела с Юрой на песке и при виде нас перекрестилась. Юра был еще совсем маленьким, его лицо от уха до уха было в киселе: няня кормила его черничным киселем, а он вертелся. Значит, и мы еще были малы. Это было на «белой даче» в тот период нашей жизни, который запечатлен на фотографии, где Юра сидит на руках у мамы, Ляля маленькая и веселая стоит сбоку, а я нахмуренная в нарядном дореволюционном платье занимаю центральную позицию.

Когда мы с Лялей стали подростками, лет 12–14 или даже 15, мы с Юрой жили втроем на даче. Инна считала себя взрослой и на даче жить не хотела. Родители работали, но дача снималась ежегодно, и на ней жили мы втроем. Мы с Лялей вели хозяйство, в котором посильно участвовал Юра. Деньги и продукты кончались у нас в первую половину недели, и дальше мы жили на черных сухарях, которые мама сушила всю зиму из всех оставшихся кусков, на картошке, которую подкапывали из нашей грядки, и, главное, на грибах, которые по канавам собирал Юра, и на незрелых ягодах красной смородины с куста, который нам «отвела» хозяйка дачи. Одним летом было солнечно, но очень ветрено, и мы нашли зеленую полянку, окруженную заборами, где мы сидели и после хозяйственных дел играли в рослый рослак.

Мы с Лялей стояли часами в очередях за продуктами, которых хватало на три-четыре дня, носили вдвоем тяжелейшую банку керосина за несколько километров, с ужасным напряжением вытаскивали ведро воды из колодца на веревке, готови-

ли обеды из картошки, черных сухарей, кислых ягод и грибов, и все эти труды не мешали нам находить время для уединения на зеленой полянке. Что нам не хватало денег и продуктов, мама догадалась только в конце лета, когда увидела, что мы опустошили два больших мешка с сушеными «остатками» черного хлеба. Я же приняла свои меры и повесила на вокзале объявление, что даю уроки немецкого и русского языков. На успех этой попытки я особенно не рассчитывала. Но чудо! Клиенты нашлись. Однажды, когда мы с Лялей готовили обед, и я, как всегда, была в сарафане и босиком, нас позвали снизу лестницы (наша кухня и комнаты были на втором этаже дачи). Услышав, что речь идет об объявлении, я быстро надела на босу ногу мамы туфли и накинула мамину белую юбку-клёш «довоенного», то есть дореволюционного, пошива. После этого мы позвали к нам даму в белой шляпе с полями, в строгом платье и с прической. Она спросила, сколько мне лет, и я немедленно соврала, что 17, хотя мне было 15, и она пригласила меня быть бонной к двум девочкам 6 и 7 лет с тем, чтобы говорить с ними по-немецки, гулять, рисовать и заниматься с ними с 9 часов утра до 4 часов дня. За это я должна была получать 40 рублей в месяц. Через несколько дней пришла другая дама и наняла меня готовить в 1-й класс мальчика, который не мог никак освоить букварь. За это я должна была получать 25 рублей в месяц. Очень интеллигентная и состоятельная семья, в которой я занималась с девочками, меня стесняла своим чинным дореволюционным бытом и консерватизмом. Мать семьи мне рассказывала, что очень огорчалась, что старшую девочку ей «пришлось родить» 8 марта. Когда я, нарисовав девочкам бумажных кукол и полный гардероб к ним, к одному платью сделала даже не красный, а оранжевый галстук, мамаша «упразднила» этот бумажный наряд. В этой семье был родственник — взрослый человек, кажется, брат хозяйки, Глеб. Однажды он стал говорить о чудовищном невежестве современных школьников, о том, что они совершенно не знают истории. Это была истинная правда, но она меня обидела, как осуждение всего нашего поколения. Я сказала, что мой брат, совсем еще не взрослый, историю знает. Глеб решил «уличить» меня и захотел познакомиться с этим мальчиком. Проэкзаменовав Юру, он сказал сквозь зубы: «Да, не хуже гимназиста!», но я внутренне с ним не согласилась. Гимназиста заставляли учить историю, а Юра сам придумал это, сам, не по учебникам знакомился с фактами истории и горячо любил «Илиаду», книгу историка Полибия,

«Сравнительные жизнеописания» Плутарха. Потом Глеб заинтересовался юным эрудитом и стал приглашать его на свою дачу. Они встречались несколько раз.

Юра был очень компанейским членом нашего семейного детского коллектива. На даче он украшал наше уединение красочным исполнением отдельных эпизодов из «Илиады» и сочинений римских историков. Это был своеобразный театр одного актера.

Инна рано откололась от нашей детской компании, хотя, как уже было сказано, в раннем детстве она имела на нас большое влияние и даже руководила нами. Инна была заводилой во всех наших наиболее авантюрных детских затеях — и никого так много не наказывали, как Инну. Конечно, наказания исходили от мамы, папа только присутствовал и не смел возражать. Этот педагогический энтузиазм, который у матери был отчасти вынужденным — уж очень опасны были организованные Инной авантюры — поддерживала сама Инна. Она шла навстречу требовательности родителей, и ее не удовлетворяла их пассивность в «управлении» детьми. Так, она учредила, когда мы жили на даче, так называемые «судные дни», когда каждый из детей должен был публично доложить родителям о своих проступках. Я помню, как добродетельная маленькая хозяйка Ляля «докладывала» обо всех своих прегрешениях. Сама Инна тоже «каялась». Мама слушала ее заинтересованно и внимательно, а папа — глубоко опустив голову и молча.

9. О моем брате

Младшего среди детей нашей семьи брата я узнала сразу после его рождения. Меня отец взял с собой в родильный дом; туда допускали родственников, разрешая им входить в палату, и я увидела нового братца в колыбели около кровати мамы. Этому предшествовали в нашей семье некоторые события. Мы жили в квартире на Старо-Невском на шестом этаже. Квартира состояла из двух этажей, наверху были спальни, внизу гостиная — большая холодная комната, обставленная зеленой мебелью с серебряными венками в оправе из красного дерева, — столовая и кухня. Соединялись этажи в нашей квартире деревянной лестницей, покрашенной коричневой масляной краской. Мама ушла

в родильный дом тихо, когда мы спали, но в приемном покое она вспомнила, что забыла выключить керосинку. Вернулась домой, завоzilась на кухне и еще месяц пробыла дома. Однако через месяц она опять ушла, и тут уж мы присутствовали при серьезных разговорах: слышали, как мама наставляла отца и няню Шуру, чтобы они нас выкупали, и давала другие хозяйственные распоряжения. Старшей нашей сестре было шесть с половиной лет, мне четыре с половиной и младшей сестре три года. Надолго вошло в нашей семье в поговорку, как папа и Шура мыли нас в кухне в корыте, и как, окунув в воду очередного ребенка, папа в панике кричал: «Она посинела!», — и ребенка, не помыв, извлекали из корыта и растирали полотенцем. Папа заблаговременно купил для мамы конфеты монпансье и поставил их на буфет. Мы остались, как это часто бывало, одни. Старшая сестра Инна посадила нас с Лялей на детский столик и запретила нам с него слезать, так как она будет мести пол. Она действительно мела пол веником, но при этом все время убегала из комнаты в столовую, к буфету, и понемногу таскала монпансье. Мы с Лялей покорно сидели, но вдруг разом переглянулись, слезли со столика, побежали за ней, разоблачили ее и, схватив кулек, тоже взяли себе оттуда конфеты. После этого мы поставили кулек на место, и Инна больше конфет не брала. Когда папа пришел и заглянул в кулек, он вздохнул и покачал головой. Это был его стиль, чего мы тогда пока еще не понимали.

Когда стало известно, что мама родила мальчика, появилась возможность навещать ее, и папа сначала взял с собой Инну. В следующий раз он решил пойти к маме со мной. Он собрал меня, надел на меня кружевной передник, этот передник у нас был один на троих, и мы пошли. Дело было в конце февраля — начале марта. Было скользко, я обнаруживала все время тенденцию упасть в снег или в лужу, и папа подымал меня, как бы выдергивая за руку. Это всегда было больно, но мы никогда не подавали вида, не желая мешать ему делать так, как ему нравится, а он думал, очевидно, что это нас забавляет. Юра показался мне очень красивым, хотя взрослые потом говорили, что у него большой нос. Но уже к двум годам он стал хорошеньким кудрявым мальчиком. Папа принес маме в больницу кулек с монпансье и бутерброд с котлетой. Мама мне сказала: «Лида, хочешь котлету?». Папа стал мне моргать, чтобы я не брала. Но это было свыше моих сил, и я сказала, что хочу. Надеюсь, что я съела не весь бутерброд. Сейчас уже не помню. Я вообще отличалась очень хорошим аппетитом.

Помню, как-то я пошла к маме и попросила еще кусочек хлеба с медом, и мама сказала: «Что это такое?! Все дети как дети, а Лида какая-то жадная». Я не поняла, что эти слова не похвала, а осуждение, и, вернувшись в детскую, гордо сказала: «Вы все дети как дети, а я какая-то жадная». Очевидно, нашим родителям было очень тяжело кормить такую большую семью. Отец ходил по ночам работать на мельницу, и один раз даже взял меня с собой показать, как она работает. Летом он по ночам сторожил огороды, чтобы получать овощи, а мама работала в госпитале, где ей выдавали рыбий жир, который нас заставляли пить, чтобы восполнить отсутствие молока, масла и витаминов. Один раз мама сделала попытку устроить нас в детский сад. Если не ошибаюсь, в организацию «Капля молока». Там мне очень понравилось. Там был большой зал и рояль, на котором играла учительница и одна девочка, которую почему-то все учителя и нянечки очень любили. Нам дали обед: бульон, в котором плавал кусок свиного сала, но после этого у нас всех троих болели животы, и мы больше в детский сад не ходили. Как раз в это время папа заболел. Он простудился на ночной работе, и у него было воспаление легких. Помню, что мама очень беспокоилась, ведь у него, как я после узнала, в юности был туберкулез. И в семье было тягостное, грустное настроение. Однажды он встал и, ступая в больших неуклюжих валенках, пошатываясь, задел провод, уронил лампу и разбил зеленый прекрасный абажур, которым я любовалась, когда зажигался свет. Я очень об этом жалела.

Благосостояние наших родителей все время колебалось. Когда они поженились, они были очень бедны, но благодаря их упорной работе, им удалось выбиться из бедности. До революции, «в мирное время» (постоянное выражение родителей), они жили хорошо, снимали хорошую квартиру. От бывшего благополучия у нас сохранились: у Инны детское пальто с обезьяним мехом, а у меня шубка, в которой меня впоследствии украли. Привычку к благополучному семейному укладу родители сохраняли и впоследствии, лишь под нажимом очень тяжелых обстоятельств сдавая свои позиции и отступая от обычая «жить по-людски». Так, хотя в квартире на Старо-Невском была в кухне поставлена буржуйка-временка, около которой все грелись и на которой сушили хлеб, квартира была в порядке, у детей по возможности была няня (не всегда), а маленькому Юре, когда ему было около двух лет, на заказ сшили серый костюмчик с пиджачком и пальтишко с воротником белого горного козлика. Этот нежный белый воротничок

как-то соответствовал кудрявой белой головке, нежному личику и большим серым глазам ребенка. Взрослые любовались тем, что, надев костюмчик, он стал расхаживать, заложив руки за спину, как папа, хотя руки у него за спиной не сходились. Через какое-то время, когда Юре было около трех лет, мама сама сшила ему синий бархатный костюмчик. Помню, когда папа повел всю нашу детскую команду в Эрмитаж, Юру контролер не захотел пропустить как слишком маленького и ненадежного. Но когда Юра важно вынул из кармана часы-луковицу, принадлежавшие деду, контролер снизошел, заявив, что раз человек при часах, его нельзя не пропустить.

Однако в самые ранние годы нашего и Юриного детства нам жилось очень трудно. Помню, как мы, дети, сидели на песке в Сестрорецке и проходившая мимо наша дальняя родственница стала громко корить маму и нас, что годовалый Юра одет в девичьи панталоны, к тому же запачканные в песке. Она была замужем за ответработником, недавно приехала из Франции, была наверху своего благополучия и бесцеремонно щеголяла им. Годовалый Юра, несмотря на свой возраст, уже был интеллигентен, как папа. Эту чеховскую интеллигентность он вполне унаследовал. Ее ему хватило на всю жизнь. Он смутился, встал, отряхнул штанишки и, обняв старшую сестру, уткнулся в ее плечо, а родственница продолжала греметь: «Я так и быть подарю вам для него костюмчик!». И действительно она подарила красный костюмчик из хлопчатобумажного трикотажа, который мама приняла, к моему огорчению, и Юра довольно долго его носил. В этой связи вспоминается другой, более поздний, случай в нашей семье. Вещи переходили от старших детей к младшим, и Юре часто доставались вещи от трех сестер. Когда он пошел в школу, сразу во второй класс, дети обнаружили, что он ходит в девичьем капоре, и его стали дразнить «мадам Лотман». Он пожаловался маме, и мама возразила: «Разве это обидно? Ведь меня тоже называют „мадам Лотман“, и я не обижаюсь». Однако капор был заменен на вязаную шапочку. Подражать папе Юра стремился с раннего детства. Это желание у него тоже осталось на всю жизнь, и это было ему легко. У него было много черт, идущих от папы. Он, как и отец, был очень музыкален. Отец сам не играл ни на каком инструменте, но очень любил и понимал музыку. Чудачка-учительница музыки Клара Людвиговна, физиономистка, говорила, что у нашего отца глаза Бетховена. Юра, когда ему еще не было года, стоя в кровати, дирижировал, когда Инна или кто-нибудь

из гостей играли на пианино. А в шесть лет он уже маленькими ручками играл сам. На одном из конкурсов молодых дарований он получил премию, причем когда он кончил играть, в зале раздались аплодисменты и смех. Его не было видно, и ведущий концерта конферансье поднял его и поставил на крышку рояля, а он церемонно и вежливо, как папа, раскланялся. Клара Людвиговна говорила, что он берет аккорд не рукой, а душой. В шесть лет Юра заявил, что, когда вырастет, выстрижет себе на макушке лысину и отрастит усы. Папу за его усы в его родной семье называли Тараканыч. Уже во время войны в армии Юра носил усы, за что не раз выслушивал замечания и приказы сбрить. В конце войны какой-то генерал, увидев усатого солдата, воскликнул: «А это что за гусар! Сбрить и доложить!». Это был не последний случай, когда Юра вынужден был сбрить усы. От папы у Юры шла его чуткость, его способность поразительно понять другого человека и терпимость. Отец никогда не делал замечания в нашей большой семье, в противоположность маме, которая легко раздавала приказы, а если они не выполнялись, то и шлепки. Юра впоследствии тоном осуждения сказал, что отец промолчал всю жизнь, ничего не говоря детям. С маминими же приказами Юра считался меньше, чем мы, старшие сестры. У мамы несколько ослабел волевой посыл к четвертому ребенку, и ко времени, когда Юра взрослел, его больше воспитывал общий дух семьи, наши детские очень интересные игры, чтение вслух, в котором участвовала вся семья, чем чьи-либо приказы. У Юры впоследствии проявились и мамины черты: вспыльчивость, темперамент, отвага, стойкость. Как говорят в боксе, он хорошо держал удары. От мамы к нему пришла и творческая фантазия — прекрасная черта ученого. Папа был логичен, острожен в суждениях и всегда опирался на свою широкую эрудицию, которую постоянно пополнял, читая серьезные книги, главным образом исторического содержания. Мама же была сказочница. По вечерам, когда мы ложились спать, она оставалась в нашей спальне и рассказывала нам длинные романы своего сочинения, романтические, напоминающие современные мексиканские сериалы. Они вполне заменяли нам не существовавшее тогда телевидение. Отец сердился, кричал из соседней комнаты, что детям пора спать, но это придавало лишь еще большую эмоциональную напряженность рассказам. Прежде чем перейти к дальнейшим рассказам о нашем детстве и о Юре, позволю себе вставить замечание о том, что я, будучи в эвакуации воспитателем в детском доме сирот, детей

ленинградской блокады, следуя примеру мамы, рассказывала в спальне (в каждой спальне было по двадцать пять детей) своим воспитанникам романы, но не своего сочинения, а прочитанные. И пока я рассказывала в спальне младших мальчиков, затем в спальне младших девочек, в спальне старших детей меня терпеливо ждали. Детям это заменяло и телевизор, которого тогда не было, и кино, и книги, которых тогда там было очень мало. К тому же это было проявлением уюта и интимного общения детей со взрослыми.

О Юре можно сказать словами Гёте: «Vom Vater hab' ich die Statur, | des Lebens ernstes Führen | vom Mütterchen die Frohnatur, | Und Lust zu fabulieren». Наш отец действительно был человек хорошего тона, изящный и уязвимый. Он нередко бывал грустен и искал у мамы моральной поддержки, хотя при этом был большим юмористом и любил веселье. Но веселым он чаще всего бывал в обществе детей. Он как бы уходил в это общество от грубых проявлений жизни, глубоко его ранивших. Мама же воспринимала жизнь с ее жесткостью смело и управляла семьей, как маленьким кораблем в бурном море. У нее был одесский темперамент. Впоследствии Юра, переживший много опасностей, тревог, непосильных нагрузок и несправедливости, говорил мне: «Ты видела меня когда-нибудь грустным?». Уже во время тяжелых, непрерывно преследовавших его болезней на вопрос о том, как он себя чувствует, он неизменно отвечал: «Очень хорошо». За день до того, как он потерял сознание перед смертью, он вдруг почувствовал себя очень хорошо, как будто заново родился. Так было перед смертью и с нашим отцом. Юра сейчас же попросил дежурившую около него Любу Киселеву, его ученицу, позвонить нам из Тарту в Ленинград и сказать нам, что он хорошо себя чувствует, чтобы мы пережили еще раз счастье надежды. Это было еще не последнее проявление его поразительной способности понимать душу другого человека, сопереживать. В последние часы своей жизни он сказал своему врачу Светлане Николаевне Денкс: «Я сегодня ночью, наверно, умру. Не огорчайтесь. Это бывает с больными. Не могут же все выздоравливать!». Говорят: «Каков в колыбельке, таков и в могилке». Необыкновенная чуткость и способность понимать другого человека, которая дала ему впоследствии дар понимать писателей, культуру и психологию целых исторических эпох, проявлялась с самого раннего детства и не покидала его в самых жестоких обстоятельствах, которые, казалось бы, должны были заставить его думать о себе, а не о других.

Совсем дитя, Юра, снисходя к моему несчастью, частому нечаянному битью посуды, предлагал: «Ребяточки, я скажу, что это я разбил чашку, меня не накажут, я маленький». Совсем еще маленьким, получая в виде привилегии, как младший в семье, мандаринку, он делил ее на дольки, с беспокойством подсчитывая, всем ли достанется. Выручал он нас и тогда, когда мама, сознавая, что нам не хватает питания — витаминов и жиров — заставляла нас пить рыбий жир, причем каждому наливалась стопка. Юра, конечно, в тайне от мамы, брался выпивать за всех рыбий жир и исправно уничтожал его, но, как потом, когда под буфетом было обнаружено большое жирное пятно, выяснилось, выливал рыбий жир в щелку в полу.

У Юры была странная игра: он любил меня пугать. Я, зная эту его привычку, видя, что он меня пугает, неизменно очень сильно пугалась, как по команде, и при этом испытывала сильное потрясение. Это его забавляло. Уже подростком, когда мне было лет 18–19, я, студентка университета, занималась творчеством Кукольника, а Юра выскакивал из-за угла темного коридора и гробовым голосом цитировал из драмы Кукольника «Доминикино Зампиери»: «Другой Зампиери!». Так у автора драматической фантазии обозначалось появление призрака. Юра проделывал эту шутку несколько раз, и каждый раз я пугалась. В этом желании напугать я не вижу ничего для него специфического: такие шутки очень типичны для мальчиков. Они более, чем девочки, любят таинственные игры с острыми эмоциями. (Характерно, что девочка в «Кентервильском привидении» Оскара Уальда вступает с привидением в гуманные отношения, а мальчики строят ему всякие пакости.) Кроме того, у Юры была уже тогда склонность к шуткам и розыгрышам, сохранявшаяся и во взрослом возрасте (о шутках и розыгрышах Юры и его тартуских друзей много вспоминал Борис Федорович Егоров). Я вспоминаю, что, когда мы жили на даче в Репине, Юра с целой компанией подростков и юношей, собираясь встречать вечером в субботу родителей на вокзале, решили одеться привидениями. Они надели на себя простыни, кто-то взял череп и прикрыл его простыней, а Юра просто остался в трусиках, накинул на плечи небольшую скатерть, голову покрыл салфеткой, перетянутой пояском, на манер головного убора жителя пустыни, и в руки взял косу. Я знала об этой затее, но костюма Юры не видела. И когда в лунном свете он показался и с деловым видом стал закрывать веранду на ключ, я с испуга села на крыльцо, а соседская нянька упала в крапиву

и там охала. Конечно, через минуту мы все трое хохотали. Понимаю, что эти случаи перебивают мысль о присущей Юре чуткости. Но ведь я пишу о жизни, а не доказываю тезис. В жизни сущность человека или отношений проявляется дискретно, как алмаз среди пустой породы. И вот такой случай. Однажды Юра, когда ему было лет шесть, выскочил из-за куста сирени и напугал меня (мне было около 11 лет). Я очень сильно испугалась и дала ему такую пощечину, что он сел на дорожку, но тут же вскочил и закричал: «Не бойся, не бойся. Мне не больно. Не беспокойся». Он в одну минуту осознал, что я тут же остро раскаялась, и думал не о своей обиде или боли, а о том, что чувствую я.

Однажды, уже после войны, в университетской столовой он между прочим рассказал, что его чуть не убил его командир. «Дело было зимой на фронте, в большие морозы в степи, градусов тридцать, ветер, поземка, и все время от пулеметных очередей рвется связь. Я ползаю по полю, уши завязаны шапкой-ушанкой, рукавицы приходится снять, руки немеют, и только налажу связь в одном месте, она рвется в другом. Вдруг я что-то почувствовал. Оглянулся: надо мной стоит мой командир с револьвером и стреляет мне в затылок. Два раза выстрелил, но к счастью, оба раза осечка. Он, представляешь, заплакал и мне же жалуется: „Сволочи! Не могут командиру оружие почистить!“». Я похолодела, выслушав этот рассказ, и говорю: «Его самого, гада, нужно было убить!». А Юра: «Что ты! Мне его, поверь, стало жалко. Плачет, как ребенок. Его, как только я налажу связь, из штаба матерят, почему связи не было. А через минуту опять связи нет. И вообще я понимал его. Он — детдомовец. В детстве его били. Учился плохо. Недоедал много. Много в жизни было плохого и мало хорошего. Авторитета у солдат нет». Характерен и другой рассказанный им эпизод. Юра был в части «связь артиллерии». Он носил пудовые катушки с кабелем. Худенький, небольшого роста, он справлялся с большими нагрузками. Заикаясь с шести лет, на войне научился четко говорить по телефону и передавать сведения и координаты для корректировки стрельбы. Очень часто он находился на нейтральной полосе, обстреливаемой с двух сторон. Однажды он оказался на таком обстреливаемом ничейном лугу. «Обстрел страшный, а еще налетели самолеты и сбросили несколько бомб. И вот в этой обстановке ко мне мордой к лицу, глаза в глаза, щекой к щеке прижался заяц. Мы так и лежали. Обоим было страшно, но представляешь, как это переживал заяц, что ему казалось? Я стал его тихонько поглаживать,

и он вздрагивал». Это Юра в своих воспоминаниях тоже рассказывает. Другой схожий случай. Юра еще с двумя солдатами как наблюдатель, как корректировщик артиллерии, оказался на ничейной полосе в маленьком садочке, который очень простреливался. В садочке не было ничего, кроме сливовых деревьев и яблонь. Причем плоды были не вполне зрелые. Есть было нечего. И вот Юра соорудил подземную печку, дым от которой под землей рассеивался в маленьких тоннелях. В этой печке в котелке он варил компот из слив и яблок, конечно, без сахара. Компот был кислый, но товарищи, вкушая эту горячую пищу, говорили: «Как дома!». От этих военных эпизодов по ассоциации перейду к мирному времени, после войны. Однажды мы с Юрой, очень голодные, из библиотеки заскочили в «Минутку», где были кофе и пирожки. Перед нами оказалась женщина, скупившая целый мешок пирожков с яблоками, которых мне очень хотелось, не оставив нам ни одного. Я стала протестовать, тем более что женщина, как мне казалось, вела себя бесцеремонно: она зорко следила за тем, чтобы ей в кулек положили все, что было на прилавке. Юра мягко остановил меня: «Что ты, пирожков не видела? У нее гости. Она в волнении». Я устыдилась за свое «голодное озлобление» (выражение Льва Толстого), а главное — за свой аппетит и за неумение встать на чужую точку зрения. Юра любил готовить и угощать. Еще совсем маленьким он важно смешивал все, что ему давали на завтрак: яйцо, хлеб с маслом и прочее, что было под рукой, и называл это «объединением». Впоследствии кулинарные импровизации Юры, состоявшие обычно из весьма скромных компонентов (время было голодное), в нашей семье так и назывались «объединением». Однажды в одну из небогатых едой минут нашей жизни он, шаря по квартире в поисках продуктов, нашел кулек с сушеными помидорами и, приняв их за сухофрукты, сварил компот. Ляля по этому поводу сочинила стихотворение: «Жил был брат. / Он был гад. / Варил компот с помидорами / И разными прочими онёрами. / От восторга млея, / Но сам компота не ел». К своей свадьбе с Зарой он помогал подготовить угощение, с организацией которого было тоже очень туго. Помогал печь пироги с картофелем и капустой. Во время свадьбы ему также пришлось проявить свою толерантность. Невеста, молодая, энергичная, с длинными прекрасными каштановыми косами и голубыми глазами небесной чистоты, комсомолка Зара, опоздала на собственную свадьбу, потому что ее тетя (Мария Ефремовна) отказалась почтить свадьбу своим присутствием.

Дело в том, что Зара очень рано лишилась сначала матери, а затем и отца и воспитывалась в детском доме. Тетя же ее потеряла сына на войне (он трагически погиб 9 мая 1945 года) и очень хотела, чтобы Зара по окончании школы жила у нее. Она и поселилась у нее в студенческие годы. Для тети замужество Зары было крушением всех ее планов и надежд на будущее. Впоследствии, уже переехав в Тарту и находясь на попечении Юры и Зары, она не прощала Юре его женитьбы на своей племяннице. О детях Юры и Зары она говорила: «Мишенька, чудный мальчик — весь в Зару, а Гришка — суший черт, вылитый Юрий Михайлович!». Так вот Зара опоздала на свадьбу, а после этого завалилась на кровать, повернулась спиной к гостям, ее же друзьям, и рыдала. Гости между тем бродили по квартире и съедали запасы, приготовленные для торжественного стола. Юра нежно урезонивал Зару, но она не поддавалась. Я, видя дезорганизацию вечернего праздника, понемногу накалялась. Желая прервать затянувшиеся переговоры, Юра поставил вопрос ребром: «В конце концов, кого ты любишь больше: меня или тетю?». Надо сказать, что я всегда против таких резких альтернатив. Но для меня было ясно, что должна невеста ответить на такой провокационный вопрос. И вдруг Зара сквозь рыдания изрекла: «Конечно, тетю». Я отвела Юру в сторонку и говорю: «Слушай, пошлите ее к тете!» — «Что ты?! — отвечал Юра нежнейшим голосом. — Это она по глупости». Приведу другой — академический довольно недавний случай. Известный ученый, мой товарищ по университету, ставший завкафедрой, очень милый человек, спорил с Юрием Михайловичем по вопросу о «Капитанской дочке» Пушкина в своем труде. Я читала и его работу, и работу Юры, с которой он спорил, и считала, что Юра более прав. В перерыве одной из конференций профессор подходит к Юре и говорит: «Вы читали, я с Вами довольно резко полемизирую о том-то и том-то?». Юра отвечает: «И при этом Вы правы». Я говорю Юре, отходя на пару шагов: «Какого черта! Ведь не он, а ты прав!», а Юра мне извиняющимся голосом: «Но ему так хочется!».

Так, говоря об одной черте характера Юры, я далеко ушла от темы семьи и детства, с которой начала и с которой следовало начинать. Но неизвестно, как жизнь дана человеку: как Ариаднина нить, идущая от начала к концу, двигаясь от причины к следствию, или как корзина с набором проявлений судьбы — Eintopfessen, немецкое блюдо — весь обед в одном горшке. Опираясь на Гейне, который утверждал, что герои Шекспира несут свою судьбу

в себе, можно было бы приблизиться к подобной точке зрения, тем более что Юра был в зрелом возрасте большим сторонником идеи, что выдающийся человек сам строит свою личность. Но в нашем историческом опыте столько перевернутых корзин, оборванных нитей и разрушенных фундаментов прекрасно запроектированных зданий, что воздержимся от выводов и вернемся к неповторимой и счастливой поре детства.

Лет в 11 Юра увлекся античной историей. Однажды, лет в 12, он повесил на стене Дома Книги объявление: «Даю уроки истории и греческой мифологии». Его тут же схватил милиционер, обвинил в хулиганстве и хотел тащить в милицию, но просвещенная толпа прохожих и покупателей Дома Книги «отбила» его, и, пока милиционер объяснялся с активистами этой толпы, пытавшимися втолковать ему, что такое греческая мифология, Юра убежал. Еще раз милиционер пытался задержать его в Эрмитаже на том основании, что он полчаса простоял около картины Тициана «Кающаяся Магдалина в гроте». Его повели в дежурную комнату охраны, где он на ехидные подозрения дежурных ответил маленькой, наивной, но полной энтузиазма лекцией об итальянском Возрождении.

К эпизоду о том, как «толпа» отстояла Юру и как чужие люди помогли ему, хочется добавить еще одну историю, на этот раз из сравнительно недавнего прошлого. Приехавший в Ленинград из Тарту Юра проработал несколько часов в Публичной библиотеке и хотел зайти куда-нибудь поесть, но у дверей кафе он увидел очередь, а в столовой не меньшую толкучку. Тогда он решил быстро купить что-нибудь и поесть дома, но обнаружил, что не захватил никакого мешочка. Обратившись к первой попавшейся женщине, он спросил: «Скажите, пожалуйста, у вас нет лишнего мешочка?». Поступок этот был не менее экстравагантным, чем объявление в детстве, — в то время далеко не всегда было возможно купить мешочек. Дама ответила ему: «Юрий Михайлович, перейдите на ту сторону Невского и посидите в сквере у Казанского собора минут 5–10. Я принесу вам мешочек». Этот эпизод — милое петербургское чудо. Правда, не нужно забывать, что рядом были публичная библиотека и Педагогический Институт имени Герцена.

Увлечение античной историей и литературой у Юры не кончилось до самого поступления в университет. Когда я уже училась на втором курсе университета, а Ляля в старшем классе школы, Юре, которому было 14 лет, сняли комнату в Красном

Валу, 18 км от Луги. Там он вынужден был жить в полном уединении и питаться молоком, которое мама оплатила вперед. Он ходил по поселку с большой книгой «Метаморфозы», на обложке которой было написано золотыми буквами «Овидий». Местные мальчишки прозвали этого загадочного мальчика Овидием, не предполагая, насколько это прозвище соответствует его вынужденному и уединенному житью на лоне природы.

Наряду с увлечением историей у Юры очень рано стал формироваться интерес к естествознанию, биологии, особенно энтомологии. Он читал популярные книги, а впоследствии и научные исследования по этим предметам. Особый интерес у него вызывала систематизация разных видов животных. Можно предположить, что здесь уже сказывалась его тенденция к приведению в единую систему большого количества разнообразных фактов и явлений. Вместе с тем, его интерес к зоологии носил характер своего рода заступничества. Он, как сказал Мандельштам о Ламарке, был «за честь природы фехтовальщик». Десяти или одиннадцати лет в пионерском лагере он горячо доказывал ребятам, что в природе все гармонично и ничего отвратительного и низкого нет. В доказательство он брал лягушку в рот. Сестра Ляля, которая была пионервожатой у малышей в том же лагере, с ужасом наблюдала, как мальчишки несут куда-то змею на палочке. На вопрос: «Куда вы ее тащите?», неизменно следовал ответ: «К Лотману!». Змею несли к нему на экспертизу: он мог ответить, что это за змея, и опасна ли она для человека. Особенную симпатию Юра испытывал к насекомым, малым мира сего. Уже в пожилом возрасте он говорил мне о насекомых как об огромном ни с чем не сравнимом мире разнообразия и красоты. Наш отец в письме ко мне в Нижний Новгород, где я была в фольклорной экспедиции, писал с присущим ему юмором: «Дети в пионерлагере. Был у них. Там хорошо так, что даже Юрик желает остаться еще на месяц. Ляля возмужала и похорошела. Юрик юннатствует по жукам: клопы и блохи не входят в его коллекцию». Хотя Юра не стал биологом, он всю жизнь испытывал интерес к биологической науке, любил животных, особенно свою собаку, за жизнью и повадками которой он внимательно наблюдал.

Поступив на филологический факультет Ленинградского университета, Юра стал заниматься сознательно и упорно. Он был посвящен в интересы филологических студентов и сразу оценил высокие достоинства преподавателей, которые читали лекции и вели семинары уже на первых курсах: М. К. Азадовский

(курс фольклора), В. Я. Пропп (семинар по русскому фольклору, спецкурс по волшебной сказке), Г. А. Гуковский (курс «Введение в литературоведение»). Тогда уже некоторые преподаватели университета заметили Юру. Гуковский, со свойственной ему горячностью заявивший как-то, что нет у нас ученого, который смог бы достаточно глубоко анализировать творчество Баратынского, задумчиво добавил: «Впрочем, на экзамене мне отвечал мальчик — разбирал «Осень» Баратынского — он, пожалуй, сможет». Речь шла о восемнадцатилетнем Юре. Пропп, встретив Юру в университете после войны, обратился к нему в коридоре: «Постойте, Вы брат Лиды Лотман... Нет, Вы сами Лотман!». Этот оригинальный комплимент Юрий Михайлович запомнил на всю жизнь, он составлял предмет его гордости. В семинаре Проппа Юра сделал свой первый доклад. В университете Юра познакомился с доцентом Николаем Ивановичем Мордовченко, исследователем творчества Белинского, журналистики и литературы первой половины XIX века. Н. И. Мордовченко, человек исключительного обаяния, чем-то напоминавший друга Пушкина А. А. Дельвига, был для Юры образцом ученого — безукоризненно порядочного, предельно строгого к себе. К сожалению, Николай Иванович умер 47 лет, не успев осуществить многих своих замыслов.

По собственному позднему признанию, Юра был в начале своей университетской жизни счастлив. Его увлекали занятия, он любил своих товарищей, ему нравились девушки его группы, многие из которых были талантливы и остроумны. Это счастливое время Юры — 1 год и 2 месяца, которые он пробыл в университете до призыва в армию, — своим фоном имели грозные и тягостные события. Еще школьником он был потрясен убийством Кирова. Во второй половине 30-х годов аресты стали массовыми, потери были почти в каждой семье. Мы не могли поверить в виновность друзей и знакомых. Радость молодости омрачалась и другими политическими событиями: гражданской войной в Испании, укреплением и экспансией немецкого национал-социализма и угрозой войны. Когда появился «ворошиловский указ», по которому призыву подлежали те, кому исполнилось восемнадцать лет и несколько месяцев, а студенты лишались отсрочки, ни для кого не было сомнения, что война стоит на пороге. Один школьный товарищ Юры, когда Юре было назначено явиться для отправки в армию, сказал ему: «Вот теперь тебя возьмут в армию, начнется война, и тебя убьют». Такие мысли возникали у всех,

а мальчик, который произнес их вслух, грустно и сочувственно, умер во время блокады.

Последний вечер перед отправкой Юры в армию мы провели тихо. Обритый, Юра был такой маленький, худенький, похожий на ученика ремесленного училища, а не на вояку. Глядя на него, я невольно вспомнила, как учила его писать, водя его маленькую ручку своей рукой. Родители, грустные, пошли раньше спать, а мы, дети, долго сидели, пили чай. Юра прочел нам в утешение стихотворение Баратынского: «Не ропщите: все проходит, / И ко счастью иногда / Неожиданно приводит / Нас суровая беда...». Мне хотелось внять этому утешению, но опасения, страх перед будущим не отступали.

Юра рос в обстановке постоянного недоедания и очень часто болел плевритом. Он сам нарисовал на себя карикатуру — тощий мальчик распростерт на кровати, и на спине его стоят стаканы, чашки, стопки, рюмки, а в довершение всего воткнуты вилка и нож. Карикатура была основана на том, что мама ставила Юре, борясь с его плевритами, банки, но банок не было, купить их было невозможно, и вместо банок использовались стаканы и стопки. Я понимала, что, кроме опасности для жизни, Юре предстоит испытание непосильными физическими нагрузками. Так оно и было: всю войну он прошел и проползал с тяжелой катушкой кабеля на спине, служа в связи артиллерии. Беспокоило и то, что Юра с шести лет заикался. Однако он уже на первых курсах университета стал преодолевать заикание. Во время войны, исполняя обязанности наблюдателя, сообщая ориентиры и корректируя стрельбу, он совершенно подавил тенденцию заикания. Усилием воли он сумел также заставить себя справляться с такими физическими нагрузками, которые были, казалось бы, для человека его возраста и комплекции совершенно неодолимыми.

На следующее утро я поехала провожать Юру в армию, на вокзал. Я купила ему конфет и, кажется, булочек. Получилось так, что из близких людей я одна его провожала. На площади командование проводило для призывников митинг. Говорились официальные речи, а напоследок командующий, отправлявший эшелон, предоставил слово старому производственнику, который, как он выразился, «скажет молодым солдатам напутственное слово». Старый производственник был «под шофе». Он сказал лирически: «Погляжу я на вас и жаль мне вас, а подумаю о вас, ну и хрен с вами!». Конечно, выразился он более резко. Молодежь обрадовалась этому неожиданному дивертисменту, обор-

вавшему чинный официозный ритуал проводов. Вся площадь расхохоталась. Полковник нахмурился и приказал строиться, военный оркестр заиграл, колонны пошли на вокзал. С такими «напутственными словами» и смехом все эти мальчишки пошли навстречу новой суровой солдатской жизни и войне, самой жестокой в истории человечества. Я шла с этих проводов и плакала. Пожилой майор, дирижировавший духовым оркестром, обратился ко мне: «Девушка, чего Вы плачете?» — «Брата жалко, он еще совсем маленький». — «Ничего», — сказал майор и, указывая на своих храбрых музыкантов, обосновал свой оптимизм: «Разве им плохо?» — «Если бы он был в вашей команде, я бы не плакала», — резонно возразила я.

Начало войны Юра встретил вблизи границы. За год он успел побывать и на Кавказе, где попробовал изучать грузинский язык, и на Украине, где он записывал украинские песни, которые потом, после войны, охотно напевал. Незадолго до начала войны их часть перевели к самой границе. Они вели обычную военно-учебную жизнь. Вдруг, при возвращении со стрельбища, им скомандовали: «Идти тихо, не курить, не разговаривать. За громкие разговоры и удаление от колонны — расстрел». Никого не расстреляли, но все поняли — «Началось!». Это предчувствие стало уверенностью, как только они вернулись в лагерь: на дорожке, по которой ходили только большие начальники, дорожке, на которую под строжайшим запретом нельзя было ступить, стоял тягач.

В эти тяжелые недели отступления у Юры сделался страшный фурункулез — одновременно на нем было по восемнадцать-двадцать фурункулов, поднялась температура. Товарищи, из сочувствия и желания облегчить его положение, уговорили танкистов взять его стрелком в танк, чтобы ему не нужно было идти пешком. Танк беспрерывно вел бои с наступающим противником, отбивая рвущиеся вперед немецкие танки, в конце концов он был подбит и загорелся. Танкисты быстро выскочили, и крышка люка захлопнулась. Занятый стрельбой, Юра не успел выскочить. Как открывается крышка, он не знал, на секунду запаниковал, но взял себя в руки, разобрался, открыл и вылез. В другой раз Юрины товарищи уговорили его все же обратиться к врачу, чтобы подлечить мучивший его фурункулез. Он прошел десять километров пешком, чтобы попасть в медсанбат. В медсанбате было много тяжело раненых, искалеченных бойцов, которые ждали операции. Врачей не хватало. Юре стало стыдно,

что он пришел с такими «пустяками», и он, никому ничего не говоря, повернулся и пошел обратно.

Ничего этого мы не знали — мы оказались в блокаде, а Юра не мог писать нам. Первой весточкой от него была открытка, пришедшая в последний день 1941 г. Отец наш, в то время уже больной, дрожащим голосом воскликнул: «Мальчик жив!». Через два месяца отец умер от воспаления легких. Лекарств не было. Мы меняли хлеб на стрептоцид, который в то время слыл панацеей от всех болезней. Перед смертью отец приказал нам поклясться, что Юра, вернувшись, закончит свое образование.

Юра служил в связи артиллерии Резерва главного командования, его часть перебрасывали с одного фронта на другой. Он участвовал во многих кровопролитных и страшных сражениях и почти все время был на передовой. В армии Юра, несмотря на тяжесть солдатской службы, читал и занимался. О круге его чтения и научных размышлений свидетельствуют его письма, адресованные мне и Ляле, сокурсницам О. Н. Гречиной, А. Н. Матвеевой и Л. В. Алексеевой, а также его учителю М. К. Азадовскому. Он решил не только совершенствоваться в немецком, но и выучить французский и зубрил между боями французскую грамматику. В конце войны он встретил французов при освобождении концлагерей и пытался с ними говорить по-французски, но они его не понимали, так как самостоятельное обучение не позволило ему освоить произношение, и тогда он стал объясняться с ними письменно и добился в этом успеха.

На тяжесть бытовых условий в армии Юра не жаловался, в письмах он подчеркивал, что, если они и возникают, то он переносит их с легкостью. Только потом он рассказал некоторые эпизоды, да и то обычно с юмором. Он говорил, что, если приходилось ночевать в избе, в частности на Украине, он предпочитал ложиться не на кровать (все равно придет начальство и сгонит), а под кровать. Однажды, лежа под кроватью, он почувствовал запах еды, показавшийся ему очень соблазнительным. Он нашел глиняный горшок с какой-то похлебкой, которую съел с большим удовольствием. Но утром его стала мучить совесть, он пошел к хозяйке и повинился перед ней. Она не рассердилась, а пожалела голодного солдата и запричитала: «Ой, сынок, это ж я очистки для кур приготовила!».

Однажды, когда мы шли в Рощине в лес за грибами, Юра рассказал мне в числе прочих такой случай из своей армейской жизни. Сразу после войны он был в Германии и служил в Потс-

даме как сержант. Начальство использовало его в непривычной мирной обстановке в качестве художника. С несколькими товарищами он участвовал в праздничном оформлении зданий клубов и других помещений, занимаемых военной частью. Иногда ему приходилось ездить по железной дороге в другие городки, чтобы по поручению начальства раздобыть краски, кисти и другие принадлежности его нового ремесла. Однажды в холодном вагоне поезда он оказался вдвоем с незнакомым бледным худощавым человеком, который через некоторое время робко обратился к нему и для начала разговора спросил его, из какого он города. По Юриной военной форме незнакомец понял, что он из России, и затем он коротко рассказал ему, что он поляк и приехал в Германию с целью разыскать своих родственников, с которыми он «растерялся» во время войны. С мученической улыбкой он прибавил, что добился этой возможности с трудом, и упомянул, что не уверен в успехе своей попытки. Чтобы резко не прерывать разговора, Юра признался, что учился в Ленинградском университете и очень хочет продолжить свое образование на филологическом факультете. Собеседник оживился и спросил, кто преподавал в университете в то время. Юра назвал имена нескольких своих учителей, взглянул в лицо своего собеседника и не узнал его. Лицо у него порозовело; оказалось, что у него большие голубые глаза, и он заговорил другим голосом, задушевным и тихим, как будто исходящим из глубин воспоминаний. С волнением он стал спрашивать, что за люди Томашевский, Эйхенбаум, Жирмунский; над чем они сейчас работают, как общаются со студентами, доступны ли они. Юра отвечал односложно, он еще не был близок с профессорами, но с несколькими из них общался и их работы читал. Собеседник его, как будто стесняясь своей горячности и извиняясь, добавил: «Это такие величины! Чтение их работ — мое святое воспоминание». Юра умолк. На него повеяло далеким, неведомым ему, но близким и родным духовным миром, а собеседник еле слышно добавил: «Ведь я тоже читал студентам лекции в колледже». Поезд стал тормозить, и Юра на прощание сказал: «Будьте здоровы! Желаю Вам найти Ваших близких!». Собеседник каким-то окрепшим голосом ответил: «Желаю Вам вернуться в университет!».

Итак, конец войны Юра встретил в Германии. Он стремился поскорее вернуться домой и продолжить учебу в университете. В письмах он жалуется на Heimweh (тоску по родине) и просит прислать «книг, книг и еще раз книг», причем не беллетристику,

а специальную литературу¹. Из Германии он присылал домой только то, что официально выдавалось их части через военторг. Один раз это был сахар, другой раз — шерстяная ткань. И это несмотря на то, что в разрушенной Германии были широкие возможности приобрести много хороших вещей. Юра, естественно, был далек от какого бы то ни было «накопительства». Он и его друзья презирали мародеров. Во время войны было даже поверье: кто возьмет чужое, тот погибнет. В одном из первых писем всей нашей семье (22.6.42) Юра пишет: «Не огорчайтесь, если вещи (какие угодно) пропадут. Не придавайте этому никакого значения»².

Демобилизация Юры состоялась через полтора года после окончания войны; военное командование считало, что бойцы, призванные в 1940 г., недослужили одного года действительной службы, хотя из призыва юношей 1922 г. рождения на 100 человек уцелело 5, и хотя служили они уже 5 лет. Юра вернулся в конце 1946, перед Новым годом. Сразу же восстановился на второй курс филфака и через две недели сдал экзаменационную сессию на «отлично». Нам он предварительно заявил: «Если мне не дадут стипендию, я уйду из университета». Мы уже понимали, что у него сформировался очень решительный характер, и испугались. Во-первых, мы и сами очень хотели, чтобы он закончил свое образование, а во-вторых, мы торжественно обещали отцу перед его смертью, что обеспечим Юре эту возможность. К счастью, эта проблема очень скоро разрешилась: Юра получил стипендию, а вскоре и повышенную. Параллельно он все время подрабатывал, главным образом, своим «художеством»: писал плакаты, объявления и портреты вождей. Он вспоминал, что на этой почве он впервые столкнулся со своей будущей женой Зарой Минц — очень миловидной и активной сероглазой комсомолкой. Она рассердилась на него за то, что он отказался писать объявление о каком-то мероприятии. Разгневанная «комсомольская богиня» обозвала его: «Сволочь усатая!».

Я впервые увидела Зару в редакции «Вестника университета», где я печатала статью, а Зара-студентка тоже публиковала статью о Багрицком. Там тогда работал мой товарищ Юра Левин. В дверь вошла очень худенькая, невысокая девушка, в скромном

¹ *Лотман Ю. М.* Письма / Сост., подгот. текста, вступит. ст. и коммент. Б. Ф. Егорова. М., 1997. С. 23.

² Там же. С. 16.

коричневом костюме, чуть-чуть прихрамывая. Когда она посмотрела на меня своими огромными серо-голубыми глазами, в которых была не только скромность, но и очень большая решительность, я поняла, что эта девушка может на многое претендовать и многого достичь. Желая подразнить своего брата, который ходил в холостяках, но при этом думая также и о его судьбе и возможном будущем счастье, я сказала Юре: «Вот я сегодня видела девушку — такая девушка мне бы понравилась. Ее зовут Зара Минц». Юра ничего не ответил, с Зарой он был знаком, но мое слово было произнесено в нужный час и на нужном месте. Зара прекрасно училась, была «активисткой». Очень рано потеряв родителей, она была решительной и самостоятельной. В школе она была отличницей и даже перескочила через класс; писала стихи, любила литературу. У Зары было некоторое сходство с нашей мамой в молодости: отвага, задор и длинные косы. Через несколько лет Юра женился на Заре, и, хотя они не жили с нами, а уехали в Тарту, она стала для нас как будто еще одной сестрой. Именно поэтому мы позволяли себе иногда критиковать ее — исключительно по вопросам ведения хозяйства. Вскоре после свадьбы Зара закончила диссертацию. Нужно было «выходить на защиту», при том что обстановка была тяжелая. Как впоследствии вспоминала сама Зара, когда она принесла свою диссертацию в университет, секретарша посмотрела на толстую папку весьма скептически и сказала недовольным голосом: «Ладно, оставьте здесь». Зара обратилась ко мне за помощью: нужно было найти солидного оппонента, доктора наук, что было трудно, так как по ее теме (детская литература) было мало специалистов в докторском звании. Я попросила выступить на защите Михаила Осиповича Скрипиля, работавшего в древнерусском секторе и при этом хорошо знавшего современную литературу — диссертация Зары была посвящена современным детским писателям. Скрипиль согласился быть оппонентом, но с одним условием — если диссертация понравится мне самой, и я поручусь за ее высокий научный уровень. Я была в некоторой панике, так как диссертацию я еще не читала. После прочтения первой главы моя паника не совсем прошла — я была не согласна с некоторыми высказываниями Зары, например, с тем, что она ставила поучительные стихи Маршака выше веселых стихов Чуковского. Но чем дальше, тем интереснее и убедительнее становилась диссертация, и в конце концов я могла рекомендовать ее «со спокойным сердцем». Защита Зары прошла успешно. Со временем ее научные интересы

расширялись, Зара стала крупнейшим специалистом по литературе XX века, в частности, по творчеству Блока. В Тарту она читала курсы, в которых изучались писатели, даже не упоминавшиеся на филологических факультетах в других университетах. Туда приезжали студенты и аспиранты со всей страны — чтобы учиться у Юры, у Зары и у других преподавателей кафедры. Внезапная трагическая смерть Зары оборвала ее творческую деятельность в момент взлета, когда у нее возникли новые планы и проекты.

Нужно ли говорить, что Юра и Зара всю жизнь были идеальной парой, что Зара очень любила Юру, помогала ему и волновалась за его здоровье, что она родила ему троих сыновей (Мишу, Гришу и Алешу), и что ее смерть Юра, фактически, так и не смог пережить?..

Свое возвращение из армии Юра изобразил в карикатуре: он нарисовал себя в военной форме, коленопреклоненным и, конечно, с преувеличенно большим носом. Карикатуру он сопроводил цитатой из Пушкина: «Так отрок Библии, безумный расточитель, / До капли истощив раскаянья фиал, / Увидел наконец родимую обитель, / Главой поник и зарыдал». Для Юрия «родимую обителью» был не только дом, но и университет. Свои занятия он построил как научное творчество. От учебных предметов он переходил к углубленному изучению какого-либо объекта, а затем к обследованию широкого круга явлений, с этим объектом связанных. Такая научная методика побудила его от изучения творчества Карамзина и Радищева обратиться к исследованию масонских документов и истории масонства как идеологического фона, на котором развивалась самобытная деятельность ряда писателей конца XVIII в. Уже через год после возвращения из армии он сделал значительное научное открытие. Среди масонских бумаг он нашел документ, который искали сначала агенты III Отделения, затем, более ста лет, ученые, — устав первого декабристского общества «Краткие наставления русским рыцарям». Документ был написан по-французски, название его зашифровано. Юрий его перевел, расшифровал, откомментировал и опубликовал в 1949 г. в «Вестнике Ленинградского университета» (№ 7). Ознакомившись с этой публикацией молодого студента, ценивший архивные разыскания В. Г. Базанов, исследователь движения декабристов, сказал: «Этот мальчик уже обеспечил себе почетное место в науке». Еще на студенческой скамье Юра пишет большую, основанную на новых материалах

статью «Из истории литературно-общественной борьбы 80-х годов XVIII в.: А. Н. Радищев и А. М. Кутузов» (опубликована в сборнике: «А. Н. Радищев: Статьи и материалы». Л., 1950).

По этой статье виден научный почерк молодого ученого: стремление восстановить всю полноту духовной жизни определенной эпохи, проникнуть в тонкие механизмы идейных борений, на почве которых формируются и становятся фактором развития умственных движений концепции и идеологические системы. Сочетание этих общих, широких планов исторического исследования с интересом к личности, индивидуальности каждого из участников литературного процесса, постоянное сознание того, что и литература, и идеология — «земля людей» — проявляется уже в этой работе, но особенно явственно в последующих работах Юрия Михайловича, таких как «Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени» (1958; эта работа посвящена светлой памяти Николая Ивановича Мордовченко); «Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель» (1959) и ряд других трудов, длинный список которых венчают популярные по форме, но глубоко научные по содержанию книги «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя» (1981, 2-е изд. — 1983) и «Сотворение Карамзина» (1987).

Нужно ли напоминать, что общественная и политическая обстановка тех лет, когда Ю. М. Лотман начинал свою научную деятельность, не была благоприятна для развития науки?

Когда на позднем этапе своей научной карьеры, признанный против воли своими упрямыми недоброжелателями и искренне любимый своими учениками, сотрудниками и многочисленными читателями и слушателями, Ю. М. Лотман ободрял своих младших современников, убеждая их, что угнетающие нас трудности необходимы нам же, он, конечно, исходил из собственного опыта преодоления трагизма и, главное, «неразумности» действительности. Он говорил: «Не было бы нашего ужасного мира, но это единственный мир, в котором мы можем жить. И он, как ни парадоксально, своей ужасной стороной содержит механизм нашего счастья. Мы нуждаемся в непонимании так же, как в понимании. Мы нуждаемся в другом так же, как в своем. Мы нуждаемся в том, без чего мы не можем, так же, как и в том, без чего можем и что может без нас. Мы нуждаемся в постоянном напряжении, в переходе понятного в непонятное, гениального в ничтожное... История вообще не занятие для тех, у кого слабые нервы. Для

серьезного историка это исключительно грустная профессия, по крайней мере — напряженная и мучительная. И вместе с тем — в этом залог нашей надежды. Понимаете, где нет опасности, нет и надежды. Где нет трагедии — там нет счастья»³.

Это — горький оптимизм победителя, знающего, что «более всего опасна победа», заявившего о себе на склоне лет: «Как человек я по природе своей оптимист, но как относительно информированный историк я слишком часто сталкиваюсь с необходимостью ограничивать эту свою склонность».

Приехавший после демобилизации из Потсдама Юрий был совсем не «информирован» не только как философ и историк, но, главным образом, как человек, которому предстояло жить в послевоенном обществе. Я вынуждена была ввести его в курс дела. Когда я упомянула, что антисемитская кампания набирает силу, он очень удивился: в армии во время войны и после нее он с этим не сталкивался. Юра принял новую реальность как обстановку, в которой должен действовать.

Многие эпизоды не могли не производить угнетающего впечатления. Так, в «Ленинградской правде» была напечатана статья о Проппе, где об этом замечательном ученом говорилось в издевательских тонах, слово «профессор» писалось в кавычках; аспиранту университета Ю. Д. Левину, тяжело раненному на войне, «ревизовавший» университет чиновник задавал вопросы: не самострел ли его осколочные ранения; с трибуны Пушкинского Дома старый бюрократ от науки учил патриотизму не только меня, но и моего соавтора по статье, погибшего на войне А. М. Кукулевича, интерпретируя как политическое преступление то, что мы, в числе прочих источников баллады Пушкина, назвали сказку Гриммов. Целый поток обличительных статей был низвергнут на Б. М. Эйхенбаума. Один из остряков Пушкинского Дома, тоже подвергшийся «избиению», сказал, что молодой московский ученый (ставший впоследствии известным своим остроумием и вольнодумством), преследовавший Бориса Михайловича в печати, получит звание члена-корреспондента «За Эйхенбаума». Многих лучших ученых уволили из университета и Пушкинского Дома, в том числе Б. М. Эйхенбаума, Г. А. Гуковского, М. К. Азадовского, И. И. Векслера и др. В Пушкинском Доме был упразднен отдел

³ Лотман Ю. М. «Нам все необходимо. Лишнего в мире нет...» // Лотман Ю. М. Воспитание души. Воспоминания. Интервью. Беседы о русской культуре (телевизионные лекции). СПб., 2003. С. 287–295.

«Взаимоотношений русской и западных литератур», и таким образом многие ученые оказались вне штата института.

Таков был фон, на котором Юра вел свои научные изыскания, рылся в архивных документах, делал свои первые открытия и сдавал экзамены. В годы студенчества он был просто весел. Не имея пальто или плаща, продолжая ходить в шинели, он покупал книги, собирал профессиональную библиотеку. Фронтовой товарищ Юрия Леша Егоров, квалифицированный рабочий, вернувшийся после демобилизации на производство, говорил, подтрунивая над нашим братом, а заодно и над собою: «Мы люди простые, работаем руками и ходим в велюровых шляпах, а интеллигенция работает головой и бегаёт в шинельке, подбитой ветерком». Юре перешли папин черный касторовый пиджак, и он гордо его носил с орденом Красной Звезды, считая, что это красивое сочетание. Тогда еще носили ордена, но Юра, конечно, не носил ни своего ордена Отечественной войны, ни многочисленных боевых медалей. Дома он ходил в старом, стертom и выцветшем пиджачке. Переодевание из «официального» черного пиджака в домашний серый он изобразил в карикатуре, выполненной акварелью и снабженной подписью:

Снимаю новый черный фрак
С блестящею звездою
И надеваю дым и мрак
С закапанной рукою —

речь, конечно, здесь идет о рукаве серого пиджака. В обычные дни Юрий довольно долго ходил в университет в солдатской одежде. Одному из университетских чиновников это впоследствии, при окончании Юрой университета, дало повод объяснить причину отказа Юре в аспирантуре, несмотря на ходатайство Мордовченко и других профессоров, странным соображением: «Лотман — грубый солдафон». Любому, кто имел хоть какое-то дело с Юрием, это заявление покажется смешным и чудовищным. В любой среде он обращал на себя внимание своей изысканной вежливостью. Впрочем, правдоподобия от таких заявлений в то время не требовалось. Я не исключаю, что Юра, с его решительностью, смелостью и прямоотой, мог когда-либо сказать этому чиновнику что-нибудь такое, чего люди маленькие и зависимые не позволяли себе говорить.

Окончив университет с отличием в «знаменитом» 1950 г. и вскоре убедившись, что в любой школе, в любом учреждении,

куда он приходил наниматься, после обсуждения пятого пункта анкеты вакансии исчезала, Юра написал письма в двадцать учреждений, находившихся в других городах. Ответов или не было, или они были неутешительны. Юра на всю жизнь запомнил, как надменно и бессердечно ответила ему служившая на руководящей работе в одном из знаменитых литературных музеев К., женщина талантливая и известная независимостью характера.

Вдруг, как в волшебной сказке, случайно (недаром впоследствии Юра интересовался значением «случайности» в истории) ему сообщили, что в Учительском институте города Тарту есть вакансии преподавателя русской литературы. Соученица, сказавшая ему об этом, дала и телефон директора. Юра сразу позвонил ему, сообщил все свои данные, а ответ на пятый пункт продиктовал по буквам. Неожиданно для себя он услышал: «Приезжайте!». В Тарту он поехал, «схватив кушак и шапку», выражаясь словами Крылова. Там он первое время жил в сан. изоляторе студенческого общежития, ходил под дождем без плаща, боясь только, как бы не испортить костюм. Писал оттуда сестрам в письмах, чтобы ему купили плащ, по возможности приличный, так как «здесь все хорошо одеваются», затем отменил свою просьбу, так как дожди прекратились. Лекции у него сразу пошли успешно, настроение было хорошее. Всего несколько месяцев понадобилось Юре, чтобы сдать кандидатские экзамены и оформить кандидатскую диссертацию «А. Н. Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Карамзина», которую он защитил в Ленинградском университете. Аспирантура, от которой его так решительно отстранили, ему оказалась не нужна... Затем, работая в Тартуском Учительском институте, а после — в Тартуском университете, он умудрился по материалам ленинградских, московских и тартуских архивов написать фундаментальную докторскую диссертацию. В диссертации «Пути развития русской преддекабристской литературы» проявилась характерная для Лотмана как ученого черта: относясь с высочайшей требовательностью к научной точности и с глубоким уважением к историческим фактам, он одновременно ощущал свою эмоциональную приобщенность к тому, о чем писал. Он черпал материал для обобщений не только из исторических документов и научной литературы, но и из собственного душевного опыта. Так, когда он писал о стоическом отношении Радищева или Пушкина к смерти, то, как мне стало известно через его друзей (нам, сестрам, он ничего подоб-

ного не рассказывал), он помнил свою готовность покончить с собой, если бы опасность плена стала неотвратимой. Его докторская диссертация была опытом «воскрешения» целого поколения русских талантливых юношей, убитых, как он выражался, «на Бородинском поле и на других полях Отечественной войны 1812 года». Вместе с тем она была проникнута мыслью о своем поколении, судьба которого была схожа с судьбой «старших братьев» лицеистов и всего поколения Пушкина.

Юра не мог не понимать, что защитой докторской диссертации в 1961 г. он догнал и перегнал своих сверстников, которые не прерывали занятий для службы в армии, участия в войне и продолжения службы после окончания войны. Исключительно требовательный к себе, он считал дерзостью свое соискательство степени доктора наук. На автореферате, который он мне подарил, он сделал залихватскую надпись: «Дорогой Лидке от ее нахального брата. 22.V.1961».

Успешная и даже блестящая защита этой диссертации в Ленинградском университете поставила точку на ленинградском периоде жизни Юры. Эту точку поставил он сам, а не обстоятельства за него. Тартуский период начался раньше. В жизни нет точных границ и демаркационных линий. Эта «вторая жизнь» принесла Юрию Михайловичу Лотману много новых трудов, большие и малые тревоги, но, конечно, и много больших и малых радостей. Потому что по натуре своей он был счастливый человек.

II. Университеты

1. Ленинградский Университет

Я поступила в университет довольно рано. Семнадцать лет мне должно было исполниться 7 ноября, и университетские секретари проявили доброту и разрешили мне подать документы после окончания школы еще до моего 17-летия. Точнее, я поступила в ЛИФЛИ, Ленинградский институт философии, литературы и лингвистики, заменивший гуманитарные факультеты университетов, а затем снова преобразованный в них и присоединенный к университету.

Состав профессуры филфака был тогда уникальным. Такое созвездие ученых вряд ли можно было бы найти в других университетах мира, и об этом уже много написано и рассказано. В то же время уровень многих студентов, поступивших в университет, в том числе и мой, можно было определить как «нулевой». Буквально на пороге университета нас встретил академик Александр Сергеевич Орлов, читавший нам древнерусскую литературу. Достаточно сказать, что при вводных фразах о памятниках письменности и литературы XI–XVI веков у меня, как и у многих других, возник образ архитектурного памятника, и мы удивились, при чем здесь архитектура. Состав студентов той эпохи был пестрым во всех отношениях. Хотя школьник того времени был, по-видимому, лучше подготовлен в области русской литературы XIX века, чем средний современный выпускник школы, у нас было весьма слабое представление о древней литературе (в школе проходили только «Слово о полку Игореве»), о русском языке (его мы учили только до 8 класса), об исторических дисциплинах. А. С. Орлов, конечно, знал об этих слабых сторонах аудитории, но не шел на упрощение своих научных позиций, на отказ от научных интересов, а, напротив, становился их пропа-

гандистом. Он не скрывал своего презрения к невежеству слушателей, хотя неизменно оставался доброжелательным. При этом он сознавал не только слабые, но и сильные стороны своих слушателей. Он, например, постоянно обращался к сравнениям древней литературы с новой русской литературой — с Пушкиным, Крыловым, Львом Толстым. Ссылался он и на современную литературу, например, критиковал роман Алексея Толстого «Петр Первый». Первое, что А. С. Орлов внушал студентам, — это то, что его предмет не может быть скучным. Его лекции, которые вскоре, в 1937 году, были опубликованы в виде книги, были артистичны, а все его поведение носило характер импровизаций, иногда очень экстравагантных, но явственно направленных против официальной, штампов суждений и ритуалов поведения. Внешность академика Орлова была внушительной. Высокого роста, прямой, полный, он казался весьма величественным. При этом он был готов к озорству, шутке, смеялся заразительно. На лекцию он являлся в пальто, зимой в шубе, галошах, клал верхнюю одежду на стул. Гриша Бергельсон, один из наших товарищей, впоследствии известный филолог-германист, был большим шутником, талантливым имитатором, и он изображал следующую сцену с академиком Орловым: Орлов идет в шубе и в галошах по коридору, а уборщица в это время моет пол. Она пытается его остановить, говоря: «Куды пошел?!». Он идет дальше, не обращая внимания. Она продолжает приставать, машет тряпкой, которой моет пол. Он отмахивается и говорит: «Молчи, дура!». Скетч был очень смешным. Академик Орлов придавал большое значение языку, речи лектора, он как бы ориентировался на традиции Лескова, на сочетание изысканности филологической культуры с просторечьем, доходящим до грубости. Он разбивал представление об истории древнерусской литературы как о сухой материи, «набрасываясь» в первых же лекциях на ученых-академистов, которые занимаются лишь описанием рукописи — «толщиной корешка в верхках», как он выражался. Прежде всего академик остановился, начиная чтение своего курса, на вопросе о художественности средневековой литературы. Он ставил в упрек академической науке, что эта сторона древних литературных текстов нередко игнорируется, и история литературы превращается в обзор груды памятников письменности. Он предупреждал, что эстетика древнего искусства не соответствует современным художественным нормам, в нее надо проникнуть, ее надо понять и принять, нужно уметь различать собственно

литературные произведения, деловые документы и тексты другого различного назначения. Он хвалил Буслаева, который один из первых положил в основу изучения древней литературы признание ее непреходящей художественной ценности. «Под влиянием Федора Ивановича Буслаева нахожусь и я» — признавался он, и, обращаясь к юношеской аудитории, советовал: «Прочтя книги Буслаева, вы встанете перед целым рядом вопросов искусства, которые иначе не возникали бы у вас самостоятельно»⁴. И все это в первой же лекции.

Вместе с тем, академик Орлов умел замечательно работать с источниками, прекрасно разбирал старинные почерки, любил творчество мастеров-переписчиков. Д. С. Лихачев вспоминает об А. С. Орлове: «Мастер он был и в определении почерков. Сняв очки и приблизив рукопись на 2–3 сантиметра к одному глазу, он называл не только время почерка, но иногда указывал и схожие почерки в других рукописях, которые знал досконально». «В молодости он много работал в рукописных хранилищах Москвы, и его выступления на заседаниях отдела были, в сущности, „воспоминаниями о рукописях“»⁵.

Обращение к студентам первого курса с предложением прочесть труды Буслаева, конечно, было отчасти риторическим, слушатели курса были к этому не подготовлены. Но это было несомненным актом уважения и выражением веры в перспективы людей, которым читались лекции. С самого начала Орлов указывал на нерешенные научные вопросы, приоткрывая дверь в науку, давая понять, что, помимо интереса познавательного, существует и интерес исследовательский. Так, например, в лекции о «Слове о полку Игореве» он много внимания уделял сложности лексики этого произведения, разным версиям его происхождения, давая понять, что оно — средоточие научных загадок. Вместе с тем, он любовался текстом, читал по несколько раз фразу и давал почувствовать ее красоту, произносил цитаты из подлинника, давая свой перевод, комментарии, характеризовал особенности стиля, часто восхищаясь красотой текста. Восхищался он не только «Словом о полку Игореве», но и другими произведениями: «Почуением Владимира Мономаха», «Молением Даниила

⁴ Орлов А. С. Древняя русская литература XI–XVI вв. М.; Л., 1937. С. 13.

⁵ Лихачев Д. С. Академик Александр Сергеевич Орлов и Варвара Павловна Адрианова-Перетц // Лихачев Д. С. Прошлое — будущему. Л., 1985. С. 413–415.

Заточника». Во время одной из лекций Орлов попутно коснулся русско-польских литературных связей и стал сравнивать балладу Мицкевича и ее перевод Пушкина «Будры и его сыновья». Иллюстрируя стиль каждого, он особенно подчеркивал строки Пушкина: «И как роза румяна, / А бела, как сметана. / Очи светятся, / Словно две свечки». В этом месте у Мицкевича: «как звездочки». Орлов охотно отмечал наличие разговорных оборотов в древних текстах. Помню, как, коснувшись почему-то в лекции проблемы жанра басни, он попутно затронул в качестве примера-анalogии басню Крылова «Ворона и лисица». Он процитировал известные строки «Да призадумалась, а сыр во рту держала» и указал, что перед нами краткий речевой оборот, означающий напоминание о действии в прошлом и о его результате: «А не забудьте, что в то время сыр-то у нее был во рту». Восхищение академика Орлова устной речью проявлялось и в повседневной жизни. Однажды он, путешествуя, встретил иноков, и «честные отцы» так «благословили» его, что он надолго запомнил. Хотя речь их была не для дам, но и ею академик восхищался. На одном из экзаменов Орлов спросил студента, рассказывавшего об Иване Грозном: «А когда это было?», и студент ответил: «В ашнадцатом веке». «Когда, когда?» — переспросил академик. — «В шашнадцатом веке», — уточнил студент. Орлов умилится народной речи, воскликнув: «Как говорит-то хорошо, голубчик!», и спросил студента, откуда он родом. Такое же восхищение он проявлял и рассказывая о выражении домработницы: «Погоди, я крохотки выпашаю».

Важным моментом лекций Орлова было то, что он уделял большое внимание содержанию произведений древнерусской литературы. Он передавал их занимательность, точность, картинность описаний в них. Так, он подробно рисовал картину похода и боев Игоря в «Слове», хотя отмечал и общность приемов описаний в воинских повестях. Рассказывая о Казанском летописце «Казанской истории» и отмечая воздействие фольклора и влияние традиции в этом произведении, он в то же время с огромным увлечением изображал картину осады и взятия Казани. При этом А. С. впал в раж. Как сейчас вижу его высокую, массивную фигуру с поднятыми вверх руками. Он рассказывал о подкопе и воскликнул: «Стены рухнули!». И в это время вдруг погас свет — это бывало частенько. В наступившей тишине раздался совершенно спокойный голос А. С.: «Ну, товарищи дорогие! Я вам не сова». И сняв со стула свою шубу, он спокойно

удалился. Не менее важная особенность лекций Орлова, определявшая их занимательность, состояла в том, что он за памятниками, произведениями видел их создателей, которые были для него людьми, личностями. Это чрезвычайно приближало древнюю литературу к слушателям. Ведь в школе нам говорили: «Забудьте слово *человек*. Важен представитель класса». У Орлова возникал образ не только конкретных писателей, но и авторов анонимных произведений. К каждому из них у него было свое отношение. Были у него и свои симпатии и антипатии. Любил он, например, Владимира Мономаха, в котором видел деятельного правителя, храброго воина, ученого книжника, образованного человека, одаренного литератора и гуманного воспитателя. Иначе А. С. относился к принципам воспитания, содержащимся в Домострое. Здесь он видел скрытую за гуманными формулировками суровость. С большой симпатией говорил он о Максиме Греке и его трагической судьбе. Живыми для него были не только авторы, но и герои.

Сдавая экзамены, мы использовали конспекты лекций А. С. и стенограммы этих лекций. При этом он, забывая, что его идеи он уже изложил, удивлялся, когда мы отвечали, повторяя подробности из его курса: «Откуда вы это знаете?!». Орлов задавал и письменные работы и сразу же, прямо на занятиях, их проверял, давая короткие отзывы. Про Макогоненко он сказал: «Это что за гоголевская фамилия! А, ничего, ничего! Неплохо». Работой другого студента был недоволен: «Ну, уж это совсем Бог знает что!» — «Он с флота.» — «С флота или не с флота, а шарики хоть немного должны вертеться... Это что такое? Почему истЕна. Это от которой стены, от той верно?.. Вам, батюшка, стрижей впору гонять, а не рефераты писать!». Помню, как он ругал одного студента — поэта, написавшего поэму о Маяковском, которая заканчивалась словами: «Ваша жизнь — большая эпопея, не по эпопее эпилог».

Интересовался А. С. и нашими успехами у других преподавателей, в параллельном семинаре: «Чему вас Мишка учит, нука покажите!». Он имел в виду доцента Михаила Яковлева. Несмотря на суровость, Орлов проявлял внимание к студентам, он относился к нам с теплотой. Когда я однажды отсутствовала на лекции из-за болезни, он заметил это и спросил: «А где этот худенький, бледный товарищ? Заболела? Вот изучала язычество и заболела. А все прилежание!».

На своем юбилейном вечере А. С. Орлов, вспоминая наш курс, сказал: «Я заманивал их в науку». Я помню один из эпи-

зодов этого «заманивания». Во время одной лекции, упомянув открытие одного из медиевистов, Орлов мечтательно произнес: «А знаете ли вы, как делаются открытия в нашей науке и как их переживает ученый? Вот сидишь ночью в столовой в полной тишине, разбираешь рукописи, и вдруг тебе становится ясно что-то, о чем не догадывался никто до тебя. Ты сделал открытие, но сказать об этом некому, даже и ученые собратья могут не оценить его, так как не знают всех деталей, всех оттенков научной загадки, которую найти в историческом и литературном материале тоже непросто. Душа твоя поет, но это твоя тайна».

Историю русского языка у нас читал блестящий ученый Сергей Петрович Обнорский, впоследствии академик. Он был очень интеллигентным и вежливым. Его предмет нам давался тяжело, мы и грамматику современного русского языка плохо знали. Обнорский ободрял нас. Задавал он нам отрывки из хрестоматии Буслаева, которые мы переводили с большим трудом. Академик Орлов иногда помогал нам в переводе, подсказывал. Однажды я подошла к нему и попросила помочь перевести отрывок, начинавшийся «Яко како». Но мы не успели прочесть его на занятиях и перенесли перевод на следующую неделю. Я опять попросила помощи у А. С. Орлова, думая, что он не помнит, что уже переводил, но он посмотрел и воскликнул: «Как, опять яко како!».

Античность нам преподавал Иван Иванович Толстой. Его лекции отличались и большой содержательностью, и высокой эмоциональностью. Запомнился его рассказ о путешествии по Греции. Он рассказывал, что, когда он увидел Парфенон, он упал на колени и поцеловал землю неожиданно для себя самого. Помню, как он объяснял нам ритуальную природу мата и рассказывал, как он встретил в Греции пастуха, который ругался с упоминанием матери, что непосредственно восходит к древним обрядам плодородия. Античные тексты были в его изложениях живыми и трогательными. Помню, как он разбирал эпизод прощания Гектора с Андромахой.

Русскую литературу XVIII века читал нам Григорий Александрович Гуковский — блестящий молодой профессор, кумир студентов. Он же вел Пушкинский семинар. Мои первые научные работы были написаны под руководством Гуковского и в его семинаре. (Подробнее о Гуковском см. далее.) Русскую литературу второй половины XIX века преподавал Лев Васильевич Пумпянский, литературовед и философ, ученый, отличавшийся невероятной эрудицией. А современную литературу читал Орест

Вениаминович Цехновицер. Наряду с современной литературой, он занимался Достоевским, что в то время воспринималось как вольнодумство. Он был родом из Одессы, сын зубного врача, участник гражданской войны. О нем ходили шутки и анекдоты. На юбилее академика А. С. Орлова он выступал в возвышенных тонах и сказал юбиляру: «Помните, как мы встретились во время гражданской войны у Анатолия Васильевича Луначарского: я — военный-энтузиаст, вы — старый ученый?», на что А. С., который на все поздравления отвечал колкостями, ответил: «Помню, помню. Вы были увешены пулеметной лентой, так что я подумал, что вы пришли арестовать Луначарского». Судьба Цехновицера сложилась трагически. Он героически погиб во время эвакуации флота из Таллинна.

Источниковедение преподавал нам Павел Наумович Берков (о нем далее отдельный очерк).

Зарубежную литературу нам читали: XVII и XVIII век — Стефан Стефанович Мокульский, XIX век английскую литературу — Михаил Павлович Алексеев, немецкую — Мария Лазаревна Тронская, французскую — Борис Георгиевич Реизов. Лекции Мокульского были застенографированы и распространялись среди студентов в виде своего рода учебника, который в шутку называли по имени автора «макулатура». В нем встречались опечатки, одна из которых породила широко известный анекдот. «Студент говорит на экзамене: *Руссо писал, что человек по своей природе бобр.* — Как бобр? — А нам так на лекции говорили». Дело в том, что именно такая опечатка была в стенограмме лекций: «бобр» вместо «добр».

Два профессора, преподававших фольклор, придерживались разных точек зрения на анализ фольклорного текста и фольклора как явления культуры. Это были Владимир Яковлевич Пропп и Марк Константинович Азадовский. Пропп, который через несколько десятилетий получил мировое признание как основатель структурального подхода к фольклору, изучал модели, стоящие за сюжетом волшебной сказки, и ее происхождение. Азадовский изучал сами тексты, их источники и бытование. Пропп вел у нас два спецкурса: о морфологии и исторических корнях волшебной сказки и о немецкой фольклористике. Оба были очень интересны, но мне казалось, что теория происхождения сказки из ритуала инициации, на которой настаивал Пропп, имеет и свои слабые стороны, свою ограниченность. На первом курсе я активно участвовала в научном фольклорном кружке,

организованном Марком Константиновичем Азадовским. Этот кружок был своего рода семинаром, основанным на демократическом принципе: студенты в нем не только выступали, но и участвовали в управлении кружком. Одним из «администраторов» кружка был Василий Чистов — талантливый студент, который впоследствии изменил свою профессиональную деятельность — стал экономистом, доктором экономических наук и видным деятелем внешней торговли СССР. Младший брат В. В. Чистова — Кирилл Васильевич Чистов — стал выдающимся фольклористом. По семейным каналам влияние факультетской филологии расширялось и давало в ряде случаев большие результаты. Вслед за Василием Чистовым кружком руководил еще один из его участников — студент Николай Новиков, ставший впоследствии тоже известным фольклористом. Поскольку потом я перешла в лоно семинара Гуковского, на подаренной мне фотографии Азадовский написал: «Беглой фольклористке бывший учитель». И Пропп, и Азадовский всегда сохраняли теплые, дружеские отношения к студентам. Азадовскому можно было откровенно рассказать о личных переживаниях. Впоследствии его ученики писали ему письма с фронта. (Письма к нему Юрия Михайловича опубликованы.) Оба они всегда радовались успехам своих учеников, интересовались их жизнью. Пропп встречал своих возвратившихся с войны студентов, подбадривая их и вдохновляя на дальнейшую работу.

Состав студентов той поры был чрезвычайно пестрым во всех отношениях: по подготовленности, социальному происхождению, жизненному опыту, национальности и даже по возрасту. Среди студентов были вчерашние школьники, а были и люди, прошедшие большую жизненную школу. Из общей массы выделялись те, кто быстро показал свои выдающиеся способности, например: Николай Верховский, Юра Фридлендер, Толя Кукулевич, Мирон Левин, Фима Эткинд, Илья Серман, Юра Макогоненко и другие. Их отмечали профессора, их знали студенты. Другой категорией студентов, заметных на факультете, были активисты-общественники. Некоторые из них были известны не с лучшей стороны, так как в них ощущался карьеризм и желание воспитывать и «прорабатывать» окружающих. Но среди этих общественников были и порядочные, справедливые люди, способные защищать других перед администрацией и агрессией добровольных надзирателей. Таким был, например, Ваню Шадури. Были среди студентов известные всем оригиналы. Это прежде

всего Володя Малышев и Миша Зеленев. О В. И. Малышеве будет рассказано дальше, в отдельном очерке, а здесь несколько слов о Мише Зеленове. Он был красивым парнем: высокий, могучий, кудрявый брюнет. Любил выпить, поэтому однажды написал в стенгазете: «Я, Михаил Зеленев, признаю, что мое поведение — пьянство — играет на руку классовому врагу. Желая бороться с классовым врагом, я бросаю пить и вызываю на соцсоревнование своих товарищей». Однажды на филфаке был большой костюмированный бал по случаю 1 мая. Студенты пришли в маскарадных костюмах. Например, красавица Юлия Бриль была одета под Любовь Орлову из фильма «Веселые ребята», из-под цилиндра виднелась копна ее рыжих волос. К Мише Зеленову «прилипла» девушка в платье с большим декольте и подозрительно широкими плечами. Она кокетничала с ним и пила с ним пиво весь вечер, а к концу вечера выяснилось, что это переодетый парень, наш товарищ по фамилии Сокол. Миша был возмущен, сначала он кричал, чтобы ему вернули деньги за пиво, потом стал бить стекла. После этого он ушел в общежитие, где оставил записку: «Прошу меня не искать. Я буду на дне Невы». Парни из общежития сразу же нашли записку и стали бегать в поисках своего товарища. Каково же было их удивление, когда они нашли его на том же маскараде в костюме мавра, который он быстро где-то раздобыл. Произошла потасовка, и бедному Отелло тут же досталось. Через пару дней с Зеленовым произошел другой скандал. Он был влюблен в студентку — высокую девушку, носившую юнг-штурмовку и писавшую стихи — Елену Серебровскую. Он встретил ее в булочной и стал настаивать на свидании. После того как она решительно отказала ему, он, чтобы привлечь к себе ее внимание, заявил: «Лена, я должен тебя видеть. Я убил милиционера, начальника отделения». Тут же к ним подошел человек, показал удостоверение и увел Мишу Зеленова в отделение милиции. После этого товарищам из университета пришлось хлопотать за Мишу и доказывать, что произошло недоразумение. К счастью, в эти дни никто из милиционеров не погиб, и Зеленова выпустили.

Особой, известной всем категорией студентов, вернее студенток, были факультетские красавицы. Их знали и девушки, и парни. Их замечали и профессора. Тогда не было стремления к стандарту, как сегодня, и каждая красавица не была похожа на других. Признанной красавицей была Ира Купалова — дочь академика-физиолога, впоследствии жена профессора Жданова.

Очень эффектно была Вика Гарбузова, впоследствии профессор-востоковед, сотрудница Эрмитажа, жена крупного востоковеда А. Н. Болдырева. Утонченной и изысканной была Гали Битнер, дочь известного журналиста, издателя «Вестника знания» Вильгельма Битнера. Привлекала к себе внимание Юля Бриль — эффектная девушка с рыжими волосами и прекрасной фигурой. Выделялась необычайной внешностью и Нина Сигал: у нее были строгие черты лица, как у античной скульптуры, но южная оживленность (она была родом из Одессы) и дивный цвет лица. Она как будто была озарена солнцем. Нина к тому же была воспитанной, образованной и при этом простой в общении. Ее конспекты были самыми лучшими, и ими часто пользовались и другие студенты. Впоследствии Нина, которая одинаково хорошо знала немецкий и французский, серьезно занялась германистикой и романистикой. Она стала крупным ученым — литературоведом и лингвистом, преподавала в университете. После войны она вышла замуж за своего учителя Виктора Максимовича Жирмунского.

Среди одаренных студентов нашего поколения следует назвать еще Руфь Зевину. Она приехала из Одессы. Как и я, она не стремилась слиться с «толпой», но у нее это чувство проявлялось по-другому. Перед своими соседками по комнате в общежитии она, со свойственным ей артистизмом, изображала даму. Когда меня с ней познакомили, она ходила по комнате в большом боа из чернобурой лисицы и походя роняла французские фразы, цитируя афоризмы классиков эпохи Просвещения. Мне она тогда не понравилась. Я не жила в общежитии и наивно приняла ее артистическое представление за чистую монету. Простые девушки, ее соседки по комнате, гораздо быстрее меня раскусили смысл ее поведения, то есть не стали искать в нем смысла, как и во французских фразах, которых они не понимали. Они быстро пришли к выводу, что она немного «воображуля» и начиталась романов, но в общем хорошая веселая девчонка и товарищ, с которым можно дружить. Руню и потом все любили за доброжелательность, веселый нрав и талант рассказчика. Впоследствии литературный талант Руни проявился в полной мере: она стала писательницей и печатала рассказы, очерки и повести под псевдонимом Руфь Зернова. Руня вышла замуж за нашего товарища Илью Сермана, они стали чудесной парой.

После того как я поступила в университет, в нашем доме стали появляться мои товарищи по университету, студенты. Студенты сразу приняли Юру в свою среду. Юра был по развитию

с ними на одном уровне, но по характеру совершенное дитя, с отроческим характером и с озорством. Когда один из моих товарищей, очень эрудированный молодой человек Илья Серман, впоследствии известный литературовед, с чувством своего возрастного превосходства (ему было 21 или 22 года) протянул Юре руку и представился: «Серман», Юра молниеносно залез под кровать, вытащил оттуда нашего черного кота и сказал, протянув Илье кошачью лапу и представляя его: «Кацман!» (такова действительно была кличка кота). К сожалению, талантливейший член нашей компании Анатолий Михайлович Кукулевич погиб на войне, не дожив до 1942 года. Встреча с ним имела особое значение для Юры. С Толей Кукулевичем Юра сдружился по общительному, живому характеру Толи, для которого не было возрастных различий, и потому, что Толя был настоящий филолог-энтузиаст. Толя наслаждался общением с замечательными учеными, увлекался идеями Г. А. Гуковского, М. К. Азадовского, О. М. Фрейденберг и И. И. Толстого. С последним из этих ученых Толя был особенно близок. Античность, греческая литература, наряду с русской, были предметом его научных занятий. Он изучал греческий язык, занимался проблемой поэтики Гнедича, первого переводчика полного текста «Илиады», которому Пушкин посвятил свое известное стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один». А. М. Кукулевичу принадлежат содержательные статьи о Гнедиче. Под влиянием Толи Юра стал изучать греческий язык.

Мы воспринимали жизнь оптимистически, гордились тем, что учимся у выдающихся учителей, верили в будущее. Но тучи сгущались. Я помню, как я, студентка первого курса, которой только что исполнилось 17 лет, стояла в зале филфака во время митинга, посвященного смерти Кирова. Был страшный мороз, в университете было очень холодно, а от президиума в ряды студентов, слушавших стоя, неслись слова о мести, о том, что на террористический акт будет отвечено жестоким террором. Я испытывала чувство ужаса, мне казалось, что я превращаюсь в ледяной столб. Вторая половина 30-х годов ознаменовалась массовыми арестами.

Когда я была на первом курсе, нам было известно, что на втором курсе все время происходят трагические события. Между студентами много ссор и недоразумений, и постоянно происходят аресты. Талантливый поэт и юморист Мирон Левин, давший мне за мой строптивый нрав и за то, что я нечетко произносила

твердое «л», прозвище Лида Вотвам, в световой стенгазете из слайдов изобразил двух грызущихся волков и сделал подпись: «К положению на втором курсе. *Человек человеку — волк. Гоббс со смыком*» (Гоп со смыком фигурирует в известной блатной песенке). К сожалению, одаренный и симпатичный юноша Мирон Левин вскоре умер от туберкулеза.

Несмотря на многие трагические события, университетские годы и для меня, и для Юры до его призыва в армию были счастливыми.

2. В дни войны

Во все годы нашей юности нам внушали, что эпоха империализма с ее особенностями делает неизбежной новую мировую войну, но перед началом войны эти утверждения стали вдруг сходить на нет, газеты и радиосообщения приобрели исключительно мирный и благополучный характер. Немало потом потрудились историки и политики, объясняя, как получилось, что война явилась для народа, властей и даже военных неожиданностью. Несмотря на спокойствие сообщений, у меня в предвоенные дни прочно сформировалось чувство глубокой тревоги. Может быть, оно было вызвано тем, что смутные тревожные слухи до нас все же доходили. За несколько дней до начала войны мне приснился очень красочный и очень странный сон. Мне снилось, что я иду по большому скверу около Дома Политкаторжан недалеко от Невы, и кусты в этом сквере цветут крупными розовыми цветами. Я собираю ветки этих цветов и вхожу с ними в мечеть. Внутренние помещения мечети мне представляются бесконечным рядом залов, анфиладой. Я иду по этим залам и прохожу ряд прекрасных помещений. Стены одного из них, в конце анфилады, облицованы плитами черного мрамора. Я выхожу из этого помещения в следующий зал и вижу, что пол его покрыт белым мрамором. В стене этого зала находится большое окно, украшенное восточной решеткой. Через него видно синее небо, все усеянное белыми голубями. Голуби пролетают через решетку и садятся на мраморный пол, и чей-то голос произносит: «Это царские голуби». Когда я позже, в эвакуации, в деревне, рассказала этот сон своей квартирной хозяйке, она уверенно сказала: «Царские голуби — это солдаты. Так называли в старину рекрутов».

Во время одного из научных заседаний, сидя в последнем ряду малого конференц-зала, рядом с другими аспирантами, я неожиданно для себя громко и уверенно сказала: «Пройдет, может быть, всего несколько дней, и мы уже никогда не встретимся в этом зале этим же составом». Те, кто сидел близко от меня, удивленно поглядели на меня. Надо сказать, что я сама тоже удивилась. Эти слова я произнесла как бы не намеренно. Очевидно, во мне заговорила внутренняя неосознанная тревога. К сожалению, они оказались «пророческими». Многих друзей и товарищей мы утратили, погибло и много близких нам людей — граждан Ленинграда и ученых Пушкинского Дома. Аспирантов Пушкинского Дома в начале блокады уволили. Я успела участвовать в работах по охране здания Пушкинского Дома, в других мероприятиях, связанных с охраной и подготовкой к военному нападению на город, затем ушла работать в госпиталь, а позже в детский дом, куда стали собирать ленинградских детей, потерявших родителей. Изредка мне удавалось посещать Пушкинский дом. Я участвовала в дежурствах, дежурила с Б. М. Эйхенбаумом, М. К. Клеманом, Н. И. Мордовченко, Д. С. Лихачевым. В одно из таких посещений я говорила с В. В. Гиппиусом — это было незадолго до его смерти. Я не понимала, как он близок к смерти, а он, как мне теперь кажется, чувствовал, что силы его кончаются, и это было подтекстом нашего общения.

Когда в начале блокады аспирантуру в Пушкинском Доме «распустили», я оказалась без работы и поступила на службу в один из военных госпиталей, находившихся на Петроградской стороне. В госпитале мне сначала, как не медицинскому работнику, давали мелкие поручения, а затем водворили в канцелярию, где я оказалась под начальством очень авторитетного руководителя. К сожалению, я не помню ни его имени и отчества, ни фамилии, но его как личность я хорошо запомнила. Это был энергичный, деятельный человек, и хотя работа под его началом не была легкой или, как теперь говорят, «комфортной», я его уважала и даже симпатизировала ему. У него была склонность строго проверять работу подчиненных, и эта его добросовестность для меня оборачивалась вынужденной необходимостью задерживаться на работе. Мой рабочий день длился десять часов. В это время я не имела возможности есть и пить. К тому же в комнате, где я работала, было довольно холодно. В первую половину дня ко мне непрерывным потоком шли люди, нанимавшиеся на работу или представлявшие сведения об увольняемых

работниках. Эти сведения косвенно отражали тот печальный факт, что в госпитале была большая «текучесть кадров»: город стал вымирать — я не сразу это поняла. Когда моя сестра Ляля (Виктория), уже начавшая работать квартирным врачом и ходившая по квартирам пациентов, увидев у меня на столе книжку с переводом английской драмы «Город чумы», сказала: «Ленинград сейчас — город чумы», я испугалась и возразила: «Ну, нет еще!». Когда ко мне на прием пришел сотрудник с чудовищно распухшим лицом, я стала его расспрашивать, чем он болеет, и предположила, «не почки ли это», он согласился: «почки», не желая признаваться, что умирает от голода. Я поверила в эту версию, так как не могла переключиться в так быстро ставшую катастрофической реальность. В очень скором времени я его вынуждена была поместить в графу «выбывших». В обстановке этого надвигающегося бедствия природа «позабавилась» над нами в своем стиле. Умер заведующий ресторана для командного состава: у него была язва желудка, и на фоне общего голода он не смог соблюдать диету, поел острой пищи и скончался. Бесконечный поток проходивших передо мной посетителей утомлял меня. Тут я стала понимать, что чувствует продавщица и почему продавщицы так легко раздражаются на обращение к ним покупателей. Во вторую половину дня я должна была подсчитывать «движение кадров» — убытие и прибытие служащих и больных — и составлять графики. В конце рабочего дня мой начальник проверял плоды моих трудов, при этом он очень придирился. Вникая в цифры моих подсчетов, он находил ошибки, раздражался, очень сильно, даже злобно кричал на меня. Это очень меня удивляло, так как до этого никто на меня не кричал, и я даже обратилась к опытным служащим канцелярии — милым, очень культурным дамам с вопросом, что означает такое его обращение со мной. Старшая дама, возглавлявшая коллектив, сказала мне, чтобы я не обращала внимания. Просто он нервничает, потому что у него сын на фронте и он давно не получал писем. Я посочувствовала ему. Но систематически в конце рабочего дня он нападал на меня и заставлял меня все снова пересчитывать. Так я задерживалась на работе на один или два часа в зависимости от того, сколько он находил неточностей. После этого я шла в абсолютной темноте по городу, а немцы с методическим постоянством начинали именно в это время бомбить город, так что я была вынуждена оставаться в какой-нибудь подворотне, переживая конец бомбежки. Так было чуть ли не каждый день. Особенно запомнился мне один вечер,

когда разбомбили здание Народного театра и зоологического сада. Пылали, как костер, разбитые американские горы. Я шла сквозь ряд горящих зданий, не зная, в каком состоянии мой дом и моя семья. Впрочем, эта ситуация повторялась не раз, правда, не в таком эффектном виде. Однажды мой начальник накричал на меня днем, а в это время позвонил телефон и своему собеседнику он сказал, что наши оставили Севастополь. Я, услышав это, потеряла сознание и соскользнула на пол. Очнувшись я оттого, что услышала над своим ухом его робкий, испуганный голос: «Деточка, что с Вами? Очнитесь! Я сейчас Вам дам воды».

В первый год войны зима была очень суровая. Я ходила на работу и с работы через Неву по льду. Однажды мне повезло. Хорошенькая девушка — медсестра, которую очень любили и баловали офицеры и врачи (ее успех у мужчин отчасти объяснялся тем, что ее маленький рост вызывал у них умиление) вдруг угостила меня куском от плитки шоколада. Я хотела принести этот подарок домой, но пришлось поступить более эгоистично. Продвигаясь на обратном пути с работы по узкой, заледенелой тропинке, я вдруг почувствовала резкую слабость. Мне вдруг захотелось немедленно лечь, но я сознавала, что этого нельзя делать. Мимо меня скользили тени обгонявших меня пешеходов, но я прекрасно понимала, что, если я упаду или лягу, меня никто не подымет — никто не сможет этого сделать. Я шла на дрожащих ногах и по маленькому кусочку откусывала от шоколадки. Так я дошла до дома и преодолела опасный соблазн лечь на лед. Дома обнаружилось, что у меня высокая температура. Я заболела ревматизмом в острой форме и проболела полтора месяца. После болезни я не вернулась в госпиталь. Узнав, что в городе открываются детские дома для сирот, родители которых погибли во время блокады, что в эти дома нужны педагоги и другие работники, я нанялась в такой детдом для детей школьного возраста.

Свою работу в детдоме я начала, когда он только стал развертываться. Дети приходили и пополняли состав уже принятых воспитанников. Коллектив их рос, еще не был организован. Детский дом помещался в красивом особняке, в нем были парадные залы. В одном из них была устроена столовая, где разом питались все дети, которые жили в светлых, но довольно тесных комнатах. Директор, вернее директриса, уже была в своем кабинете и редко из него выходила. Всем заправляли ее заместители: зав. учебной и зав. хозяйственной частью. По преимуществу все занимались хозяйственными делами: раздавали детям хлеб и пищу во вре-

мя их кормления, укладывали их спать, следили за их чистотой, например, гладили их белье, в котором нередко попадались вши и гниды. Зам. директора по хозяйственной части — красивая, нарядная женщина средних лет — в определенные часы стучала в дверь директорского кабинета и вносила директору поднос, накрытый крахмальной салфеткой — завтрак и обед. Директором была орденоносца, заслуженная учительница. У нее были связи в высших эшелонах власти и в среде начальствующей интеллигенции. Впоследствии, когда детдом более стабилизировался, кому-то, директору или воспитателям, пришла в голову идея организовать олимпиаду — соревнование между детьми на лучший рисунок. До этого дети соревновались в рассказах о своем прошлом, по большей части о трагических событиях их юной жизни. Дети вообще любят рассказывать страшные истории и слушать трагические, таинственные рассказы, сопровождающиеся пугающими жестами. Опыт жизни наших воспитанников давал им обширный реальный материал для искренних и правдивых повествований такого рода. Среди этих детских признаний меня поразил рассказ мальчика шести лет о том, как он на саночках вез хоронить свою маму в сильный мороз, «а саночки все скрип, скрип, скрип». Мальчик этот впоследствии не попал в наш детдом, его перевели. Я часто вспоминаю о нем. Мне кажется, что я однажды видела его после войны: я ехала в троллейбусе по мосту, а он бежал в группе ребят. Надеюсь, что это действительно был он. Дети живо заинтересовались соревнованием по рисункам, которое разнообразило их занятия и возбудило надежду на какие-то поощрения. Поощрений, кроме похвалы, весьма вялой, не было. Но директриса ознаменовала итог этого соревнования, пригласив Серова — известного живописца, председателя Союза художников, и его заместителя, тоже известного художника. Они отметили как наиболее удачный рисунок мальчика Бориса Столярова, в котором они усмотрели «динамизм». Мальчик получил незадолго до этого известие о гибели своего отца на фронте, но высокая оценка его работы была вызвана не этим — просто так совпало, и возможно, это дало ему хоть какое-то утешение. Высоко ценя квалифицированный отзыв авторитетных специалистов, директриса пригласила их на праздничный ужин и чай. Самое удивительное, что приглашение на этот ужин получили и двое воспитателей — я и моя коллега Зинаида Корнельевна Лимина — артистичная и изящная молодая женщина. В детском доме, как и на своей предыдущей работе в госпитале, я работала

в течение 10 часов и никогда не питалась — не ела и не пила в течение всего рабочего времени, но предупреждение, которое было нам сообщено, удивило меня еще больше, чем само приглашение. Мы должны были присутствовать, вести разговоры об искусстве, но отнюдь не принимать участия в чаепитии и трапезе. Так оно и было осуществлено. Мы вели беседу с господами, которые заказывали и пили чай. Это было не обидно, так как по нашим понятиям было проявлением другого, не нашего мира. Откуда учительница, уважаемая в городе, набралась этих замашек барыни-крепостницы?

Через несколько месяцев началась эвакуация детских учреждений из Ленинграда, и мы стали собирать вещи и готовить отъезд из города. Для меня было мучительно расставание с мамой и сестрами. Ляля (Виктория) не собиралась уезжать из Ленинграда — да и не могла уехать, она была военнообязанная, а Инна и мама решительно отвергли эту возможность. Мне казалось, что я предаю их. Немцы стояли на окраине города, и, хотя я успокаивала себя мыслью, что я помогаю вывозить детей, а в случае стихийного бегства из осажденного города скорее помешала бы их выезду, чем помогла им, совесть моя была неспокойна. Я подготовила все, чтобы мама и сестра Инна могли уехать с нашим детским домом, но они и слушать об этом отказывались. Из Ленинграда мы уезжали на дачном поезде, затем пересели на баржи со всем багажом и переплыли через Ладожское озеро прямо на виду у немецких пушек. Были слухи, которые передавались среди детей и технического персонала, что какие-то баржи подверглись обстрелу, при этом сообщались страшные подробности о детских панамках, которые якобы плавали по воде, но мы старались об этом не думать, хотя не могли до конца побороть мысли об опасности нашего положения. Оказавшись на «спокойном», относительно более безопасном берегу, мы увидели высокие прилавки, которые обслуживали веселые, румяные девушки, раздававшие крутую гречневую кашу. Они, как хозяйки, командовали раздачей и удерживали блокадников от опасной жадности. Про меня одна симпатичная хозяйка кому-то сказала: «Вот эта бледная девушка не просит прибавки, и я ей дам с удовольствием», а другого отослала: «Ты уже подходишь третий раз, себе во вред». Во время нашего путешествия, в ходе которого мы несколько раз меняли транспорт — пересаживались с поезда на баржу, с баржи на волжский пароход и на автобусы, мы приглядывались к детям, которых нам предстояло воспитывать и

растить. Наши наблюдения укрепляли в нас уважение к детям и веру в их будущность. Пережившие большие испытания, насмотревшиеся кошмаров и ужасов, о которых они с наивной правдивостью рассказывали друг другу, они твердо хранили инстинкт нормы, нравственного начала и не теряли ориентации в хаосе общественного бедствия. Конечно, мы — педагоги — отмечали, что в среде наших детей попадаются и потенциальные разрушители, и «анархисты», но они не становились лидерами, а тем более образцами, не вызывали желания подражать. Дети были, конечно, напряжены и несколько подавлены, но, когда приходилось действовать, что бывало не редко, потому что физической рабочей силой в основном были те же дети, они проявляли сплоченность, чувство взаимопомощи и действовали разумно и толково. Когда им приходилось переносить мешки с постелями и другими домашними предметами, они, как муравьи, окружали наименее удобные грузы, создавали своего рода бригады, во главе которых вставал самый сильный и ловкий из них, подчинялись ему, и каждый находил самостоятельное место в общих усилиях. Когда мы оказались в селе Кошки, где должен был находиться наш детдом, и для него были приготовлены два длинных корпуса, мы узнали, что без нас набрали состав обслуживающего персонала. В большинстве своем это были эвакуированные из Киева педагоги, местные учителя (их было немного) и технические служащие. У нас были и свои воспитатели, но администрация детдома и технические работники с нами не поехали. Красивая, высокая киевлянка, педагог, была назначена с общего согласия директором, а наша воспитательница Дина Григорьевна Фельдман, которая была завучем в одной из ленинградских школ, стала и здесь заведовать учебной частью. Хотя и киевляне, и приехавшие с детдомом из Ленинграда воспитатели сохранили свои должности, избытка в служащих не оказалось, и конфликтов не было. Киевляне, напуганные рассказами о ленинградской блокаде, настаивали на том, что детей надо положить в постели для отдыха на неделю, но мы определили, что это невозможно, так как детям хотелось двигаться: они стали драться подушками и озорничать. Поэтому мы немедленно нашли для детей полезные дела — разбирать вещи, расставлять их по местам, приносить воду, пилить дрова и помогать на кухне. Пышная, улыбчивая повариха-киевлянка спрашивала у нас: «Что это у вас за дети? Говорят только об войне и о хлебе!». Но дети, обогревшись на кухне, где сердо-

больные поварахи находили возможность их подкормить, стали вскоре более разговорчивыми.

Впоследствии дети выполняли хозяйственные работы охотно и даже весело. Однажды мальчики, работавшие на заготовке дров, привезли заведующей учебной частью, которую они очень любили, хотя и побаивались, из леса целый воз цветущих ветвей черемухи. Дети, пережившие тягостные ощущения человека, «запертого» в умирающем в блокаде городе, особенно сильно переживали пробуждение весенней природы и хотели поделиться со строгой, но справедливой воспитательницей как с близким человеком этим чувством освобождения. Та же природа, но погруженная в холод морозной ночи, несмотря на опасность блуждания по лесу, осталась в другом случае в памяти наших воспитанников как прекрасное проявление жизни. О связанном с этим «приключении» наш воспитанник Володя Ловыгин писал через многие годы в письме к инициатору организации краеведческого музея в селе Кошки Лидии Петровне Козловой: «В детдоме заканчивались дрова, и наш директор Мира Исаевна поручила Марии Николаевне (тогда молодой девушке) отобрать старших мальчиков и съездить в лес за дровами на лошади Рыжике... Среди участников этой «экспедиции» были: Юра Кругов, Боря Соловьев, Боря Столяров и я. В том году зима была суровая и снежная. Приехав в лес, мы выбирали небольшие сухие деревья и, повалив их, распиливали. Зимний день — короткий, и за работой мы не заметили, как наступили сумерки. Неожиданно подул сильный ветер, повалил снег, и в лесу стало совсем темно. Мария Николаевна собрала нас, и тут обнаружилось, что оставленный на опушке леса наш Рыжик, почуввав приближение непогоды, оборвал привязь и сбежал с саними-дровнями. Мы вышли из леса. На открытом месте вьюга наметала сугробы, и вокруг почти ничего не было видно. Мария Николаевна сказала нам, чтобы мы шли за нею гуськом, след в след, чтобы не увязнуть в глубоком снегу. Она вывела нас в деревню... и постучалась в окно первой попавшейся избы. На крыльцо вышла немолодая женщина и, узнав, что мы из детдома,пустила нас в дом. Она накормила нас и уложила спать. Особенно мне понравилась и запомнилась на всю жизнь вкусная пареная тыква. На следующий день утром мы вернулись в детдом и узнали, что тем же вечером наш Рыжик самостоятельно пришел домой и своим появлением переполошил наших воспитателей».

В. И. Ловыгин — убеленный сединами отец и дед большой семьи, в своем солидном возрасте с умилением вспоминает и

зимнюю ночь в лесу, и работу с товарищами, и выход, который организовала молодая воспитательница, и тепло чужого дома, и даже вкус пареной тыквы. И все это сливается для него с воспоминаниями о детском доме, с благодарностью и уверенностью, что в детстве он был счастлив, о чем позже и говорил. Мне же его рассказ напомнил другой эпизод из нашей общей жизни. Зимней ночью я дежурила в детском доме. Вдруг в дверь постучали. Я открыла дверь и на крыльце увидела фигуру человека, закутанного в теплый платок так тщательно, что открытыми оставались только глаза. Сверх этого платка еще и лоб у посетителя был обвязан каким-то шарфом. Когда фигура распутала все платки, она оказалась невысокой женщиной средних лет. Платками она защищалась от жгучего ветра, а приехала ночью, так как ей поручили отвезти в детский дом картошку, а до ночи она работала в коровнике. «Понимаешь, — объясняла она мне, — у нас в совхозе хлеба нет, но картошка-то есть, а надо же хоть чем-нибудь помочь детям!». В подавляющем большинстве деревень, окружавших детдом, население жило бедно, но сочувствовало ленинградским детям. Правда, попадались и такие суровые пожилые люди, которые говорили: «Ну что же с того, что ленинградцы пережили бедствия блокады! А мы и все время бедствовали. Сахара годами не видели». Но такие разговоры, если и встречались, то были редкостью. Бывали, конечно, случаи, когда местные хозяйки обижались на детдомовских детей и грозились их наказать по-своему. Известно, что в деревнях соседских детей часто обвиняют во всех нарушениях порядка, обвиняют, забывая, что их собственные дети тоже могут озорничать и создавать беспорядок как в своем, так и в соседском доме. Был случай, когда, рассердившись на наших мальчиков за какую-то мнимую провинность, несколько пожилых женщин решили их наказать и стали систематически выгонять коз пастись на поле, где наши ребята посеяли овес. Это противостояние окончилось решительным и неожиданным эпизодом. Вдруг во дворе стали раздаваться крики. Около сарая толпились девочки и воспитательницы, которые пытались открыть дверь в сарай. Время от времени дверь открывалась, и из сарая выскакивала коза. Затем дверь снова захлопывалась, и мальчики ее крепко держали. Выяснилось, что они загнали в сарай коз, которые топтали наш овес; в сарае они доили коз и пили молоко. После этого коз перестали выгонять на наш участок. К счастью, ни одна из них не пострадала физически. Но, конечно, нашему директору пришлось извиняться перед несколькими хозяйками

и примерно наказать зачинщиков «акции», назначив им «наряд вне очереди» в виде дежурства по кухне.

Этот случай быстро забылся, хотя вызвал осуждение у одних жителей и улыбку у других. В это время произошло явление, которое затронуло все местное население: на село налетел смерч. В середине дня, после обеда, когда дети играли или были заняты хозяйственными делами, вдруг потемнело и поднялся ветер. Он стал быстро усиливаться и наконец возрос настолько, что пустая телега, которая стояла во дворе, стала носиться между двумя корпусами детдома. Дети на ней катались. Я своим зычным голосом окликнула их и строго приказала вылезти из телеги. Мне почудилось что-то недоброе, угрожающее. Ветер усилился, по воздуху полетели мелкие предметы, а за ними поленья, сено с крыш. Быстро кругом образовался хаос из веток, сена и мусора. Громыхнул гром. Сразу возникла мысль, что если начнется гроза, возникнет опасность пожара. Весь этот мусор может вспыхнуть, как костер. Мы детей собрали в столовой одного из двух зданий детского дома. В зданиях ветром выбило стекла. В зале, где стояли испуганные дети, стекла были выбиты с одной стороны, поэтому опасный сквозняк здесь был не сильным. Мы успокаивали детей как могли. Сильный ветер, к счастью, унес тучу. Страшный серый столб, мелькнувший в отдалении, на горизонте растаял. Смерч прошел, к счастью, стороной. Посветлело. Мы свободно вздохнули, и все село энергично принялось убирать, смотреть, в порядке ли животные (у детдома были три лошади). Наши дети, жившие общей жизнью с населением Кошек, стали убирать мусор в селе, выявлять потери и отмечать их. Впечатление от грозного проявления сил природы еще сильнее поразило всех жителей села, когда вскоре после этого, чуть ли не на следующей неделе, произошло еще одно буйство стихии, не столь грозное, но принесшее новые огорчения и убытки. Разразилась сильная гроза с градом величиной в орех. Град снова побил стекла (которые рачительные хозяева успели только что вставить с большими трудностями). Во время грозы наши дети оказались в поле, где они занимались обычной работой. К счастью, они догадались забраться под пустую телегу, которая оказалась поблизости. А у тех, кто не успел или не оказался достаточно проворным, на голове вскочили шишки от «небесных подарков». Сближению наших воспитанников с «кошкинцами» способствовала наша воспитательная работа. Мы принимали меры и к тому, чтобы в среде детей не возникали явления, получившие впоследствии

название «дедовщины», то есть против возникновения драк и избиения слабых сильными. Одним из средств предупреждения этих явлений была организация досуга детей. Мы создали своеобразный драматический кружок, который готовил концерты — публичные выступления, состоявшие из декламации, пения, танцев — сольных и коллективных, исполнения небольших юмористических сенок и частушек. Ребята полюбили подобные выступления, и публика — дети и взрослые зрители — стали охотно посещать эти концерты, которые нам разрешили показывать в клубе. Мне трудно было поверить, когда я услышала, что в кассе клуба стоит очередь за билетами на наш концерт. Но очередь была довольно солидная — в основном она состояла из детей и старушек. Билеты были бесплатные, и желающие попасть на концерт весело толкались. Наш успех расшевелил местную инициативу — в кошкинской школе организовался такой же кружок под руководством учительницы литературы. Началось соревнование между нашим и местным кружками, местное руководство относилось к нему не без ревности. Наши же дети полюбили песни и песенки, которые я сочиняла по строгому требованию завуча Дины Григорьевны. Конечно, песни эти были весьма скромного качества, но их, наряду с другими, более совершенными песнями профессиональных поэтов и композиторов, дети охотно исполняли вечерами перед сном, и я говорила своему детдомовскому начальству, что я таким образом продолжаю и вечером работать с детьми. Готовя наши концерты и представления, мы использовали весь наш небогатый гардероб. Но запасы его очень быстро оскудели. Конечно, наш импровизированный театр все время испытывал трудности в оформлении представлений. Не помню, кто пожертвовал детдому старенькое фортепьяно. К счастью, сестра нашей директрисы, молодая девушка Дуся, которая прежде обучалась в музыкальном училище и обладала прекрасным слухом, могла подбирать популярные мотивы. Она внесла большой вклад в импровизации наших юных артистов. Зинаида Корнельевна, которая и до войны преподавала художественное слово и декламацию, готовила «молодых чтецов». К своим занятиям с ребятами она относилась очень серьезно. Через много лет наши бывшие ученики вспоминали как самое яркое театральное впечатление детства выход на сцену Зинаиды Корнельевны, объявлявшей номера — красивой, причесанной по моде, одетой в нарядное крепдешинное платье. Несколько девочек из нашего кружка — Наташа Репина, Тамара Евграфова и другие — очень

успешно выступали на концертах и были нашими солистками в драматических сценах, балетных номерах и в частушках.

В свете происшествий нового времени и вызванных ими впечатлений невольно мы вспоминаем некоторые черты быта того времени, которые тогда не казались нам значительными и не обращали на себя внимания. У нас в детдоме большинство преподавателей и служащих состояло из женщин. Служащие-мужчины были немолоды и даже стары. Но никто не задумывался над тем, что в помещение могут проникнуть воры или злоумышленники. Были лишь небольшие, «невинные» преступления, вроде ограбления кладовки, из которой похитили мелкие конфеты. Это происшествие возбудило возмущение в детском коллективе как поступок бесчестный, лишивший остальных законного, по очереди, права на эти конфеты, но не получило огласки за пределами детдома. В детской среде бывали ссоры и обиды, но не было систематического преследования сильными детьми слабых, большими маленькими или мальчиками девочек. Может быть, так было потому, что в нашем детдоме несколько детей были помещены по семейному принципу (сестры и братья), а может быть, потому, что дети, пережившие блокаду, инстинктивно чувствовали, что следует ценить и беречь в жизни. Во всяком случае мальчики не только не обижали девочек, но и заступались за них. Если казалось, что кто-то обидел девочку, мальчики защищали ее, как свою сестру. «Наши девочки!», «Наши младшие мальчики!».

Я до сих пор вспоминаю с сожалением мальчика Ваню Петрова. Он был «бегун», часто убежал из детского дома. Мы много раз его искали и находили, иногда он возвращался сам. Но однажды он не вернулся, и нам не удалось его найти. Так мы его и потеряли. Он плохо учился, но охотно работал, помогал по дому, пилил дрова и очень любил младших детей: мастерил девочкам кукол, мальчикам свистульки, луки и другие игрушки. Он был «наш мальчик».

Мысль о Ленинграде как о нашем городе была близка и воспитанникам, и преподавателям. Мы все ощущали себя ленинградцами. Был случай, когда я горячо спорила с патриоткой Сталинграда, эвакуированной из этого города учительницей русского языка в школе, которая утверждала, что архитектура Сталинграда лучше, чем архитектура Ленинграда. Многие из нас ждали писем из Ленинграда или с фронта, и мы сочувствовали друг другу. Однажды один мальчик громко, на весь двор закричал, что нескольким нашим учителям и детям пришли

фронтовые треугольники. В числе названных была и я. К этому времени я ждала писем от брата уже два или три месяца. Я побежала, чтобы получить это письмо. Момент был очень тревожный. Письма — это большая радость, но ведь они могли принести и ужасные известия. Я споткнулась, упала на колени и очень разбила ноги. Эти раны не заживали пару месяцев. В письме были известия от Юры — оптимистичные и ободряющие, как все его письма с фронта. Это был радостный момент не только для меня, но и для моих сослуживцев и для детей, которые тоже прибежали узнать, что в письме.

Большинство наших детей стремилось вернуться в Ленинград. Впоследствии, закончив 7–8 классов средней школы, они появлялись в нашем городе и посещали нас, воспитателей. Даже теперь они продолжают встречаться и между собой, и с теми из нас, кто еще остался жив. К великому моему смущению, они демонстрируют при наших встречах, что помнят наши старые песни и напевают их. Невысокое качество этих произведений смущает меня, но теплые чувства бывших воспитанников меня радуют. Отцы и матери, а многие и деды и бабушки, они остаются «нашими детьми».

III. Встречи.

Учителя, друзья и коллеги

1. Он был нашим профессором. Григорий Александрович Гуковский

Григория Александровича Гуковского я впервые увидела в коридоре ЛИФЛИ. Он собирался войти в аудиторию, в которой ему предстояло читать курс лекций о литературе XVIII века для студентов второго курса литературного факультета. Я была студенткой этого курса, мне было 18 лет, и мое любопытство в отношении нового профессора было возбуждено. Наиболее осведомленным студентам стало известно, что это самый молодой профессор на факультете, что он чрезвычайно талантлив. При первом взгляде на него он мне, как в то время выражались, «не показался». Широкоплечий блондин среднего роста, с крупным «вострым» носом, в круглых очках. Он с кем-то разговаривал. Кажется, спрашивал, в какой аудитории будет лекция, широко и как-то слишком свободно жестикулируя. Я поспешила вернуться в аудиторию, заполненную слушателями. Первые лекции Гуковского прошли менее оживленно, чем те, которые он читал впоследствии. Тем, кто слушал и знал его, трудно поверить в это, но он явно робел. И было от чего сробеть. Аудитория, в которой ему надо было читать свой курс, была очень разнородной. Тут были зрелые, хоть и молодые, люди, уже отработавшие несколько лет на производстве, в газете или в издательстве, демобилизованные из армии и флота парни, которые поступали вне конкурса и, в ряде случаев, были очень слабо подготовлены, молодые девушки, некоторые из которых были хорошо одеты, и совсем юные, только что соскочившие со школьной скамейки подростки (их было меньшинство, так как люди со стажем работы при по-

ступлении имели преимущество перед «школьниками»). Думаю, что «робость» Г. А. объяснялась опасениями, что его не поймут. Он, очевидно, не знал еще всей силы своего лекторского таланта, который давал ему способность понять любую аудиторию, сплотить и заинтересовать ее. Уже через несколько лекций между ним и его «разношерстной» аудиторией установилось полное взаимопонимание, а через пару месяцев студенты с горячим сочувствием и интересом следили за перипетиями идейной борьбы и литературных споров XVIII века, ходили в Публичную библиотеку, где в таинственном «круглом зале», в «фондах» читали книги, изданные в XVIII веке на шероховатой толстой бумаге, выработанной из тряпок. Изданий текстов писателей XVIII века тогда было мало, их негде было достать, и большие читальные залы Публичной библиотеки заполняли студенты, стоявшие в очередях на улице, чтобы сесть за длинный стол под сенью высоко под потолком белевших бюстов писателей.

На лекциях Гуковского воцарилась особая обстановка — учебная и не официальная — живая и непринужденная. Он охотно на секунду выходил из «роли» лектора и обращался к тому или другому студенту с какой-нибудь просьбой. Особенно охотно он обращался к Е. И. Наумову, называя его фамильярно «Женя Наумов», именно к нему — скорее всего, потому, что этот студент был артистически одарен и мог поддержать Гуковского в его небольших импровизациях. Поведение Г. А. на лекциях для нас, заданных учебной дисциплиной и официальнойщиной, было выражением духа свободы.

Искусство лектора — особое искусство. Оно требует врожденного таланта. О таких лекторах, как Т. Н. Грановский, В. О. Ключевский, М. М. Ковалевский, в среде образованных людей русского общества сохранялась долгая память, которая передавалась из поколения в поколение. Гуковский был в высшей степени наделен талантом лектора: прекрасный голос, личное обаяние, артистизм, тонкое чувство аудитории, мгновенная реакция на скрытые настроения слушателей и способность импровизировать делали его неподражаемым лектором.

Среди лекторов университета той поры были два исключительных знатока литературы XVIII века: Гуковский и его коллега и друг П. Н. Берков. Оба они читали нам лекции. Гуковский — вначале литературу XVIII века, а затем другие курсы, в частности спецкурс, посвященный А. С. Пушкину и литературе его времени. П. Н. Берков читал нам источниковедение, а впоследствии сменил

Гуковского в чтении лекций о XVIII веке русской литературы. Мы уже в его исполнении этого курса не слушали, но мы читали его труды, слушали его доклады и выступления. Оба лектора рассматривали XVIII век как время становления новой русской литературы, переломную эпоху творческих дерзаний и сближения национальной культуры с мировым культурным процессом, но в изображении каждого из двух ученых люди XVIII века и общество этой поры выглядели по-своему. В изображении Беркова деятели литературы этого времени представляли как люди обширных знаний, строившие новую культуру, опираясь на свою эрудицию, размышлявшие над проблемами языка, разрабатывавшие основы стихосложения с учетом опыта других национальных литератур. В лекциях Гуковского возникала другая историческая картина: в литературе действовали страстные, активные, увлеченные задачей построения новой культуры, талантливые и дерзкие новаторы. Если в картине, нарисованной Берковым, нам виделись тихие труженики, облаченные в зеленые фраки, в седых париках со скромными «кошельками»-косичками на спине, то в лекциях Гуковского возникали страстные и самолюбивые спорщики, просветители, новизной своих взглядов и дерзостью своих стремлений и предприятий поражавшие современников, зачастую не понимавших их. Если они и были «украшены» париками, то париками растрепанными. Конечно, говоря так, я вспоминаю впечатление, которое тогда производили на меня лекции, а не даю научный или исторический их анализ, все это — субъективное впечатление, к тому же восстановленное по памяти.

Обаяние лекций Гуковского определялось и тем, что они носили сугубо «деловой» характер — в них не было бессодержательного красноречия. Они были насыщены фактическим материалом, часто разысканным самим лектором, а не почерпнутым из легкодоступных источников.

Стремление к углублению своих обширных знаний побуждало Г. А. неустанно трудиться. Он утверждал, что читать медленно — все равно, что не читать вовсе, и что нет ничего худшего, чем терять время по мелочам, попусту. Часто он читал на ходу. Я сама видела, как он зимой, в тридцатиградусный мороз, входил в вестибюль Пушкинского Дома, читая книгу. Все, кто были в вестибюле, заахали: «В такой мороз!». Г. А. ответил: «А я его не заметил!». Но воротник его зимнего пальто был поднят, меховая шапка съехала на нос, а очки запотели. Может быть, это

было своего рода «щегольство», но свежие «новости» из старых времен были его hobby, и он вступал с такими известными эрудитами, как музыковед Ив. Ив. Соллертинский и П. Н. Берков, в шуточные соревнования на знание малоизвестных или вовсе неизвестных исторических фактов и текстов.

Студентам Гуковский тоже с самого начала стал прививать вкус к самостоятельным разысканиям, и вскоре в семинаре, который он вел, студенты стали выступать с докладами, содержащими их разыскания, попытки нового осмысления известных фактов и опыты введения в научный оборот новых материалов. Я помню, как Юра Макогоненко на семинаре по XVIII веку с энтузиазмом, размахивая руками, доказывал, что Радищев был последовательным революционером, а либеральные идеи, которые присутствуют в некоторых главах его книги, излагают точку зрения некоего, не до конца им охарактеризованного героя. Эта мысль докладчика заслужила одобрение руководителя семинара и, насколько я помню, получила «права гражданства» в научной литературе о Радищеве. Женя Наумов в своем докладе развивал мысль, что Сумароков являлся зачинателем русского народного романса и т. д. Я несколько месяцев готовила доклад о поэме-сказке XVIII века и ее соотношении с поэмой Пушкина «Руслан и Людмила». У меня сохранился протокол заседания руководимого Гуковским научного кружка, на котором обсуждался мой доклад на эту тему. Заседание проходило 2/III 1936 г. Его вели Гуковский и А. Г. Дементьев. Илья Серман задал мне первый вопрос: «Как ты понимаешь термин аллегория?». Очевидно, я усматривала отказ от тенденции подмены фантазии аллегорией как проявление перехода от стиля классицизма к принципам романтизма. Поэтому Илья в своем выступлении отметил, что «то, что было высказано о судьбах русского сентиментализма и романтизма — плод самостоятельного мышления докладчика». Далее он изложил свою точку зрения на разные течения, из которых складывался сентиментализм. В обсуждении принял участие А. Кукулевич (наш однокурсник), Мирон Левин (студент старшего курса), доцент А. Г. Дементьев и др. В связи с докладом ставились широкие вопросы о судьбе литературных стилей, их смене, о соотношении литературного развития и идеологии эпохи. Самые развернутые выступления принадлежали Илье Серману, которого поддержал Г. А. Гуковский, и Мирону Левину. Гуковский похвалил мой доклад, но затем разобрал его «по косточкам», раскритиковав неточность употребления в нем

терминов и рыхлость композиции работы, и предупредил, что у меня есть тенденция характеризовать «самоцельное движение и развитие жанра. А это формализм. Нужно точнее искать источники движения». Наши выступления в семинаре и научном кружке по изучению литературы XVIII века были обработаны, и из них был составлен сборник студенческих работ, опубликованный в 1939 г. Редактором и инициатором этого сборника был Г. А. Гуковский. Он же «представил» больше половины сохранившихся в сборнике статей. Это были работы участников его семинара — его учеников: «Илиада в переводе Н. И. Гнедича» А. Кукулевича, «Драматургия Катенина» и «Поздний Катенин» Г. Битнер, «Пушкин и Радищев» Г. Макогоненко, «„Бова“ Радищева и традиции жанра поэмы-сказки» Л. Лотман, «Басни И. А. Крылова и общественное движение его времени» И. Сермана, «Комедии Сумарокова» А. Космана (Ученые записки Ленинградского гос. университета. № 33. Серия филологических наук. Вып. 2. Л., 1939). Почти для всех авторов статей эта публикация была началом их научного пути.

В лекциях Гуковского, как и в его научных трудах, сочетались любовь к художественному тексту, чуткое проникновение в его эстетику и тенденция к осмыслению больших, общих процессов истории литературы и общественной мысли.

Особое его внимание привлекали проблемы философии художественных стилей и основания идеологических и социально-психологических полемик. В стремлении выстроить четкие линии идейных противостояний он иногда шел на «жертвы» — упрощая вопрос об историческом значении отдельных деятелей, но в 30–40-х годах XX века истолкование литературной борьбы как главной силы, обуславливавшей развитие, было распространенным представлением в науке.

Стимулируя самостоятельность студентов в научных специальных экскурсах-разысканиях, Г. А. становился с ними как бы на товарищескую ногу, демонстрируя, что они не «школяры», а коллеги его. Хотя это было педагогическим приемом, но приводило к реальному его сближению с наиболее активными и наиболее близкими к нему по возрасту, более зрелыми студентами: А. М. Кукулевичем, Г. П. Макогоненко, И. З. Серманом и некоторыми другими. Конечно, эти студенты тоже были младше его, но все же были не такими «зелеными», как вчерашние школьники. Да и Григорий Александрович хотя и числился профессором, но еще не защитил докторскую диссертацию, когда стал читать

нам лекции, ее он защитил несколько позже. Я присутствовала на его защите. В вестибюле Пушкинского Дома стояла большая очередь — сдавать пальто в раздевалку. Студенты, которых было много, смешались с известными учеными и литературной элитой. Все были веселы и оживленны, ожидали интересной научной дискуссии. Вдруг мимо меня прошел другой наш лектор — Н. К. Пиксанов — и угрюмо произнес, обращаясь к самому себе: «Как на тенора собрались!». Меня это поразило, мне казалось, что так все заманчиво: собрались ученые и будут спорить, а Г. А. будет отвечать на критику с присущим ему остроумием, и вдруг такое отсутствие интереса и такое раздражение! Пиксанов читал нам литературу первой половины XIX века, читал скучно и в духе вульгарного социологизма, но был человеком трудолюбивым, образованным и хорошо относился к студентам. Он приглашал их к себе и давал читать научную литературу, правда, только у себя в доме, раз в неделю. Я бывала на этих его «приемах», и он относился ко мне хорошо. Но и впоследствии я наблюдала его враждебное отношение к Гуковскому. Очевидно, здесь играло роль «формалистическое» прошлое Григория Александровича.

Через несколько лет, когда я писала дипломную работу под руководством Л. В. Пумпянского, этот замечательный ученый сказал мне: «Вы не можете себе представить, как быстро вырос в научном отношении Гуковский. Ведь всего восемь лет тому назад он был формалистом». Я невольно возразила ему: «Восемь лет тому назад мне было тринадцать лет».

Хотя ученые нашего времени любят щеголять обширными обобщениями и экзотическими теориями, но я осмелюсь высказать мнение, что ученые тех лет, о которых я вспоминаю, более серьезно и последовательно придерживались той или другой системы взглядов и готовы были ее отстаивать ожесточенно и подчас самоотверженно. Философами были и Гуковский, и Эйхенбаум, и Пумпянский. По-своему философом был и Пиксанов, хотя его философия была схематична и даже примитивна, а выступления его были слишком проникнуты личными чувствами.

Я вспоминаю полемику Пиксанова с Гуковским в момент крайне тяжелый для Г. А., когда его уволили с заведования кафедрой в университете и он находился под угрозой ареста. Григорий Александрович сделал прекрасный доклад о Гоголе на заседании в Пушкинском Доме. Против него выступили Н. К. Пиксанов и В. А. Десницкий. Смысл «обвинений», которые они выдвигали против Гуковского, состоял в том, что Гуковский стоит на пороч-

ных позициях, которые наносят вред советской культуре. Эти обвинения носили характер политического доноса, что было недостойно Десницкого, а в конечном счете и Пиксанова. Тот же В. А. Десницкий, в другом случае, вступился за гонимого, выручив П. Н. Беркова. Против Беркова у него не было предубеждения, как против Гуковского, которого он считал «формалистом». См. об этом далее. Споры, полемика — неизбежный и необходимый элемент науки. Эти споры, иногда очень ожесточенные, так как каждый из спорящих искренне уверен в своей правоте, бывали всегда. Наличие разных точек зрения и противостояние их сторонников были использованы для осуждения и запрета целых направлений в науке, целых школ, а затем и целых областей науки, преследования и уничтожения многих талантливых ученых. Тут был простор для карьеристов, стремившихся пробить себе дорогу к административным должностям за счет уничтожения подлинных научных авторитетов.

Несколькими годами раньше, когда обстановка в научных учреждениях была более спокойной, академичной, мы были свидетелями интересной полемики на ученом совете Пушкинского Дома, спора между крупнейшим знатоком и исследователем древнерусской литературы академиком А. С. Орловым и Г. А. Гуковским по поводу интерпретации Гуковским трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Заседание происходило в то время, когда шла война с Финляндией, и Орлов, «в духе времени», начал свою речь словами: «В своей работе Григорий Александрович построил из аргументов и доказательств прочную крепость, но каждый, кто находится в крепости, стремится освободиться и сбежать из нее. Это мы и попробуем сделать, вынимая из нее по кирпичику. Гуковский — это не Александр Грушкин», — он назвал молодого способного сотрудника Пушкинского Дома, охотно выступавшего и писавшего на «актуальные» темы. Из зала сейчас же раздался протест А. Грушкина: «Я-то тут при чем?». Это только раззадорило оратора, и он продолжал: «Александр Грушкин для меня как маленький дзот. Я могу с него, как с простокваши, снять крышку и посмотреть, что в нем наболтано. Но Гуковский — сильный борец, мужчина, и скрестить с ним шпаги приятно». А. С. Орлов, следуя традициям старой академической науки, требовал от Гуковского более обстоятельных доказательств и подвергал сомнению его смелые предположения. Гуковский в ответ сыпал ссылками на разнообразные исторические источники — русские, французские, польские.

Орлов относился к Гуковскому как старший к младшему, несколько свысока, но симпатизировал ему и, может быть, даже любил его, время от времени отпуская в его адрес свои знаменитые колкости.

Авторитет Гуковского был уже признан в среде специалистов. Сам он имел вид счастливого человека, при случае с гордостью шутливо говорил: «Я знаю, что вы меня называете „Гук“, но и вся моя семья — „Гуки“, Зоя Владимировна и Наташа — все мы „Гуки“». Зоя Владимировна — жена Г. А., знаток и преподаватель французского языка, была доцентом университета. Г. А. появлялся на студенческих «балах» — вечеринках на факультете, танцевал с девушками и, обращаясь к Наумову, с которым сталкивался в суতোлке танцующих пар, неизменно просил: «Женя Наумов, дайте папироску!». На что Наумов традиционно же отвечал, цитируя его лекции: «Обычная поза дворянской фронды».

Уговорить Гуковского прийти на студенческую вечеринку было нетрудно. Он снисходительно давал себя уговорить. С некоторыми студентами он общался и у себя дома, и злые языки прозвали участников его семинара «гукины дети».

Я помню несколько вечеринок с его участием. Один раз мы поставили коллективно сочиненный пародийный спектакль на сюжет «Гамлета» Шекспира. Главный интерес спектакля состоял в том, что все речи действующих лиц пародировали те или другие фразы, словечки профессоров и их манеру говорить. Участниками спектакля были студенты А. Алмазов, Г. Бергельсон, Г. Бердников и др. Я изображала Офелию, конечно, сумасшедшую. Режиссером был И. Гликман. Подробнее об этом см. дальше. После представления была организована лотерея: все присутствовавшие должны были из вазы вытягивать билетики с именем литературного героя или мифологического персонажа и афоризмом. Билетики эти так удачно «вытягивались», что все были уверены, что это как-то хитро подстроено. Один солидный и, по нашим тогдашним понятиям, немолодой студент, недавно женившийся на совсем юной первокурснице, вытянул билет, на котором стояло: «Каменный гость» и афоризм Козьмы Пруткина: «Ревнивый муж подобен турку». Гуковскому достался билет: «Бог весны Бальдур» и афоризм из стихотворения Тредиаковского о весне: «Поют птички со синички, хвостом машут и лисички». Все это получалось совершенно случайно и вызывало дружный смех.

В нашем семинаре были признанные эрудиты такие, как Илья Серман и Анатолий Кукулевич. Посещали семинар Гуковского и известные своими успехами «звезды» — студенты старших курсов, но Григорий Александрович тщательно работал со студентами, делавшими первые робкие шаги в науке. Он подробно разъяснял, как надо составлять конспекты, собирать материал, как вести записи и располагать выписки и свои мысли на листе бумаги. Помню, как я, отчитываясь перед ним в том, как идет моя работа над докладом в семинаре, показала начерченную мною схему этапов восприятия художественного произведения. Он поглядел на меня с удивлением, очевидно, не понимая, какое отношение имеют эти «литературные мечтания» к моей работе, но никаких возражений не высказал, посоветовав начать с осмысления особенностей конкретных фактов, относящихся к теме моей работы. Г. А. был вежлив по отношению к своим ученикам, но требователен. Мою первую работу он заставил меня переделывать пять раз. Я ходила к нему на квартиру к Казанскому собору. Дверь мне открывал его брат — Матвей Александрович Гуковский, известный историк-искусствовед — знаток эпохи Возрождения, доцент исторического факультета, впоследствии — профессор и ученый секретарь Эрмитажа. Первый раз я испугалась при виде его. Он был небольшого роста, и на плече у него сидел большой кот. Матвей Александрович брал у меня рукопись, и через несколько дней на факультете мне ее возвращал Григорий Александрович со своими многочисленными замечаниями. Каждый раз он перечитывал ее, а между тем он был очень занят: читал курсы литературы XVIII и XIX веков, специальные курсы литературы начала XIX века и творчества Пушкина. Много идей курса литературы XVIII века, который он читал нам, вошли в его книги: 1) «Очерки по истории русской литературы XVIII века» (М., 1936), 2) «Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века» (Л., 1938), 3) «Русская литература XVIII века. Учебник для вузов» (М., 1939). Концепции, которые он развивал в лекциях «пушкинского цикла», были им изложены и всесторонне аргументированы в книгах: 1) «Пушкин и русские романтики» (Саратов, 1946; М., 1965), 2) «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (М., 1957). Работа над книгами сочеталась с педагогической и административной деятельностью.

В общем курсе истории литературы XVIII века Г. А. давал свою оригинальную концепцию тех социальных процессов, ко-

торые определяли подъем интеллектуальных и творческих сил общества времени становления новой русской литературы. В лекциях «пушкинского цикла» он характеризовал философию и эстетику эпохи, явившие себя в художественных особенностях литературы и в динамике формирования ее стиля.

Все мы посещали эти лекции, вне зависимости от того, были они для нас обязательными или нет. Весь факультет собирался слушать их. В аудитории (самой большой на факультете) яблоку негде было упасть. И конечно, привлекало не только содержание лекций, но и их блестящее исполнение. Лекции Гуковского увлекли многих студентов, меня в том числе. Они пробуждали живой интерес к широким горизонтам литературы и культуры, но, овладевая новым материалом и «пробуя себя» в разных сферах филологической науки, молодые люди не отказывались от «наработанных» материалов и от интересов, которые у них уже стали формироваться. Через год я перешла из фольклорного семинара Азадовского в семинар Гуковского, и XVIII век, его проблемы и его литература захватили меня, но тему для самостоятельной работы я выбрала «промежуточную», объединявшую научную проблематику фольклора и литературы XVIII – начала XIX века (поэма-сказка). То же было, когда я стала заниматься балладой «Жених» Пушкина. Фольклор и литература были в одинаковой степени «причастны» к этой теме. Однако Марк Константинович Азадовский шутиливо обижался на мою «измену».

Анатолий Кукулевич, увлекшись античной литературой и новейшими теориями ее исследователей, соединил эти свои интересы с занятиями творческой деятельностью Н. Гнедича, его новациями в стихосложении и вопросом о месте его творческих исканий и достижений в поэзии пушкинской эпохи.

Георгий Макогоненко соединил свои новые занятия творчеством Пушкина с предпринятым им, в плане изучения литературы XVIII века, исследованием творчества А. Н. Радищева и Н. И. Новикова.

Илья Серман в занятиях творчеством И. А. Крылова выразил интерес к литературе XVIII века и «тяготение» к историческим реалиям начала XIX века.

Лекции и семинары Гуковского студентам казались праздником. Помню, что на свой экзамен по литературе XVIII века, который принимали Г. А. Гуковский и П. Н. Берков, студенты, не сговариваясь, явились в праздничной одежде, что совсем не практиковалось на других экзаменах.

Слушая лекции Гуковского, до войны мы неизменно отмечали конец учебного года «чествованием» любимого лектора, аплодисментами, преподнесением цветов, а однажды студенты гурьбой провожали его в отпуск на вокзал. При этом ему вручили макет памятника: на пьедестале восседала его фигурка, вылепленная Анатолием Кукулевичем, — несколько карикатурная, но похожая. Одним из студентов были по этому случаю сочинены стихи, которые заканчивались строками:

А осенью мы снова в храм придем,
Где твой фалерн и розы наши.

Гуковский указал на последнюю строку стихотворения, заимствованную из Батюшкова, и сказал: «Вот этот стих очень удачный».

Особенно запомнился мне вечер у Гали Битнер, на который мы собрались в ознаменование конца учебного года и куда пригласили Г. А. На вечере были участники семинара — все студенты только нашего курса, за исключением Елены Серебровской, красивой крупной блондинки, которая училась старше на один курс. Целую весеннюю белую ночь до утра Григорий Александрович читал нам на память стихи подвергавшегося в то время преследованиям О. Мандельштама. В своем большинстве мы мало знали его творчество и были буквально потрясены его поэзией в исполнении Г. А., особенно звучавшей в белую ночь. Как впоследствии выяснилось, Елена Серебровская, «по зову сердца» или «по долгу службы», написала в партбюро донос о злонамеренном сборище студентов и об участии в нем профессора. Позже, в 50-е годы она сочинила еще и повесть, в которой в отрицательном свете изобразила Гуковского и его «панибратство» со студентами. Е. И. Наумов — участник семинара и член партбюро — сумел предотвратить последствия доноса указанием на то, что стихи Мандельштама, которые прозвучали в тот вечер, напечатаны в его сборнике 1928 года, который не был запрещен и не изымался из библиотек⁶. Однако «инициатива» Серебровской не осталась без внимания. Ее донос лег в досье профессора. Через несколько лет, уже после смерти Сталина и Гуковского,

⁶ Об этом эпизоде и о других событиях нашей студенческой жизни см.: *Серман И. З.* Немного о прошлом // Памяти Георгия Пантелеймоновича Макогоненко: Сборник статей, воспоминаний и документов. СПб., 2000. С. 190–197.

Макогоненко, добиваясь реабилитации своего учителя, среди других вопросов, предложенных ему следователем прокуратуры по ходу проверки дела Гуковского, вынужден был отвечать и на вопрос: «Он своим студентам дома читал Мандельштама?». Но в новых условиях следователь приходит к выводу: «Здесь все ясно. Это чепуха»⁷.

Гуковский был человеком независимым, искренним и смелым. Когда П. Н. Берков был арестован, к нам на лекцию пришел сотрудник органов государственной безопасности и произнес длинную речь о том, как у нас на факультете хитро замаскировался враг, который после «строгого» допроса был вынужден признать, что он не Берков, а Беркофф, немец. Берков учился в Австрии и после революции вернулся в Россию с желанием строить демократическую культуру. После выступления оратора, разоблачавшего Беркова, Гуковский на следующей лекции сказал: «Я хорошо знаю Павла Наумовича, дружил с ним многие годы. Это честнейший человек и прекрасный ученый и преподаватель». Сам факт, что Г. А. назвал Беркова по имени и отчеству, «менял ситуацию», как бы возвращал его в число порядочных людей, не говоря уже о его характеристике, данной авторитетным и популярным профессором-коллегой. Этот поступок Гуковского в обстановке тех лет был чрезвычайно смелым.

Являясь заведующим кафедрой, Г. А. Гуковский собирал вокруг себя талантливых молодых ученых и известных профессоров, оказавшихся по тем или другим причинам «неприемлемыми» для начальства, и добивался того, что их принимали в штат университета. Так, он пригласил на кафедру известного ученого А. С. Долинина и предоставил ему возможность читать спецкурс по Достоевскому. Именно из-за своего «пристрастия» к Достоевскому Долинин считался «неблагонадежным». Достоевский тогда официально признавался писателем реакционным, карикатурно изобразившим революционеров в «Бесах».

Долинин был известен как человек оригинальных мнений и спорных концепций. Зная об этой репутации Долинина, Гуковский мягко пытался его предостеречь.

— Вы, Аркадий Семенович, старайтесь помягче, поменьше ереси.

— А что? — возразил наивный Долинин. — Что, группа слабая?

⁷ См.: *Иванов М. В.* Путь к учителю // Там же. С. 237.

Но все же под поручительство Гуковского и при его покровительстве Долинин прочел свой курс, не скрывая своего преклонения перед великим писателем.

Г. А. Гуковский, очевидно, привлек к чтению лекций студентам филологического факультета и другого выдающегося ученого-филолога Льва Васильевича Пумпянского. Лекции Пумпянского пользовались известностью в Петрограде-Ленинграде. Г. А. Гуковский, слушавший его лекции еще в начале 1920-х годов, привлек Пумпянского к работе Группы по изучению литературы XVIII века в Пушкинском Доме, а затем и к чтению курса русской литературы второй половины XIX века в университете. Н. И. Николаев в статье «Энциклопедия гипотез», в обстоятельном обзоре жизни и деятельности Л. В. Пумпянского, пишет, что он с 1936 года стал профессором филологического факультета, «скорее всего, при его (Гуковского — Л. Л.) содействии»⁸.

Я была в числе студентов, слушавших этот курс истории русской литературы второй половины XIX века, записывавших исключительно богатые содержанием лекции Льва Васильевича и сдававших во время экзаменационной сессии ему экзамен. Эрудиция Пумпянского была притчей во языцех, о ней рассказывали легенды, утверждали, что его можно спросить о любом малоизвестном или вообще неизвестном факте из истории мировой литературы, и он немедленно даст точную справку. Готовясь к экзамену, мы трепетали и изготовили шпаргалки, содержавшие краткие фактические данные из конспектов его лекций. Находясь в коридоре во время экзамена, я случайно «подслушала» разговор Гуковского с Пумпянским. Григорий Александрович сообщал Льву Васильевичу: «Они уже вытащили шпаргалки и, кажется, успокоились».

Гуковский был не только прекрасным лектором и ученым, но и энергичным, умным организатором учебного процесса и самой нравственной атмосферы на факультете. Студентам было интересно и весело. Их творческие способности находили себе применение, их молодое желание веселиться, несмотря на мрачные времена, выражалось в остроумных выдумках, иронической критике своих товарищей и преподавателей. Однако террор и превращение тотальной подозрительности в государственную

⁸ *Пумпянский Л. В.* Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 27.

политику были элементом повседневной жизни, окружавшей молодежь. Аресты профессоров и студентов, исключения из комсомола за мнимые провинности, взаимные «проработки» на собраниях насаждались как элемент воспитания, без которого нельзя воспитать носителя «правильного» мировоззрения. К тому же неотвратимо надвигалась война, которой нас пугали с детства. Тень ее уже ложилась на нашу жизнь. За год до начала «большой» войны студентов лишили отсрочки и взяли в армию. Юра Лотман со второго курса ушел в армию, причем и он, и его товарищи понимали, что это преддверие войны. Студенческие аудитории стали девическими, а через год и старшие, кончившие университет наши друзья, ученики Гуковского и других знаменитых профессоров факультета, пошли в воинские части и на фронты.

Добровольцем ушел на фронт Толя Кукулевич, который к этому времени уже был ученым секретарем Института этнографии, и на него была бронь. Вскоре после нового 1942 года он погиб.

Анатолий Кукулевич был одним из самых талантливых моих товарищей по университету. Через много лет после гибели на войне Толи Кукулевича известный литературовед Е. Г. Эткинд в магазине старой книги «по случаю» купил книги, некогда принадлежавшие Кукулевичу, с его автографами и заметками на полях. Не без удивления он обнаружил по этим заметкам, что Толя уже в далекие довоенные годы, изучая античную литературу и фольклор, «нащупывал» методику, которой впоследствии пользовались структуралисты.

В армии, уже с начала войны, служил, несмотря на свой физический недостаток (частичную глухоту), Илья Серман и Юра (Г. П.) Макогоненко. Приезжая с Ленинградского фронта в город, он, как домой, приходил в Радиокomiteт, который был в блокаду центром информации, самосознания и духовного единения ленинградцев.

Пережившим блокаду сотрудникам Ленинградского радио запомнился Г. П. Макогоненко, всегда готовый оказать помощь, утешить, дать кусочек хлеба или конфету — неоценимые подарки в дни блокады.

Блокада была тяжелейшим, непосильным испытанием для всех ленинградцев, для Г. А. она была «по-своему» тягостна. Активный, темпераментный, раздражительный, он болезненно переживал замкнутость пространства города, вынужденную пассивность, на которую обречено население перед лицом

смерти⁹. Все знали, что Ленинград плохо защищен, особенно на некоторых участках фронта, но если и говорили об этом, то шепотом; Гуковский говорил об этом вслух, да к тому же критиковал организацию обороны города, что было в условиях военного времени небезопасно. Гуковский был арестован 19 октября 1941 года по обвинению в пораженческих и антисоветских настроениях, но через полтора месяца освобожден «за недостаточностью улик». Этот арест был грозным предупреждением. Незадолго до отъезда сотрудников университета в эвакуацию я посетила Г. А. в его квартире на Васильевском острове. Это было самое жестокое время ленинградской блокады, страшный мороз, голод, темнота. Стоя с шести утра в очереди за хлебом, я вспоминала слова из «Снегурочки» А. Н. Островского:

...Берендеи
О нынешней зиме не позабудут —
Веселая была: плясало солнце
От холода на утренней заре.

И все же мне удалось отнести Г. А. несколько пачек папирос, за несколько месяцев полученных по карточкам на семью. Он признался, что очень грустит и отводит душу только по вечерам, читая книги около открытой дверки топящейся печки — печка у него была кафельная, старинная. Живой огонь вселяет, говорил он, бодрость и чувство уюта. Семья его была в эвакуации.

Я не была в одиночестве. Мы всей семьей собирались вокруг огня печки. Правда, печка у нас была не такая красивая, как у Г. А. Однажды мама (всего один раз) нарушила строгое табу и напомнила нам слова Юры, когда он был маленьким: «Брось бумажку, будет гореть!».

В Саратове в эвакуации Г. А. восстановил свои силы, несмотря на суровые бытовые условия. Здесь у него сформировался новый круг учеников и слушателей, многие из которых впоследствии стали учеными, получившими признание. Он оказался в среде эвакуированных из Ленинграда сотрудников университета — выдающихся деятелей гуманитарной науки, таких как М. П. Алексеев, С. Д. Балухатый, Г. А. Бялый, В. Я. Пропп, М. Л. и И. М. Тронские, Б. М. Эйхенбаум, И. Г. Ямпольский. Г. А. Бялый

⁹ О реакции Гуковского на недостатки организации обороны см. в воспоминаниях Е. Я. Ленсу. Г. А. Гуковский — учитель и друг // НЛО. 2000. № 44. С. 169.

позже с юмором рассказывал, как Гуковский шутя соревновался с ним — молодым лектором — в том, к кому из них ходит больше слушателей и кого больше любят студенты.

В Саратовском университете оценили организаторские способности Гуковского. Он перешел в этот университет, став его проректором по научной работе. Между тем к возвращению к научной работе и переезду в Ленинград его призывала дирекция Пушкинского Дома, но самого Григория Александровича привлекала работа в Москве, где, как ему казалось, открывается больший простор для деятельности. Г. А. Бялый рассказывал мне, как спорил с Гуковским, доказывая ему, что большего творческого простора, чем деятельность профессора в одном из лучших университетов страны, не может дать ему никакое другое место. Не эти убеждения коллеги, а затруднения с переходом в Москву побудили Гуковского отказаться от своего намерения и вернуться в Ленинградский университет.

Здесь его слушали возвратившиеся после победы из Германии студенты, в том числе — мой брат Юрий Михайлович, который был его учеником до ухода в армию, за семь лет до того. В это время Гуковский уже воспринимал Юрия не как мальчика, начинающего свою учебу, а как зрелого молодого исследователя. Они стали друзьями, дружил Юрий и с дочерью Гуковского — молодой студенткой Наташей. Он посещал их семью в тяжелые для Григория Александровича месяцы, когда гуманитарная наука подверглась разгрому. В ходе «антикосмополитической» кампании Гуковский был уволен из университета, ждал со дня на день ареста, и круг его знакомых значительно поредел.

В эти дни я пыталась выразить свое сочувствие Григорию Александровичу, поддержать его. Во время одного из официальных праздников в Пушкинском Доме, когда вокруг Гуковского образовалась пустота, чего прежде никогда не бывало — к нему невозможно было протолкнуться, — я сказала ему: «Что бы с вами ни случилось, какие трудности ни возникли бы, помните, что вы — Гуковский, этого никто не может у вас отнять». Он возразил мне: «Это одни слова!». Но я думаю, что он сознавал свою силу и не мог отказаться от борьбы.

По свидетельству осведомленных людей, он героически защищался в тюрьме против предъявлявшихся ему нелепых обвинений. Но сердце его не выдержало.

Веривший в силу разума и умевший убеждать, он боролся, сознавая, что убедить следователей невозможно. Они преследо-

вали все, что было ему дорого: веру в научную истину, в логику истории, его красноречие и любовь к нему студентов — все это в их глазах было криминалом, так как сам арест Гуковского был звеном в цепи официальных погромов разных областей и школ в науке, в эстетике и искусстве; смысл же всех этих шумных кампаний состоял в борьбе с независимой от правительственных «указаний» наукой и со свободным творчеством в искусстве как силой, оказывающей неконтролируемое влияние на умы и на жизнь общества.

Одним из блестящих публичных выступлений Гуковского было его оппонирование на защите докторской диссертации А. Л. Дымшица. Александр Львович Дымшиц — образованный литературовед, в качестве партийного функционера «курировал» идеологию в науке, в частности в Пушкинском Доме как администратор — заместитель директора. Его диссертация, посвященная творчеству Маяковского, создавалась как образец, эталон «правильной» интерпретации творчества этого поэта. Маяковский в ней характеризовался как воплощение пролетарского поэта, представителя социалистического реализма, противостоявшего футуристам, символистам и другим сторонникам «буржуазных направлений» в искусстве XX века, с которыми поэт «вел решительную борьбу». Оппонентами на защите этой докторской диссертации, проходившей на филологическом факультете Ленинградского университета, были уважаемые, известные ученые В. В. Гиппиус, Г. А. Гуковский и Б. М. Эйхенбаум. Пожелав, чтобы в диспуте участвовали такие солидные оппоненты, Дымшиц, безусловно, хотел придать защите солидность и упрочить свое положение. Свою вступительную речь диссертант произнес уверенно и важно. Оппоненты говорили академически вежливо и даже мягко, но по мере их выступлений диссертация разваливалась. Это был не литературный спор, не идейное противостояние, а восстановление правды, реальной жизни во всей ее сложности людьми, пережившими конкретные обстоятельства этой жизни, ее трагизм. Оппоненты были старше диссертанта и почти всех присутствовавших в зале, и реальные факты эпохи, в которую жил и писал Маяковский, были им известны доподлинно. То, что они чувствовали, столкнувшись с новой официальной версией жизни и истории творчества поэта, можно предположительно передать строками Пастернака (хотя они и были далеко не стары; но их слушала молодежь):

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез <...>
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

Их речи содержали и требование научной точности, объективности и добросовестности аргументации. Надо заметить, что в ходе дискуссии Гуковский, демонстрируя убожество схемы, которая предлагалась в качестве последнего и окончательного слова науки, не удержался и проявил свой темперамент. Он говорил убежденно и увлекательно, как свидетель реальных событий, современник и участник литературных баталий эпохи Маяковского. Результатом этих выступлений было неожиданное для диссертанта голосование ученого совета против присуждения соискателю искомой степени. См. также об этом далее, в разделе об Эйхенбауме.

Впоследствии, через несколько лет после смерти Г. А. Гуковского, встречаясь с его дочерью Натальей Григорьевной Гуковской (Долининой), я внимательно вглядывалась в нее, стараясь уловить, есть ли в ней сходство с Григорием Александровичем, живы ли черты его столь обаятельной личности. Внешне она мало походила на него, но ее педагогическое дарование (она стала выдающимся педагогом), ее литературный талант (она стала одним из самых ярких и популярных публицистов, ее очерки и статьи возбуждали интерес и споры), ее умение тонко и чутко проникнуть в смысл, этическое содержание произведений литературы (она — автор нескольких книг на эти темы) и главное — неумная энергия, которую она проявляла, «заступаясь» за людей, отстаивая правду и справедливость, — все это было присуще ее неповторимой, своеобразной личности, в которой «отзывалась» и по-новому жила личность ее отца.

2. *Василий Васильевич Гиппиус*

Василия Васильевича Гиппиуса я узнала тогда, когда стала слушательницей его спецкурса, посвященного Гоголю. Запомнилось, что он уделял большое внимание позднему периоду деятельности Гоголя, и, как я помню, довольно долго объяснял, как у Гоголя произошел кризис и перелом в его настроениях — как возникло у него усиление мистического мировосприятия. В. В. придавал очень большое значение этому перелому, в отличие от многих исследователей, считавших, что у Гоголя эти настроения в том или другом виде все время существовали и лишь меняли свою форму. В. В. мне показался очень интересным человеком. Он был по-своему красив. Внешность его была оригинальна: рыжеватые волосы, ярко-голубые глаза и очень строгое выражение лица. Он был всегда несколько суров и мало улыбался. Его аспирантом вскоре стал Георгий Михайлович Фридендер, которому В. В. дал тему по «Арабескам» Гоголя. Фридендер был увлеченным марксистом и утверждал впоследствии, что он вел с В. В. Гиппиусом долгие философские споры, и что В. В. вынужден был кое в чем с ним соглашаться (об этом говорили и друзья Фридендера). Возможно, это согласие было вызвано всего лишь вежливостью В. В., а может быть, он сдавался под напором юного марксиста. Я с В. В. была по сути дела мало знакома. Я его побаивалась. Время от времени его красивое лицо искажала какая-то гримаса горечи, и оно приобретало выражение, как если бы он на что-то очень рассердился или чем-то огорчился. Именно это строгое выражение меня побудило, когда я поступила в аспирантуру, избрать его своим руководителем: я думала, что этот, такой строгий, суровый человек критически отнесется ко мне и к моей теме о драматургии Островского, что он не позволит мне поверхностно подойти к моей работе. Я обратилась к В. В. с личной просьбой, чтобы он взял на себя руководство мной. Он согласился и сразу же сказал, чтобы я принесла ему сборник студенческих работ, в котором была и моя первая статья. Я принесла ему эту книгу и хотела подарить ему, но он отдал мне рубль двадцать, а когда я стала отказываться, он сказал сурово: «Берите и не устраивайте историю». Я была о себе очень невысокого мнения (и справедливо) и относилась к В. В. с пиететом, поэтому искала способа находить с ним общий язык. Я нашла такой способ: я поняла, что его надо смешить. Че-

ловец, когда он смеется, делается беззащитным, освобожденным и легким в общении. В. В. очень менялся, когда он смеялся. Глаза его делались особенно ярко-голубыми, и он становился нежен и доступен, как ребенок.

Наш директор Павел Иванович Лебедев-Полянский был человеком очень пожилым. Он постоянно жил в Москве и приезжал редко — реже чем раз в месяц. Его участие в управлении Пушкинским Домом включало по большей части проверку работы аспирантов. Мы должны были перед ним отчитываться — конечно, в присутствии наших руководителей. Я не очень тревожила В. В. вопросами и общением со мной, о чем я потом очень жалела. Он тоже не стремился мною «управлять». Но П. И. Лебедеву-Полянскому мы говорили, что часто встречаемся и таким образом В. В. мною руководит. Аспиранты очень боялись этих проверок. Я же применила к П. И. совершенно особую методу: я очень быстро установила его любимую тему, после того как он нам с В. В. рассказал, как он сидел в царской тюрьме и там выучил наизусть целый том Генриха Гейне — конечно, по-немецки. После этого случая я во время проверки неизменно переходила на тему о Гейне, после чего Павел Иванович в течение получаса декламировал стихи Гейне. На этом наша проверка заканчивалась. Но, выходя из кабинета, В. В. делал строгое лицо и говорил: «Но вы-то понимаете, что мы с вами не встречаемся и что это нехорошо?».

В. В. Гиппиус был страстным исследователем литературы, в частности Гоголя. Впоследствии я много ссылалась на его статьи. Но он был поэт, и эта скрытая поэтическая струна давала себя знать. Я имела возможность ощутить, на каком высоком уровне художественной культуры находилось его творчество. Однажды на одном из заседаний Лермонтовской группы, которые я посещала, я присутствовала на обсуждении сделанного В. В. перевода поэмы Виньи «Элоа», которая имеет некоторое сходство с «Демоном» Лермонтова и была знакома поэту. На обсуждении присутствовали многие поэты-переводчики и ученые, в их числе Лозинский, Ахматова, Томашевский, Жирмунский, Гуковский, Адмони, Реизов, Л. Я. Гинзбург. Они придирчиво обсуждали метрику, строфику, мелодику стиха, рифмы, сопоставляя французский подлинник и русский перевод. Для меня это было, как для героя «Соловьинного сада» Блока пенье, которое раздавалось из-за ограды. Я не могла на слух сопоставлять французский и русский тексты, не могла анализировать характер рифмы, но, слушая их высказывания, я наглядно убеждалась, как высок тот

уровень текста, который они анализировали, и мой научный руководитель рос в моих глазах.

Когда началась война, я была на втором курсе аспирантуры. В. В., как и других наших сотрудников, мобилизовали в какой-то военизированный отряд. К этому отряду и его боеготовности многие относились с юмором, и этот юмор часто касался В. В., потому что он странно ступал тогда, когда отряд должен был маршировать — как будто танцевал. Над этим посмеивались. Настроение у всех было, конечно, подавленное и взволнованное, но немало было и шуток. Так, многим доставалось в юмористических стихах, которые сочинял В. А. Мануйлов. Но, видя, как В. В. Гиппиус марширует, я почему-то совсем не хотела смеяться, а огорчалась и даже пугалась. Один пугающий эпизод тех дней мне запомнился. Наш сотрудник, пожилой и заслуженный человек, стал посмеиваться над Гуковским, который был особенно подавлен в первые дни войны, и говорил, что Гуковский так переживает, как будто немецкое вторжение направлено прямо против него. В. В. побледнел, на лице его появилась его горькая гримаса. Он громко и отчетливо произнес: «Конечно, не всем грозит равная опасность, хотя все расстраиваются. Но я хочу, на всякий случай, сказать, чтобы Григорий Александрович знал. Если ему будет грозить реальная опасность, мой дом всегда будет его домом».

С В. В. я увиделась в голодные дни блокады. Я пришла в Институт (аспирантуру распустили, аспирантов уволили, и я уже к этому времени работала в госпитале). В. В., конечно, исхудал и был бледен, но мы с ним минут 15 проговорили. Он рассказал мне то, что знал о других сотрудниках, а я по глупости сказала совершенно неуместную фразу: «Что-то сейчас делает академик Орлов?». У В. В. эта неуместная реплика вызвала раздражение. Он сказал: «Нашла о ком вспомнить!» Александр Сергеевич Орлов, человек очень заслуженный, принадлежал к академической элите и был эвакуирован в какой-то санаторий Средней Азии. В.В. умер через две недели после нашего свидания.

3. Сергей Дмитриевич Балухатый

Моим вторым научным руководителем после смерти В. В. Гиппиуса был назначен Сергей Дмитриевич Балухатый. Он был известным ученым, профессором, с 1943 года членом-кор-

респондентом Академии наук, знатоком драматургии XIX–XX веков, он изучал поэтику драмы, одним из первых стал исследовать драматургию Горького, был специалистом по творчеству Чехова. Балухатый был также крупным библиографом. В 30-х годах он возглавлял библиотеку Пушкинского Дома. Его ученицей была К. Д. Муратова, составившая важнейшие литературоведческие библиографии. С. Д. был родом из Таганрога. У него, по-видимому, были греческие корни. Он обладал красивой восточной внешностью, был брюнетом с большими выразительными горящими глазами. Будучи земляком А. П. Чехова, Балухатый стоял у истоков создания музея Чехова в Таганроге. Летом 1920 года, приехав к родителям на каникулы, он по предложению местных краеведов осмотрел уникальные чеховские материалы в Таганроге и содействовал созданию музея, практически он был его научным руководителем. Впоследствии, в 1930 г., С. Д. опубликовал книгу «Библиотека А. П. Чехова», Чехову посвящены и другие его работы. Во время оккупации Таганрога немецко-фашистскими войсками мать С. Д. Балухатого сделала многое для сохранения этого музея. Фактически она спасла его. Она собрала все ценные чеховские материалы, отнесла их к себе домой, сложила в сундук, на котором сама и спала. Только после освобождения Таганрога она отдала материалы обратно в музей, который был вскоре восстановлен.

Во время блокады Ленинграда в квартире у Балухатого провало паровое отопление, всю квартиру залило, а потом вода замерзла. С. Д. и его жена переехали в другое место, но он приходил к себе домой, вырубал изо льда нужные ему вещи, мебель, и отвозил их в свое жилище на саночках. Эта тяжелая физическая работа в сочетании с постоянным состоянием голода и стресса, в котором находились все блокадники, подорвали его здоровье.

В Таганроге семья Балухатого жила, по-видимому, бедно. Он рассказывал, как они с женой покупали 200 граммов халвы и обрадовались, когда обнаружилось, что им случайно дали больше. В Ленинграде в послевоенное время у них была красивая квартира, в которой было много рукоделия, сделанного женой С. Д. — изумительные вышивки, очень искусные. Жену С. Д. звали Люси́я, она в прошлом была балериной. Как и С. Д., Люси́я была очень красива. Когда мы познакомились, она уже была тяжело больна — рак на последней стадии. Она не вставала с постели, при этом была очень ревнива и требовала, чтобы беседы с аспирантами проходили около ее кровати. Вскоре С. Д. сам тяжело

заболел: у него открылось редкое заболевание, которое получило распространение в послевоенные годы — злокачественная гипертония. Чтобы помочь ему и его жене, из Таганрога приехала его мама. С. Д. положили в больницу. Его аспиранты приходили к нему, дежурили около него по очереди. 2 апреля 1945 года он умер, проболев всего лишь около трех недель. Люсия пережила его примерно на неделю.

После смерти С. Д. я пришла в его красивую пустую квартиру, выразила соболезнование его матери и попросила у нее его фотографию на память. Она искала, но не нашла. По-видимому, жена уничтожила все фотографии из ревности. Впоследствии все же мне удалось получить фотографию С. Д., которого я помнила и глубоко уважала.

4. Борис Михайлович Эйхенбаум

Я узнала Бориса Михайловича Эйхенбаума, когда я была на втором курсе университета. Я не была с ним знакома, но узнала его. Я встречала его в коридоре университета, а кто его встречал, тот его знал. Не только потому, что он был знаменит, но и потому, что качества, которые сделали его знаменитым, были в нем выражены. Прежде всего, он был джентльмен, он был изящен, был по-английски щеголеват (то есть несколько архаичен по отношению к моде), предельно и просто вежлив, ироничен. Между ним и его собеседником всегда была незримая, органичная и как бы неосознанная дистанция. Говоря об Эйхенбауме в одном из своих мемуарных очерков, Ю. М. Лотман употребил странное сравнение. Он сравнил его с характеристикой командора, которую дает ему Дон Жуан в трагедии Пушкина: маленький рост, хрупкое телосложение, но: «Он горд и смел — а дух имел суровый». Очевидно, этот суровый дух командора и является на зов Дон Жуана. Конечно, Ю. М. тут же находит нужным оговориться, что Эйхенбаум не был тщедушным, что вся его внешность была в высшей степени гармоничной. Шкловский назвал его маркизом.

Я не была в Лермонтовском семинаре Эйхенбаума, так как на первых курсах оказалась под влиянием фольклористов — Азодовского, затем Проппа — и Гуковского, занимаясь в семинарах Гуковского поэзией XVIII века и пушкинской эпохи. Но вести о Лермонтовском семинаре до нас доходили, и я уже слыхала о

строгой, суровой требовательности его руководителя. Уже в довоенные годы Б. М. Эйхенбаум был классиком литературоведения: ему принадлежала инициатива в разработке ряда проблем теории и истории литературы, истории литературного быта, жизни литературы в обществе. Он был и одним из основоположников новой русской текстологии, изучения работы писателя над текстом по рукописям. Кроме того, Б. М. был литературно одаренным человеком, прекрасным стилистом, создававшим образцы научного текста, и живым участником литературного процесса: ярким полемистом, принимавшим участие в острейших научных дискуссиях.

Ближе я познакомилась с Борисом Михайловичем, если не ошибаюсь (потому что мне кажется, что я его знала всегда), в Пушкинском Доме. Мы оказались в одном и том же научном подразделении этого учреждения — Секторе (или Отделе) Новой Русской Литературы. Состав ученых Института, как и университета, был настолько блестящим, что выделить кого-то как «особенного» среди них было трудно, но Б. М. воспринимался как такой «особенный человек». Первое, что бросалось в глаза, были его рыцарская вежливость и холодность — черты специфически мужского обаяния. Б. М. мог служить образцом «воспитанного человека». Но, как мне постепенно стало ясно, жизнь воспитывала его весьма сурово.

Однажды, находясь в гостях у Б. М., я заметила фотографию двух мальчиков: один был подросток, а другой — младше. Младший, блондин, с очень тонкими чертами лица, красиво очерченными губами и довольно длинными волосами был очень милым, и я обратила на него внимание. Я сказала, что у этого ребенка внешность ангела. Б. М. на это сказал: «Вот-вот, моя мать так и говорила: „Лицом ангел, а душой демон“». Далее Б. М. рассказал мне в очень смягченной форме трагедию своего детства, которую обычно он так не открывал в полной мере. Его воспитывала мать, но он был нелюбимый ребенок. Она очень любила старшего сына, возлагала на него большие надежды, но имела основание за него очень сильно беспокоиться (он рано связался с революционным движением — ситуация, довольно распространенная в учебных заведениях той эпохи). Все свое беспокойство, всю свою тревогу за старшего сына она вымещала на младшем. На него постоянно сыпались упреки и несправедливые обвинения. Мать говорила ему, что он бездарный, что он тупица, что он никогда ничему не научится, хотя он прилежно выполнял все свои

детские обязанности. Только пойдя в гимназию, когда вскоре его посадили за первую парту как лучшего ученика, он усомнился в правильности тех характеристик, которые ему давали дома, и ободрился. Похвалы, которые он слышал в гимназии, были для него полной приятной неожиданностью. Впоследствии, когда мать его тяжело болела, именно он ухаживал за ней и героически помогал ей бороться с неизлечимой болезнью — она была врач и заразилась во время операции. Но в пору, когда он был школьником, боль от холодности близкого человека и тяжелой обстановки в семье мучила его, и однажды, не вынеся этих мучений, он принял решение покончить с собой. Он из гимназии не вернулся домой и до самой темноты ходил над рекой с твердым намерением броситься в реку и погибнуть. Борьба между жаждой жизни, детской робостью и юношеской решимостью окончилась тем, что он вернулся к дому и, не отваживаясь позвонить, но, будучи не в силах стоять на ногах, прилег в палисаднике и заснул, положив голову на школьный ранец. Утром его разбудили, и в проеме двери он увидел грозную мать. О ее реакции он мне не рассказывал, но дал понять, что она истолковала его поступок превратно. Она решила, что он хотел на глазах у всей улицы нанести ей оскорбление и скомпрометировать ее.

Некоторые сведения, которые я здесь сообщаю, не общеизвестны. Ольга Борисовна Эйхенбаум, дочь Б. М., об этом не упоминала в своих кратких воспоминаниях. Поскольку этот рассказ может вызвать сомнение у некоторых читателей, я прошу поверить мне на честное слово, что я все это слышала от самого Б. М. Почему он проявил такую откровенность, не знаю, но, очевидно, у него на это были причины.

Таким образом, Б. М. сознавал, что его характер формировался в юные годы, и, думается, что его поведение в этот начальный период его жизни для него определяло тот уровень самообладания, который его отличал в самые трудные моменты жизни.

Любимыми писателями Б. М., творчеством которых он занимался многие годы, были Лев Толстой и Лермонтов. Толстой был мыслителем, всю жизнь изучавшим самого себя, критиковавшим свою личность и искавшим пути ее усовершенствования. Лермонтову не были присущи открыто моралистические тенденции, но Б. М. было понятно глубинное нравственное содержание его творчества. Это нравственное соотнесение поэтических подтекстов Лермонтова с собственной судьбой сквозило в таком единичном, но выразительном случае, как интонирование

Б. М. одного из своих любимых стихотворений, где строки, обращенные к кинжалу: «Да, я не изменюсь и буду тверд душой, / Как ты, как ты, мой друг железный» — он произносил с паузой после слова «друг» и с отчетливым выделением слова «железный», так что они прочитывались нетрадиционно: «я буду железным, твердым, как кинжал». (Наблюдение Э. Э. Найдича.)

Б. М. был человеком строгой внутренней организованности, не приспособившимся к внешним требованиям, строго их регламентируя. Работая над какой-либо темой, он жил ею, двигаясь от одного вопроса, который сам себе задавал, к другому и собирая целый мир фактов, идей — своеобразное здание научного поиска.

Участвуя в научных заседаниях, он внимательно слушал, что говорят коллеги, и составлял конспективное изложение, которое записывал в особый блокнот толстым синим карандашом. Когда мне удавалось познакомиться с этими записями, я обращала внимание на то, что заметки Б. М. умнее, чем сами выступления, которые он конспектировал.

В характере Б. М. соединялись нежность, способность понять другого с твердостью, требовательностью и способностью беспощадного осуждения. Эта его жесткость проявилась и в уже упомянутом выше событии, которое взволновало литературоведческое общество: в попытке защиты докторской диссертации о Маяковском литературоведом и функционером от науки Александром Львовичем Дымшицем. Диссертант говорил важно, самоуверенно и назидательно. Его идеи состояли в том, что Маяковский не был и не мог быть ни футуристом, ни символистом, ни формалистом, а был якобы советским писателем с самого начала своего творчества и до конца. Оппоненты, самые авторитетные ученые: Гиппиус, Эйхенбаум и Гуковский, — не имели никакого «злодейского замысла» против диссертанта. Они были «подготовлены» и даже немножко робели. Оппоненты стали выступать сначала очень осторожно, выдвигая отдельные конкретные возражения, но постепенно из этих возражений сложилась очевидная картина несовпадения реального Маяковского с тем, что докладывает диссертант. В зале началось движение. «Запахло порохом», и оппоненты, забыв всякую осторожность, заговорили в полную силу. Впоследствии присутствовавшие говорили, что Гиппиус охладил пыл докладчика, Гуковский растерзал его, как лев, а Б. М. Эйхенбаум доклевал его останки. Зал был потрясен. Диссертация провалилась. Такой неожиданной абсолютной

победы правды никто не ожидал. Конечно, после этого были доносы о «сговоре» ученых-реакционеров и слухи — в частности, многие воображали, что Дымшиц сделал с роскошным столом, подготовленным им для пиршества после успешной защиты. Дымшиц был, естественно, огорчен и сердит. Меня это коснулось в том, что, принимая у меня через несколько дней аспирантский экзамен, он предъявил мне претензию, почему я в своем ответе уделила больше внимания Канту, чем Чернышевскому, и что это означает с точки зрения идеологии.

Еще до войны мы с Б. М. настолько ощущали взаимную духовную близость и симпатию, что во время войны, когда мы были в эвакуации — Б. М. в Саратове, а я с детским домом, где я работала воспитательницей, в селе Кошки; впоследствии — в Казани в аспирантуре, мы переписывались. Я помню содержание некоторых писем (к сожалению, они не сохранились). Мы обменивались суждениями об эпилоге «Войны и мира». Б. М. интересовался моей работой с детьми школьного возраста. Он любил детей, понимал их психологию и их интересы. Во время болезней жены он ухаживал за детьми. Б. М. рассказывал мне, как он посещал беседу детского врача с родителями в Царском Селе, где они тогда жили. Он был единственным мужчиной среди присутствовавших родителей, а речь шла об уходе за малышами. Доктор вынул грязную пеленку и показал, какой стул должен быть у младенца. Я запомнила, как в 50-е годы Б. М. и Григорий Абрамович Бялый пришли к нам в гости. Моя дочь, которой тогда было лет 5, от робости забилась в угол, но по своей всегдашней привычке прыгала. Мы все жили в одной комнате, и не было возможности увести ребенка в другое помещение. Б. М., желая подбодрить ее и разрядить обстановку, чувствуя, что избыток уважения мешает хозяевам победить скованность, процитировал Гейне: «Fünfundzwanzig Professoren, Vaterland, ich bin verloren!». Когда я родила сына, Б. М. отметил это записью в своем дневнике: «Лидия Михайловна родила хорошенького мальчика». Он пришел к нам домой навестить меня и посмотреть на ребенка.

Б. М. отличался от ученых нашего поколения: мы были «специалисты» определенного профиля, научные сотрудники, ученые. Б. М. был деятель культуры. В сфере его интересов был широкий спектр интеллектуальной жизни общества, многие области искусства. Он был хороший пианист, постоянный посетитель концертов, знаток музыки, по части которой у него были свои пристрастия. Мы с ним не раз бывали в филармонии. Од-

нажды он даже серьезно рассердился на меня за то, что я сказала, что либретто опер Вагнера, которые, как известно, составлял сам композитор, нелепы. Вообще, он не любил, когда я рассуждала о музыке, мои суждения ему казались дилетантскими. Он иногда пугал, шокировал своим формализмом, говоря о музыке и ее законах. В театральном мире он был «свой человек». Актеры обожали его, и он был их первым советчиком. Однажды, после лекции Б. М. Эйхенбаума в театре им. Ленинского комсомола, артист Юрий Толубеев дал шуточный обет: падать на колени перед Б.М. каждый раз, когда он его увидит. Это обещание замечательный артист, работавший впоследствии в Александринском (Пушкинском) театре, неуклонно выполнял.

Эрик Найдич, ученик Б. М., написал об этом стихотворение:

И какое бы ни было место,
Хоть на Невском, где не разойтись,
С громким криком: «Профессор, маэстро!»
На колени бросался артист.

Но в забавном его балагурстве
Обожание, а не игра.
Он частицы всеобщего чувства
В театральном порыве собрал.

А профессор изящный, колючий
Так легко и свободно стоял,
Размышляя о том, как получше
К этой сцене придумать финал.

Кроме музыки и театра, Б. М. любил и высоко ценил цирк, считал его своеобразным видом искусства.

Одним из впечатляющих выступлений Б. М. был доклад, который он сделал на вечере, посвященном поздней поэзии Ахматовой (1946 г.). Анна Ахматова тогда сама читала стихи, она внешне изменилась и несколько пополнела. Наряду с чтением стихов было обсуждение. В своем выступлении Б. М. говорил на тему «война и поэзия». Он отмечал впечатления, которые нашли свое отражение в поэзии Ахматовой этих лет, изменения в строе ее лирики. Наряду с этим он анализировал поэзию Ольги Берггольц, говорил о ее значении. Общая мысль, которая объединяла идеи доклада, состояла в том, что у войны не только мужское, но и женское лицо, и что женщины обогатили духовно и эмоционально борьбу народа и его победу.

Отношение Б. М. к женщинам было сложным. Иногда он шуточно выражал критическую снисходительность к ним. Так, например, он любил надо мной подшучивать, говоря: «Лидочка, признайтесь, что женщины не созданы для науки!». В одном случае я ему возразила: «Как, впрочем, и мужчины, так как иначе, зачем было бы их создавать как мужчин!». Однажды в коридоре Института его снисходительность, может быть, отчасти обидная для сильных женщин, выразилась в таком разговоре. Б. М. шутиво жаловался женщинам, в числе которых были, кроме меня, Екатерина Митрофановна Хмелевская и Евгения Ивановна Кийко, на судьбу и положение своей молоденькой милостивой внучки Лизы, которая, недавно выйдя замуж и желая провести время с молодым мужем в гостинице, оказалась одна, так как ее мужа внезапно забрали в армию. Б. М. сетовал: «Представляете себе: молодая женщина валяется в гостинице в ожидании мужа, а его не пускают к ней! И это в 20 лет!». «А в 30?» — робко возразила Евгения Ивановна. «А в 40?» — вставила я. «А в 50?» — заметила Екатерина Митрофановна. Б. М. обнял нас всех разом и воскликнул: «Ох, бабоньки вы наши, бабоньки!».

Это сочетание строгости и веселости, серьезной научной мысли и способности отзываться на внезапную шутку было одной из черт обаяния Б. М. Во время бурного обсуждения задуманного М. П. Алексеевым проекта полного академического собрания сочинений И. С. Тургенева возник спор по вопросу о том, надо ли давать в этом издании так называемые черновые варианты, то есть воспроизводить первоначальные тексты, которые Тургенев заменил. Мнения разделились странным образом. Представители старшего поколения (в том числе Б. М.), многие из которых были отцами-основателями текстологических принципов нашей школы, были за то, чтобы вариантов этих не давать, а отдельно издавать их в Тургеневских сборниках. Замечу попутно, что эта точка зрения победила, и мне лично пришлось после окончания томов сочинений отдельно готовить черновые варианты двух произведений — «Ася» и «Степной король Лир». После того заседания его участники, разгоряченные спором, вышли в коридор и продолжали обмениваться мнениями. Я, между прочим, в пылу спора «отпустила» замечание на грани фола, сказав Б. М. и М. П. Алексееву: «Вы отказываетесь работать над черновыми вариантами, как Лев Толстой, который в 80 лет проповедовал безбрачие». Чинный и церемонный М. П. широко развел руками и сказал: «Ну, знаете ли!», — другого ответа он не нашел. А Б. М. весело рассмеялся...

В апогее травли Б. М. он, обижаясь как человек на это свинство, сохранял во взгляде на него и исторический масштаб, и юмор. В момент, когда Б. М. только что вышел из больницы и можно было опасаться за его весьма хрупкое здоровье, появилась статья Докусова «Против клеветы на великих русских писателей» («Звезда», 1949, 8, с. 181–189). Статья содержала политический донос на Б. М. вплоть до обвинения его в троцкизме, что было совершеннейшей неправдой. Врачи разрешали Б. М. выходить лишь на 10 минут в день на прогулку. Его отшельнический образ жизни подал его друзьям надежду на то, что удастся скрыть от него этот журнал. Каков же был ужас его ученика Эрика Найдича, когда он, придя к Б. М., увидел у него на диване это издание! Б. М. купил его в газетном ларьке. Он пояснил: «А я всегда сохраняю подобные факты и документы эпохи». Он рассказал о случае, когда вступил в литературную полемику с Троцким, и как его одернул Лебедев-Полянский, напечатав в то время в одной из газет статью, в которой были слова: «Мы не позволим какому-то Эйхенбауму топтать ногой на Троцкого». Б. М. констатировал, что впоследствии он иногда замечал во взгляде на него Лебедева-Полянского некоторую робость, так как оба они помнили этот случай.

Когда нам сообщили поздним вечером, что Б. М. тяжело болен, что он при смерти, наша мама сразу сказала: «Надо сейчас же к нему идти». Попутно замечу, что во время блокады мама посылала мою сестру Лялю (Викторию Михайловну), которая тогда работала квартирным врачом, обойти всех больных мужчин в доме и сделать им уколы камфары. Ляля сама была измученная во время войны и блокады, приходила с тяжелой работы, хотела отдохнуть. Но мама накидывала на нее пальто и просила пойти. Мы пришли к Б. М. От него уходил врач, выхоленный, нарядный мужчина, который перед уходом долго смотрелся в зеркало, поправляя шляпу. Его вердикт был ужасным: никакой надежды нет. Виктория осмотрела Б. М. и пришла к выводу, что ситуация действительно очень тяжелая, но она все же пробовала действовать. Здесь сказались ее решительность и профессиональное умение. Она послала Эрика Найдича за лекарством в аптеку у Московского вокзала (там ночью была дежурная, и можно было приобрести необходимые ампулы). После укола Б. М. стала немного лучше. Его организм стал сопротивляться. С тех пор Виктория Михайловна посещала Б. М. в течение его долгой и тяжелой болезни каждый день. После выздоровления Б. М. подарил

ей свою фотографию с надписью: «Жив!?!». Б. М. посещали многие ученые, которые работали с ним, и квартира больного вскоре стала местом встреч с друзьями. Мне запомнились такие постоянные посетители Б. М., как Николай Иванович Мордовченко, Владимир Николаевич Орлов, Михаил Эммануилович Козаков (писатель, отец известного артиста) и другие. Люди, которые навещали больного Б. М., знали о его тяжелом материальном положении; из «критики» в его адрес были сделаны «оргвыводы»: он был уволен со всех должностей и лишился всех договоров. Семья его осталась без всяких средств. Очевидно, ему по мере сил помогали, но это не афишировалось, и конкретные случаи мне как-то не запомнились.

Виктория Михайловна написала статью на животрепещущую тогда в медицинской среде тему, в которой была затронута история болезни Б. М. Между московскими и ленинградскими чиновниками от медицины шел тогда принципиальный спор, как поступать с больными инфарктом. Москвичи решили, что инфаркт надо лечить в стационаре и издали об этом специальное постановление, обязательное для врачей. Ленинградский Горздрав, напротив, запретил больного передвигать. Виктория Михайловна, подводя итоги своей практике, опубликовала статью в медицинском журнале «Тактика врача у постели больного инфарктом миокарда», где Б. М. присутствовал как «больной Э.». Виктория Михайловна доказывала, что лечение не может вестись по стандарту, что если домашние могут обеспечить уход, не уступающий больничному (как в случае с Б. М., когда за ним ухаживала Ольга Борисовна, его дочь), то целесообразно не перевозить больного. Если же такой гарантии нет, предпочтительна больница. Б. М. смеялся, узнав об этой статье. Он говорил, что он, несмотря на все запреты, проник в печать, и его даже поставили другим в пример.

Б. М. юмористически выражал свою гордость, когда ему стало известно, что университетское начальство в кризисные дни его болезни запросило, как реагировать на его смерть, и что высшие инстанции дали распоряжение «хоронить по первому разряду». При всей лицемерности этого постановления в нем проглядывалось затаенное сознание исторически объективного значения жертвы административно-газетных гонений. Когда болезнь Б. М. стала отступать, его перевели в больницу, где работала Виктория Михайловна. Некоторое время он лежал у нее как пациент.

Между тем его ученику Эрику Найдичу выпало счастье найти рукопись Лермонтова с неопубликованными стихами. Руко-

пись хранилась в Публичной библиотеке в Ленинграде, в архиве Евдокии Ростопчиной. Эрик Найдич понял, что это рукопись Лермонтова по почерку и по рисунку на полях. Никто этого не подозревал, и он получил у дирекции библиотеки разрешение вынести эту рукопись для консультации с Б. В. Томашевским. Борис Викторович внимательно посмотрел рукопись и отвел все сомнения. Внизу ее стояла густо чернилами зачеркнутая фраза, которую Б.В. прочел: по-французски рукой Ростопчиной было написано «Manuscrit de Lermontoff». У Бориса Викторовича была исключительная способность читать зачеркнутое. По дороге обратно в Публичную библиотеку Найдич заехал в больницу и, войдя в палату, прямо в дверях поднял и показал Б. М. листок бумаги с рукописью. Б. М. сразу откликнулся со своей кровати: «Ага! Лермонтов!». В обнаруженной Найдичем рукописи оказались неизвестные эпиграммы Лермонтова. Найдич их изучил, составил к ним комментарий и опубликовал.

К возвращению Б. М. друзья, посещавшие его, решили приурочить какой-то подарок. Все знали, что рояль его был продан, и возникла идея купить ему какой-то инструмент. На пианино денег, конечно, не хватало, и купили фисгармонию. Это было не совсем то, что надо, но Б. М. был очень доволен и, оказавшись дома, играл на этом инструменте.

При первой возможности Б. М. вернулся к научной деятельности. Он стал готовить сочинения Я. П. Полонского. В том, чтобы ему разрешили получить этот договор, приняли участие Г. П. Макогоненко и В. Г. Базанов. Эта работа имела для Б. М. двойное значение: он получил материальную поддержку, и по мере подготовки издания здоровье его стало поправляться. В возвращении его в науку он ощутил и моральную поддержку общества: в его силу еще верили. Он был еще *Эйхенбаум*.

После тяжелой болезни Б.М. прожил еще 10 лет, он много работал и отдыхал в Комарове. В Комарово мы (я и Оля Билинkis, работавшие над восьмым томом Гоголя) ездили к нему советоваться по текстологическим вопросам, когда мы срочно должны были сдавать том, а Борис Викторович Томашевский, наш редактор, был в Гурзуфе, на отдыхе. Мы гуляли на закате около знаменитого шлагбаума в Комарове. Б. М. написал двестишесте: «Всю ночь маячит у шлагбаума / Блестящий череп Эйхенбаума». Я сказала: «Такой прекрасный вечер! А ведь пройдет время, и это забудется». Б. М. возразил мне: «Такие вечера, такие впечатления не забываются». Впоследствии именно эти слова Б. М. прочно сохранились в памяти.

Б. М. был смолоду поэтом и какое-то время даже связывал свою будущность с поэзией. Но в зрелом возрасте его привязанность к стихотворному жанру выражалась главным образом в сочинении шуточных стихов и надписей на книгах (он в шутку себя называл «подписатель»). Одно из таких больших стихотворений он написал на книге, которую мы сами купили: *С. П. Жихарев. Записки современника* / Редакция, статьи и комментарии Б. М. Эйхенбаума. М.; Л.: Издательство Академии наук, 1955.

Напрасно купили вы эту дичь,
Товарищи Лотман и НайдИч!
Лучше подумали б о бутерброде
Или о чем-нибудь в этом роде,
Или купили бы два билета
В Театр оперы и балета...

Впрочем — в статьях Б. Эйхенбаума
Много таланта и много ума;
Что же касается до примечаний, —
На них удивляются англичане!
Однако прошу вас, милые дети:
Читая статьи, примечанья эти,
Не забывайте об авторе их,
Для вас написавшем этот стих.

27 апреля 1956 г.

У Виктории Михайловны было твердое убеждение: Б. М. может все делать — гулять, работать за письменным столом, но ему ни в коем случае нельзя выступать публично. Она всячески старалась ему это внушать. Но, как в сказке, он нарушил запрет, и это его погубило. Анатолий Мариенгоф, который тоже подвергался литературным нападкам и тоже не мог беспрепятственно выступать в печати, старый приятель Б. М., обратился к нему за помощью. После большого перерыва в Доме писателей должен был быть вечер, посвященный его творчеству. Мариенгоф позвонил Б. М. из больницы и стал его просить, чтобы он обязательно выступил на этом вечере. Чтобы отсечь Б. М. путь к отказу, он сказал: «Если ты не выступишь, я умру». Б. М. поехал выступать с дочерью Ольгой Борисовной. Он должен был предварять своим выступлением вечер, в котором предполагалось выступление артистов. Вид зала еще до начала выступлений не понравился Б. М. Это была нарядная публика, в которой явно заметны были поклонники молодого артиста Игоря Горбачева, пользовавшегося

тогда большим успехом. Уже начало вечера разочаровало публику: Игорь Горбачев не успел приехать из Риги. По залу пронесся шумок разочарования. Ольга Борисовна, справедливо отмечает, что Б. М. всегда очень хорошо чувствовал зал, а в данном случае был огорчен и растерян. К тому же его организм явно был не готов к такому большому напряжению. Его выступление длилось меньше 15 минут. Он завершил его словами: «Надо вовремя закончить. Я все сказал». Раздались жидкие аплодисменты. Ольга Борисовна вспоминает: «Я видела, что у него одышка, положила ему ладонь на руку и сказала: „Ты очень хорошо выступал“. Он покачал головой, видно, не мог говорить из-за спазма? Я отвернулась, чтоб он справился с собой, и плечом ощутила, что он вздрогнул. Я посмотрела — он был мертвый...»¹⁰.

В 1921 году в статье, посвященной смерти Блока и Гумилева «Миг сознания», Б. М. писал, что бывают моменты, когда человеку внезапно откроется ограничение его поколения во времени. Он ощущает, что история уже вставила это поколение в жестокие, железные рамки, что ничего уже нельзя изменить, оно уже в цепях истории, с которой до того так дерзко заигрывало. «Наступает миг сознания, тихая минута ужаса [...] В эти тихие минуты ужаса и сознания люди ломают свою жизнь [...] стреляются или просто умирают». Б. М. «просто умер». Мысль о смерти, о том, что нужно кончать с жизнью, ему приходила и в детстве, и в 1946 году при соприкосновении с проявлением грубого, обывательского непонимания и хамства. Этот дух обывательского хамства он ощутил и в не понимавшей его аудитории. Смерть Б. М., как и смерть Б. В. Томашевского, была героической, это была смерть человека железной воли, профессора-профессионала и мыслителя.

5. Борис Викторович Томашевский

В пору своего пребывания в университете я слушала два курса Бориса Викторовича Томашевского: спецкурс «Пушкин» и курс «Поэтика». Уже тогда Б. В. был известным текстологом, блестящим знатоком тонкостей поэтики и стилистики. Оба курса отличались богатством материала, строгим построением,

¹⁰ Из воспоминаний О. Б. Эйхенбаум. В кн.: *Эйхенбаум Б. М. Мой временник*. СПб., 2001. С. 612–645.

деловитостью и ясностью выражения авторской мысли. Я познакомилась с Б. В. лично, когда мы оба работали в Пушкинском Доме: Б. В. как заведующий рукописным отделом, я сначала как научно-технический, а затем как младший научный сотрудник. Я занималась по преимуществу в читальном зале рукописного отдела, на первом этаже. Вход в этот отдел был из большого зала, в углу которого находилась дверь, ведущая во внутренние помещения архива. Здесь был и кабинет Б. В. Мы встречались с Б. В. на заседаниях, а иногда в «проходном» зале архива около памятника Веселовскому, сидящему в кресле.

Вокруг этого памятника происходила длительная трагикомическая борьба, характерная для того времени. А. Н. Веселовский — замечательный русский ученый, академик, один из основателей сравнительно-исторического метода в поэтике, умерший в начале XX века, внезапно подвергся «разоблачению» и бурным нападкам советских властей. Дело в том, что некоторые советские ученые, прежде всего Виктор Максимович Жирмунский, высоко ценили деятельность Веселовского и его идеи о закономерностях развития литературы и фольклора. Появился ряд научных статей, посвященных данной проблеме. Внимание надзирающих за наукой органов было возбуждено тем, что русские литература и фольклор ставятся в один ряд с аналогичными явлениями в других культурах, и тем самым их оригинальность как бы подвергается сомнению. Как писал Некрасов: «... в вашей книге есть / Такие дерзкие места, / Что оскорбилась чья-то честь / И помрачилась красота». В Пушкинском Доме проводились заседания, разоблачающие давно ушедшего из жизни Веселовского. Хозяйственная часть Института сделала из этого свой вывод. Решили, что большой мраморный памятник Веселовскому дискредитирует Институт. Зам. директора по хозяйственной части распорядился закрыть Веселовского шкафами. Но шкафы загородили помещение, и было указано, что нельзя загромождать проходы из противопожарной безопасности. После этого тот же начальник додумался надеть на голову Веселовскому ящик. Я вышла из читального зала архива и обомлела. Обратившись к инициатору этого замечательного решения, я сказала: «Вы берете на себя большую ответственность. Памятник зарегистрирован в инвентарных книгах и имеет большую ценность как художественное произведение. К тому же мрамор — хрупкий материал, и любая царапина может вам доставить большие неприятности, а может быть, и материальные убытки». Б. В.,

который вышел из своего кабинета, горячо поддержал меня и окончательно напугал бедного хозяйственника. Тот осторожно снял ящик и больше к этой идее не возвращался. Тогда памятник замаскировали серыми простынями, но сотрудники пугались, когда вечером выходили из архива. Простыни пришлось снять. На этом дело не кончилось. Дирекции явилась гениальная идея передать памятник в Русский музей. Через несколько дней пришла комиссия из музея, состоящая из ученого-искусствоведа и его ассистентов. Руководитель комиссии мне показался симпатичным. Он стоял свободно, жестикулировал и был в хорошем расположении духа. Свое заключение он выразил в простых и очевидных выводах. «Скульптура хорошая, высокого качества, автор известный — В. А. Беклемишев. Статую мы можем взять в запасник и со временем выставить. Но демонтировать этот памятник и перевезти его в Русский музей — огромная работа, которая будет стоить больших денег: он очень тяжелый и хрупкий. Она должна быть осуществлена за счет средств Пушкинского Дома». Денег в Институте не оказалось, и вся эта эпопея, как и многие другие проекты, закончилась ничем. Как назло, вскоре наш Институт посетил какой-то представитель Обкома с целью проверки. Пройдя мимо памятника, он сказал: «Хороший у вас бюст молодого Маркса!». Так вопрос был исчерпан. Это происшествие может показаться легендой, и действительно имеет все основания стать петербургской легендой. Но, к сожалению, это истинная правда, к тому же характерная.

Я иногда задерживалась в помещении Пушкинского Дома после рабочего дня. Я получила на это разрешение, так как жила в общей комнате с большой семьей и не могла дома заниматься. Однажды в то время, когда я там работала, началось наводнение. Вода доходила до самой кромки берега — набережной в то время около Института не было. Дежурная по зданию вызвала по телефону Бориса Викторовича. Так я пробыла с ним до того времени, когда вода начала понемногу убывать. Мне это было очень интересно, потому что я могла наблюдать его хладнокровие и деловитость. Все-таки его ответственность как заведующего рукописным отделом, в котором хранились все рукописи Пушкина и многие другие бесценные манускрипты писателей, была велика. Мне было страшно, но Б. В. был бодр и деловит, как командир перед сражением. Я спросила его, не надо ли вызвать на помощь и других сотрудников, а он ответил мне, что это наводнение — небольшое и скоро река уймется. Впоследствии я всегда о Б. В.

говорила одну и ту же фразу: «Это мужчина, который во время пожара первым не выскочит в окно».

Борис Викторович по своему характеру отличался от большинства филологов. Он был воинствующим рационалистом, высоко ценил разум. Он получил математическое образование. Во время заседаний, которые иногда очень долго длились, Б. В. начинал возиться с проводкой (он был еще и электрик). В большом зале он снимал всю проводку, сворачивал ее клубком и, некоторое время посидев, водружал всю ее на место. (Конечно, это было днем.) Очевидно, бесконечные речи коллег бывали для него невыносимы. Однажды я, почувствовав то самое томление, которое постоянно чувствовал Б. В., взяла во время длительного заседания мощный аккорд на рояле, находившемся в зале. Наша реакция проявлялась сходным образом.

Имея математическое образование, Б. В. был одним из тех филологов, которые стремились применять объективные, точные методы к изучению текста. Он был близок к Пражскому лингвистическому кружку. Его книга «Теория литературы» уже в 1932 году была переиздана шесть раз. Затем она неоднократно переиздавалась за рубежом, а в Советском Союзе она долгое время не переиздавалась, так как была объявлена формалистической. В настоящее время это одно из самых популярных пособий при изучении поэтики и стилистики.

Требования Б. В. к научной работе были ясны из его отзывов, которые были коротко и четко сформулированы. Несколько раз он выражал свое мнение о дипломных работах короткой формулой: «Тут мне нечего сказать. Все верно». Б. В., будучи человеком ясного и твердого ума, легко раздражался на глупость и ограниченность отдельных людей и на нелепость ситуации. При этом он бывал очень резок и даже груб. Мне не раз случалось пытаться смягчить опасную ситуацию, которая возникала от этих его «взрывов». Когда я ему представила первую главу моей диссертации, он прочел и сказал: «Ну, это вы написали для самообразования». Я очень долго работала над текстом, и мне было обидно. Но я не могла не признать, что в этом была доля справедливости. Я, действительно, впервые углублялась в материал, о котором писала. Гораздо обиднее получилась его реакция на диссертацию нашей сотрудницы — женщины очень прилежной, добросовестной, но, как ему показалось, недостаточно творчески самостоятельной. Он набросился на нее и не только раскритиковал ее, но и изругал. Мне очень жаль было диссер-

тантку, которая была моей подругой, и я побежала уговаривать Б. В., чтобы он смягчил свой отзыв и извинился. Конечно, поколебать мнение Б. В. о работе было невозможно, но он почувствовал угрызения совести за обидный разговор с прилежной дамой и в следующую встречу с ней более мягко и понятно объяснил ей свои требования. Между ними состоялось примирение. Другая моя попытка сгладить вспыльчивость Б. В. была связана с его конфликтами в дирекции: директор Института Н. Ф. Бельчиков сделал Б. В. замечание, что он выдал рукопись читателю, которому, по мнению директора, выдавать ее не следовало. Б. В. расвирипел и по-своему отомстил директору за его вторжение в распоряжения заведующего архивом. В это время Бельчиков дал разрешение представителям киностудии на съемку рукописей Пушкина. Б. В. стал категорически возражать против съемок подлинников пушкинских рукописей. Киношники были в полном недоумении. Им не давали рукописи, Б. В. объяснял им, что облучение рукописей опасно и вредно, что рукописи Пушкина существуют в одном экземпляре, и их реставрация невозможна. Время шло. Я стала уговаривать киношников, чтобы они нашли какой-то компромисс, не очень жестко требовали и договорились об отдельных рукописях, которые можно показать. При этом я говорила им: «Вы понимаете, эти рукописи стоят огромных денег — миллионов». Б. В. набросился на меня со страшным остервенением: «Ну, давайте, выкладывайте свои миллионы и раздобудьте где-нибудь рукописи Пушкина! Вы их не найдете и за миллионы!». Однако он постепенно остывал. Компромисс был найден. А меня Б. В. прозвал «жена-мироносица». Вспоминается еще один случай, когда Б. В. был очень суровым в своей критике. «Начальственный» литературовед Бабкин написал книгу о Радищеве, и пошли слухи, что часть его работы — плагиат, что он «заимствовал» ее у своих предшественников. Б. В. привлекли как эксперта. Он «защитил» Бабкина, но своеобразно. Его заключение состояло в том, что работа очень плохая, и так плохо мог написать только Бабкин, т. е. плагиата не было.

Когда обсуждалось издание второго тома «Мертвых душ» Гоголя, прошел слух, что в Москве нашли рукопись этого произведения, что вызвало в Ленинграде любопытство и даже некоторую панику: где была эта рукопись, никто не знал, слухи были темными. Эту историю мы обсуждали. Б. В. выдвинул свою гипотезу. Он встал, ударил кулаком по столу и сказал: «Очевидно, Храпченко просто впервые прочел сохранившиеся части

второго тома „Мертвых душ“, что-то рассказал по этому поводу, отсюда и пошел этот слух». Храпченко был большим чиновником в литературоведении, секретарем бюро Академии наук. Мы посмеялись, а слух о новонайденной рукописи действительно не подтвердился.

В ленинградской окололитературной среде распространилось известие, что таинственным образом найден текст десятой главы «Евгения Онегина». Когда этот текст предъявили Томашевскому, он сразу определил, что это фальсификация. Во-первых, в нем содержались сведения, ставшие известными лишь недавно, в результате открытий советских декабристоведов. А кроме того, приписываемый Пушкину текст отличался «непушкинской тяжестью». Впоследствии Ю. М. Лотман и его сын Михаил Лотман убедительно доказали, что текст, приписывавшийся Пушкину, был создан в 1940-х – 1950-х годах¹¹.

Способность Б. В. внезапно вспылить и откровенно выразить свои чувства сочеталась с мягкостью. Однажды я пришла в Институт очень огорченная. У моей четырехлетней дочки случилась беда: у ее куклы-мальчика попросту отвалилась голова. Она рыдала над ним и ломала руки. Я побежала по мастерским, но никто не брался починить куклу. Б. В. осмотрел куклу со всех сторон: голова и руки у нее были керамические, а туловище тряпичное. После осмотра он установил, что голова с шеей были просто засунуты в тряпичное туловище и зашиты. Он насадил голову на туловище, тут же достал откуда-то большую иголку с ниткой и объяснил, как надо зашить дырку, чтобы голова хорошо держалась. После этого он спросил меня: «Сколько лет вашей дочери?» — «Четыре года.» — «Пора учить грамоте», — сказал Б. В. сурово. Придя домой, я отдала куклу ликующей дочке и строго сказала о необходимости учиться читать. Моя свекровь — по специальности педагог-дефектолог — приняла это к сведению... Через неделю, войдя в комнату, я увидела, что моя дочь сидит на диване, положив ножку на ножку, и бегло читает книгу старенькой прабабушке.

Совершенно другие особенности своего характера Б. В. проявил в дни, когда разворачивалась «антикосмополитическая кампания». Два наших заслуженных и уважаемых профессора Н. К. Пиксанов и В. А. Десницкий нашли нужным в момент на-

¹¹ Лотман Ю. М., Лотман Мих. Ю. Вокруг десятой главы «Евгения Онегина» // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1986. Т. 12. С. 124–151.

ибо более острой травли Гуковского напечатать в стенгазете нашего Института разносные статьи по поводу его очень хорошего доклада о Гоголе. Б. В., находясь в толпе читателей стенгазеты, громко оповестил всех, что ему необходимо вымыть руки, так как он по неосмотрительности в вестибюле подал руку Пиксанову, но что он в затруднении, так как уборная занята, а других мест, чтобы вымыть руки, в нашем учреждении нет. Еще он утверждал, что только в уборной в Пушкинском Доме можно дышать. Все это он говорил, будучи многолетним сотрудником Пушкинского Дома, много сделавшим для обогащения его коллекций и горячо любившим работу в нем.

Во время «антикосмополитической кампании» и нападков на формализм Б. В. утверждал, что при необходимости может вернуться к занятиям математикой — ведь он мог ее преподавать в вузе и одно время действительно преподавал. Б. В. шутливо подбадривал Григория Абрамовича Бялого, которому, конечно, при «борьбе с космополитизмом» грозило увольнение, говоря, что он тогда возьмет его к себе в ассистенты на кафедру математики. Бялый возражал: «Я даже таблицу умножения забыл.» — «Ничего, вспомните, вы — человек способный», — говорил Б. В.

В связи с этим вспоминается один эпизод, тоже произошедший в период «антикосмополитических проработок». Во время обсуждения вопроса о том, как следует вести себя на собраниях, где профессура подвергалась несправедливой критике и оскорблениям, Б. В. занял позицию непримиримости и нежелания в любой форме сотрудничать с гонителями академической науки. В отношении себя он прекрасно понимал, что обвинение его в «формализме» является продолжением тех давних нападков, которым он подвергался в 20-х годах как представитель научного течения, получившего прозвание «формализма» и официально жестоко преследовавшегося. Он отказывался каяться, резонно возражая: «Насколько я понимаю, меня обвиняют в том, что я читаю курсы поэтики и стилистики и что, следовательно, я формалист. Факультет поручил мне читать эти курсы, так как, очевидно, его руководители считали, что студенты должны знать отличие ямба от хорея. Если теперь вы не считаете это желательным, не поручайте читать мне эти курсы, и я не буду». Он ни разу не выступал на собраниях и не занимался самобичеванием.

Как человек рациональный, Б. В. страдал от столкновения с глупостью, всегда его лучшим комплиментом было «ясный ум». В Москве большим авторитетом пользовался редактор

издательства Корчагин. Он руководили и нашими работами, в частности, подготовкой академического собрания сочинений Гоголя. Это был человек очень квалифицированный, он работал еще с Брюсовым. Но его авторитарность, его стремление подчинить себе, своей точке зрения, настойчивость, умение повлиять на высшие инстанции Б. В. безумно раздражали. Б. В. однажды на моих глазах, разговаривая с ним, сломал стул, причем стул был не простой — это было старинное кресло из красного дерева. Он его разломал, потому что его угнетала настойчивая неподвижность ума этого редактора.

Мы с Б. В. готовили восьмой том Гоголя. В этой работе принимали участие Георгий Михайлович Фридлендер и Ольга Борисовна Билинкис. В томе была вся поздняя публицистика, критические и философские произведения Гоголя. Тогда эти произведения вообще в грубой форме аттестовались как реакционные и мракобесные. Работа была очень срочная, мы читали и сверяли подлинную рукопись Гоголя с ее изданиями, работали даже ночью. Рукопись прислали из библиотеки им. Ленина (Москва), и я очень волновалась за ее сохранность, так как специально оборудованных мест для ее хранения у нас не было. Я запирала ее у машинисток, потому что там был шкафчик с очень затейливым ключом. И я говорила, что очень волнуюсь за рукопись Гоголя, а одна из машинисток мне возражала: «Что вы! Мы тут пальто оставляем!». В Институте была вахтерша Серафима, которая бегала к нашему директору, к Бельчикову, и доносила, что Лотман и Хмелевская по ночам тайно читают «божественное». Б. В. уехал к себе на дачу в Гурзуф, а нас очень торопили с тем, чтобы мы сдали том. Для этого специально из Москвы приехал редактор Корчагин. Мы писали Б. В. письма, и он нам очень остроумно отвечал. В частности, у нас возникла такая проблема. «Спаситель», как слово, связанное с религиозным культом, по цензурным правилам надо было писать с маленькой буквы; в то же время «креститель», как имя, нужно было писать с большой. Между тем, эти слова в текстах Гоголя стояли близко друг от друга. Борис Викторович на это ответил, что спаситель с маленькой буквы — это тот, кто действительно спас, а Спаситель с большой буквы — это имя собственное. И в том и в другом случае слово обозначает одно и то же лицо и выражает одинаковое к нему отношение.

Когда Б. В. не было, а письма от него шли слишком медленно, мы обращались к Б. М. Эйхенбауму за консультациями. После того как мы кончили работу над восьмым томом и сдали его

окончательно в издательство, мы решили сделать подарок Борису Викторовичу. Из одного экземпляра шестого тома Гоголя мы сделали коробку. В нее мы поместили шоколадки, каждую из которых завернули в бумажку, разрисованную карикатурами, связанными с нашей работой над томом. Увидев обложку тома, где мы вместо римской цифры VI вывели VIII, Б. В. рассвирепел. Он закричал: «Кто позволил?! Я не подписал к печати! Я арестую весь тираж!». Но открыв коробку и увидев там конфеты, он схватил их подмышку и побежал рассматривать их в кабинет. На одной из карикатур Б.В. узнал себя сидящего над рукописями при свете луны. Я извинилась, что его волосы на картинке покрашены в рыжий цвет, а он, растрепав свои рыжеватые волосы, сказал: «Рыжий — это хорошо! Значит, еще что-то осталось!».

Большим событием для нас всех было 60-летие Б. В. Эту дату в Институте было решено не отмечать — он не был в почете у начальства. Мы организовали поздравление «снизу». Инициатором были главным образом младшие научные сотрудники и другие «неважные персоны». Очень большую активность проявила Катя Хмелевская, сотрудник издательского отдела и моя старшая подруга, которая слушала лекции Б. В. еще в Институте Истории Искусств. Участвовали и сотрудники многих других Отделов. Прежде всего, мы собрали деньги. С особенным упорством собирали мы их у сотрудников богатых и не любивших Б. В. Затем мы произвели предварительную разведку и установили, что в продаже есть много картин — и хороших, причем они не очень дороги. Но есть также и большие антикварные сервизы, поступившие из Германии. Некоторые из них, имевшие небольшие изъяны, были уценены и более доступны. Екатерина Митрофановна Хмелевская предложила нам посмотреть картины, которые ее родственники, бывшие в родстве с семьей Бенуа, готовы были продать. Она утверждала, что одна из этих картин, пейзаж, считалась принадлежащей кисти Бенуа, а другая — изображавшая Татьяну на балконе при восходе солнца — произведением Самокиш-Судковской. Я настояла на том, что картины нужно предварительно показать Б. В. под видом совета с ним по художественным вопросам. Он сначала повертел в руках пейзаж, изображающий, как мы считали, крымскую степь, столь дорогую его сердцу. Прежде всего он легко прочел трудно читаемую подпись художника и разочаровал нас, сказав, что это Альберт Бенуа, а не его более знаменитый как художник брат Александр. Кроме того, там оказалась совершенно мало заметная подпись:

Vue de Corse («Вид Корсики»). Показывая ему «Татьяну», мы совсем оробели и «поджали хвосты». После этого мы решили пойти в магазин, где был большой выбор картин. Мы обратили внимание на картину Серебряковой, изображавшую русскую женщину около печи — рядом с ней стояла крынка. Я отвела предложение подарить эту картину, так как мне она показалась слишком громоздкой. Всем очень понравилась маленькая картина, которая, кстати, стоила очень недорого. Она приписывалась (под вопросом) художнику Н. Ге и изображала Гефсиманский сад и стражников, хватающих Христа. Я также отвергла этот подарок, так как решила, что она вызывает тяжелые и достаточно современные ассоциации, и Б. В., подымая глаза от работы, будет вынужден видеть сцену ареста. После долгих обсуждений мы решили купить великолепный столовый майсенский сервиз. У нас была большая компания, были и мужчины: Г. А. Бялый и В. Н. Орлов. Бялый все время просил купить маленькую серебряную позолоченную ложечку. В результате мы купили и сервиз, и солонку, и ложечку, и еще какую-то серебряную ложку. Все это было завернуто в большой пакет, который взялся доставить юбиляру В. Н. Орлов. Он сам следил за упаковкой, потом важно пошел по Невскому, щеголеватый, с толстой тростью, сопровождаемый двумя толстыми женщинами — помощницами из магазина, которые несли подарок. Как выяснилось на следующий день, Б. В. и Ирина Николаевна испытали шок, увидев такой подарок. Но потом Б. В., как свойственно было его аналитическому уму, стал анализировать содержание пакета. Первое, что ему бросилось в глаза, была полная опись предметов сервиза с обозначением цены каждого предмета. Услышав это на следующий день от Б. В., мы охнули, но он сказал: «Что вы?! Это было самое интересное. Мы с Ириной Николаевной целый вечер сверяли подарок с описью». И тут же он заметил: «А где две маленькие тарелочки?». Дело в том, что сервиз был неполный, и некоторых предметов не хватало. Поэтому для «усреднения» две тарелочки были спрятаны в шкаф у Екатерины Митрофановны (по сравнению с другими предметами они оказались лишними). Катя Хмелевская открыла шкаф, вынула тарелочки и дала их Б. В. Я от себя сделала Б. В. отдельный подарок. В Тарту была чудная рукодельница, изготавливавшая игрушечных зверей из кусочков шерсти. Ее игрушки, каждая из которых имела свой характер, любили и взрослые, и дети. Этой женщине я заказала для Б. В. игрушечного тигра. Ю. М. Лотман, мой брат, взялся проследить, чтобы эта игрушка

была своевременно изготовлена и попала ко мне в Ленинград. И о чудо! Тигр, крепко стоящий на рыжих веснушчатых ногах, с лихо закрученным хвостом и с твердой, решительной постановкой корпуса оказался чем-то похожим на Б. В., хотя мастерица никогда его не видела. Когда Б. В. увидел в моих руках закрытую коробку, он, получив только что ценный подарок, испугался. Но когда он приоткрыл крышку коробки и увидел рыжие веснушчатые лапы, он закрыл ее и без разговоров унес в свой кабинет. На следующий день он сказал мне и Кате Хмелевской: «Ирина Николаевна говорит, что очень похож».

Б. В. был большим знатоком не только литературы, но и других видов искусства. Он любил музыку, у него дома был замечательный рояль, на котором практиковался Рихтер, когда приезжал в Питер. Игрой Рихтера восхищались все окружающие, правда, кроме соседа снизу, милиционера, которому «мешал шум». Еще Б. В. любил кино, особенно фильмы в стиле неореализма. Мы обсуждали с ним кинофильмы «Похитители велосипедов», «Антуан и Антуанетта», «Плата за страх», которые ему нравились, а я порывалась критиковать за отдельные, как мне казалось, спорные элементы. Когда же я посмотрела очень восхитивший меня фильм «Умберто Д.» (режиссер Витторио де Сика), я подумала, что его герой — старый бухгалтер на пенсии — больше похож на престарелого профессора-филолога, даже я бы сказала на Б. В. Это сказывается и в том, как он прощается со словарями, которые продает, и в том, как разговаривает с девушкой, помогающей по хозяйству. И действительно, как я потом узнала, героя играл филолог. (Де Сика любил снимать не профессиональных актеров, что, кстати, мне не всегда нравилось.) Так что в данном случае мои наблюдения оказались правильными.

Б. В. был замечательным полемистом, особенно когда сердился. Помню, как он критиковал официальную бумагу, которая пришла в наш Институт из Бюро Отделения Академии наук. Академические начальники сообщали, что научные труды проходят медленно подготовку к печати, и работа затягивается. Б. В. начал с того, что работа над рукописями для научных изданий затягивается потому, что многие авторы пишут недостаточно литературно и их труды требуют усиленного редактирования, а также и потому, что научные труды проходят в Москве рецензирование очень длительное время. Под этим углом зрения он рассмотрел тот рескрипт из Бюро Отделения, который содержал указания, как должна строиться работа. Прежде всего, он рас-

смотрел его с грамматической точки зрения и обнаружил в нем много недостатков. Текст этот сам по себе требовал редактирования и исправления. Кроме того, шел он из Москвы в Ленинград целый месяц. Таким образом, на примере этого документа Б. В. доказал, что основной вред наносят бюрократическая волокита и неквалифицированная работа. В эти годы были большие споры вокруг проблем текстологии. К сожалению, я не могу воспроизвести блестящую речь Б. В. на первой текстологической конференции в Москве. Полемике по вопросам текстологии придавали политический оттенок, как было принято тогда. Б. В. очень резко полемизировал с московскими текстологами, которые, в свою очередь, решительно выступали против принципов, сформированных ленинградскими учеными — прежде всего Томашевским, Эйхенбаумом, Цявловским и др. Б. В. отстаивал принцип академической объективности, свободы исследования и отказа от всех нормативных постановлений, считая главным критерием разум, объективность и честность ученого. Он утверждал, что признание одного из вариантов текста каноническим — признак нормативного, мифологического мышления, которое было ему чуждо. Он был сторонником научной мысли и в этих вопросах. Споры были горячими и, как нередко бывает, даже завершились дракой более молодого поколения москвичей и ленинградцев в ресторане.

Я ехала обратно в поезде с Б. В. и прочла ему довольно хилое стихотворение про эту конференцию и маленькое четверостишие под многозначительным названием «Жизнь» собственного сочинения: «На этот краткий, горький миг / Тебе даны земля и небо, / И благодать воды и хлеба, / Любовь, и труд, и мудрость книг». Б. В. доброжелательно сказал: «Кажись, все перечислено». Впоследствии Аркадий Семенович Долинин, замечательный знаток Достоевского и старый романтик, про это мое стихотворение сказал: «Поэзия здесь и не ночевала».

Помню случаи снисходительности Б. В., когда мои шутки, к моему собственному ужасу, «переходили через край». Однажды я сидела в буфете Института и ела очень невкусный салат. Пришел Б. В. и с шутливым видом, приветствуя меня, приложил два пальца ко лбу, на что я сказала: «К пустой голове руку не прикладывают». Сказав это, я сама ужаснулась. Дело в том, что после войны эта глупая шутка была распространенной, и я не подумала о ее двусмысленности. Б.В. смолчал. Через некоторое время мы обсуждали с ним один производственный вопрос, и я сказала: «Это, наверное, надо посмотреть в книге». — «Вот возьмите и сами

посмотрите!» — сказал Б.В. довольно резко. Я удивилась, а Б. В. добавил: «Ну, ну, ну! Не обижаться! Я от вас не такое слышал!».

Будучи рационалистом, Б. В. любил книгу во всех ее аспектах, включая и материальную сторону. Он был знатоком всех стадий работы над книгой, включая редактирование, подготовку комментария и т. д. Он изучал природу ошибок. Б. В. признавал значение того, что казалось мелочами, например, знаков препинания, выбора одного из вариантов написания. Например, в числе вопросов, которые мы адресовали ему в одном из писем в Гурзуф, было: как писать имя героя Мельникова-Печерского — Патап или Потап (в книгах писалось через «о», а сам автор писал через «а»). Б. В. ответил очень серьезно: Мельников-Печерский был волжанин, для него это различие было существенным, и если он писал через «а», то скорее всего так и произносил. Так что сохранение «а» имеет основание. Б. В. мог быть суровым, но умел разглядеть и оценить способность к работе. Например, он очень рано привлек к научной работе моего брата Юрия Михайловича. Еще в довоенное время, когда Юра был студентом, он участвовал в составлении сборника «Писатели о литературном труде». Тогда у Юры возник спор с редактором, велевшим сократить статью о Ломоносове. Не соглашаясь с ним, Юра пригрозил, что в таком случае он заберет всю статью. «Самонадеянный молодой человек», — пожаловался редактор Томашевскому. «А на кого ему надеяться?» — ответил Б. В. и добавил: «Этот молодой человек что-то о себе знает».

Б. В. утверждал, что есть два типа ученых-литературоведов: текстологи и интерпретаторы. Я спорила с ним, считая, что настоящие литературоведы совмещают эти аспекты. Я говорила: «А вы? А Эйхенбаум, а Бонди?». Но Б. В. настаивал на своем.

Когда Б. В. умер, я лежала в больнице. Перенести известие о смерти Б. В. было очень тяжело. Чтобы облегчить свои переживания, я написала стихотворение, навеянное обстоятельствами его смерти: он умер в Гурзуфе, во время далекого заплыва в море. Кто-то передал это стихотворение Б. М. Эйхенбауму, и Б. М. прочел отрывок из него на собрании памяти Б. В.

Был он старик не такой, как другие
«Старик и море» Э. Хемингуэй

Всю жизнь изучая стихи и поэмы,
Он был прозаичней и проще, чем все мы.
Стихи он читал нарочито спокойно,
Считая эмфазу игрой недостойной.

Французской иронией вскормлен и вспоен,
Ее он носил, как оружие воин.
Казалось, что в Пушкине он принимает
Лишь то, что в нем разум и скепсис питает.
Он шел, утомленный бессмысленной сходкой,
Тяжелой и мягкой тигриной походкой.
Его тяготило поправанье рассудка
В прожитые им бесполезные сутки,
И только глаза говорили живые,
Что все ж он старик не такой, как другие.
А ночью под шепоты Парок угрюмых
Он слышал призывов далекие шумы,
Свободной стихии движенье и пенье,
Валов романтических гром и кипенье.
Он море любил и в пучине, случалось,
Топил раздраженье, печаль и усталость.
Он плыл, как большая и сильная рыба,
Легко раздвигая прозрачные глыбы.
И там, на просторе, где разум не страждет,
Смертельный удар он почувал однажды.
Казалось, заботы, печали и горе
Настигли его среди блеска и моря.
Он на спину лег и усилием воли
Презрение выразил смерти и боли —
И мертвый пловец, он не сдался стихии,
Ведь был он старик не такой, как другие.

А через год на научном заседании, посвященном дню рождения Пушкина, Юлиан Григорьевич Оксман выступил со страстной полемикой против датировок некоторых стихотворений Пушкина, которые предлагал Томашевский. Татьяна Григорьевна Цявловская нежно, по-женски, но настойчиво выступила в защиту датировок Томашевского. Вопрос этот является спорным и не может быть решен с абсолютной уверенностью. В Юлиане Григорьевиче, несомненно, давала себя чувствовать горечь по потерянным для науки годам. В это время внезапно прозвучал пушечный выстрел с Петропавловской крепости — 12 часов дня. Присутствуя при этом, я не удержалась от поэтического сравнения: «Тени мистиков появляются в полночь, а тени рационалистов в полдень».

б. Доценты нашего факультета. Николай Иванович Мордовченко и Исаак Григорьевич Ямпольский

Уникальный состав профессоров Ленинградского университета сформировался из выдающихся ученых, утвердивших свой научный авторитет уже в 30-е годы, и из постоянного пополнения их состава оригинально мыслящими преподавателями, имена которых могут обозначить целые новые направления. В этой связи следует напомнить о деятельности в стенах филологического факультета таких ученых, как О. М. Фрейденберг, В. Я. Пропп, Л. В. Пумпянский и др.

Работа заведующими кафедрами нередко чрезвычайно осложнялась тем, что она оказывалась в прямой зависимости от административных решений. Это проявлялось со всей очевидностью при обсуждении вопроса о подборе преподавателей. На этом поприще иногда приходилось упорно бороться с «предначертаниями начальства». Особенно настойчиво и смело противостоял подобному нажиму Гуковский в пору своего руководства кафедрой, а позже — его верный ученик Г. П. Макогоненко. В то же время, когда Гуковский отстаивал целесообразность привлечения таких знаменитых лекторов, как Л. В. Пумпянский, А. С. Долинин и некоторые другие, он без большого сопротивления привлек к работе двух скромных доцентов, которые сразу показали, что их участие в общем деле не только полезно, но и необходимо. К этим преподавателям у меня сразу возникла симпатия. Они выглядели молодыми, обращение их со мною было доброжелательным и простым. Мое же отношение к ним основывалось на том, что у меня не было к ним того избытка восхищения и уважения, который сковывал мою непосредственность при общении с профессорами. Вместе с тем, я верила в эрудицию, жизненный опыт «доцентов», и они стали на многие годы моими советчиками. Будучи аспиранткой в предвоенный год и во время войны, я лишилась своих официальных руководителей (они умерли), и фактически моим руководителем — главным советчиком — был Николай Иванович Мордовченко. Впоследствии я постоянно обращалась к Исааку Григорьевичу Ямпольскому и дорожила его советами, которые неизменно были мне полезны. К этому «среднему» поколению науки принадлежал и Д. С. Лихачев, с которым я познакомилась, став аспиранткой Пушкинского Дома. С ним я находила общий язык, как и с доцентами факультета. Н. И. Мор-

довченко и И. Г. Ямпольский были по своим научным интересам и по направлению своей деятельности близки к старшему поколению факультета, но следовали за ним в своем, особом русле, сохраняя свой круг идей и пристрастий.

Старшее поколение ученых нашего факультета боролось за обновление методов науки о литературе, выступая против общепризнанных догм. Люди этого поколения были тесно связаны с новейшими течениями в литературе и принимали участие в литературной полемике, иногда проявляя при этом горячность, свойственную носителям новых, еще не «обкатанных» и не уравновешенных точек зрения. Относясь с сочувствием к подобным смелым, решительным поискам новаторских подходов к спорным проблемам, ученые нового университетского поколения сделали критику неточностей и ошибок, проверку убедительности предлагаемых концепций своей первой задачей и считали беспристрастность оценки каждой предлагаемой точки зрения порукой чистоты, прозрачности и прочности научных знаний. Для старшего поколения Петербургского университета обмен научных идей и спор были источником размышлений, проверки прочности мнений, отчасти и научного роста: они сознавали, что острая полемика проявляет научные позиции спорящих и оттачивает их концепции. Все знали, как опасен спор со знаменитым московичом Виктором Шкловским и как поучителен и плодотворен спор с такими профессорами университета, как Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский, П. Н. Берков и другие. «Младшие» университетские ученые утверждали свою академическую строгость суровой критикой любых научных «вольностей» с той же настойчивостью, с какой критиковали произвольные утверждения. Они боролись против снижения уровня научной требовательности. Текст, который выходит из рук ученого, по их представлению, должен был быть образцом, на который может вполне положиться научный читатель как на последнее и точное указание. Ошибки — это бедствие в науке. Они часто возникают, когда внимание ученого сосредоточено на общих идеях. Старшее поколение наших преподавателей, увлеченных изложением новых систем взглядов, нередко грешило неточностями в цитатах и сносках. Это замечали строгие «доценты», которые изредка поручали своим аспирантам проверить сноски в той или иной работе маститого мэтра. Н. И. Мордовченко был известен как строгий и нелицеприятный критик статей коллег, указывающий на подобные просчеты авторам, не боясь испортить отношений с ними.

Столь же внимательным и строгим он был в отношении собственных работ, когда проверял и вычитывал их. Впрочем, и у него встречались неточности, которые его очень огорчали. Однажды он допустил в одной из своих статей ошибку и сам ее обнаружил впоследствии. Желая ее исправить, он написал и опубликовал специальную статью, в которой извинялся перед читателями за свой просчет. Однако через некоторое время он убедился, что на эту статью никто не обратил внимания, и все продолжают переписывать данные из более ранней его работы. Об этом он сам рассказывал мне с огорчением.

Гонения на ученых в пору «антикосмолитической кампании» вызывали разную реакцию среди сослуживцев. Были такие сотрудники, которые находили для себя какую-то выгоду в том, что ряды их «конкурентов» поредеют, но очень многие сожалели об этом преследовании честных и умных товарищей. Спорить с наветами было небезопасно, но были люди, готовые преодолеть запреты, выразить в какой-то форме свое отношение к шельмованию ученых. На торжественном заседании по разоблачению «инокомыслящих» заслуженный и уважаемый историк-архивист В. В. Данилов в полной военной форме под руку проводил и посадил рядом с собой в зале сотрудницу архива Беллу Наумовну Капелюш, которой была предназначена роль «разоблачаемой» жертвы. Она оказалась как бы под защитой его авторитета. Смелость проявил и Николай Иванович Мордовченко, защитивший Гуковского и своей объективной, взвешенной речью снявший накал нападок на ученого. В то же время старейшие ученые — В. А. Десницкий и Н. К. Пиксанов — не остановились перед тем, чтобы обрушиться на гонимого Гуковского, которому грозил арест, с резкой критикой его «вредных» позиций. Пиксанов напал на своих давних оппонентов Гуковского, Мордовченко и В. Н. Орлова, воспользовавшись удобным случаем для доказательства своей правоты и «порочности» их позиции. При этом он «не заметил», что администрация вовсе не намечала Мордовченко и Орлова в качестве мишеней для разгромной критики. Он, будучи человеком предреволюционной эпохи, не понял сути развязанной кампании и говорил о спорных вопросах науки. Поняв после заседания, что выступил «не по теме», Пиксанов пришел на следующий день к Н. И. Мордовченко и принес поллитра водки для примирения. Они выпили вместе. Через несколько дней я посетила Н. И., и он мне рассказывал об этом. Я с негодованием воскликнула: «Зачем вы с ним пили водку?!». Н. И. посмотрел

на меня растерянно и ответил, разводя руками: «А водку куда девать?.. И потом... старик взобрался ко мне на четвертый этаж. Раскаянье все же какое-то было у него». Тут Н. И. проявил свое понимание научной этики, в основе которой лежит взаимное уважение и гуманность.

Н. И. относился с уважением и к своим ученикам. Он приглашал их домой, причем часто его посещали не только выдающиеся, но и очень плохо подготовленные студенты. Он их обучал и был уверен, что их можно просветить, он хотел внушить им основы культуры.

Н. И. много занимался критикой, в частности, творчеством В. Г. Белинского. Думается, что его увлечение жанром критики определяется тем, что он видел в ней проявление процесса выработки просветительского, учительского содержания в русской литературе. Это направление научной мысли сблизило с ним Ю. М. Лотмана, который также занимался проблемой воздействия общественной мысли на художественную литературу. Впоследствии Ю. М. писал: «В трудах Н. И. Мордовченко история журналистики и критики — в конечном счете история общественных идей — представляла как своеобразная ткань, в которой различные линии, сложно переплетаясь друг с другом, образовывали целостное лицо эпохи, литературного направления, группы»¹². Н. И. очень рано оценил научные способности Лотмана. Юрий Михайлович, как и другие студенты ЛГУ, был учеником наших блестящих, знаменитых профессоров старшего поколения, но своим научным руководителем он попросил быть Н. И. Мордовченко, который был тогда доцентом.

Я посвятила научному увлечению Н. И. шуточное стихотворение:

Он истолкован, объяснен,
Его читать мы можем на ночь.
Мы говорим: «Виссарион»
И мыслим: «Николай Иванович».

Оно было напечатано в стенгазете Пушкинского Дома, и Н. И. сразу определил мое авторство.

Как и Н. И. Мордовченко, И. Г. Ямпольский стремился к научной точности. Он был непреклонно строг, искореняя невежество

¹² Лотман Ю. М. Николай Иванович Мордовченко // Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 68–73.

и ошибки, возникшие по небрежности и недосмотру. Он считал, что обилие разного рода неточностей или грубых ошибок заполняет страницы литературного и научного текста самых разных изданий и снижает уровень общей культуры. Обследуя целый ряд журнальных и других изданий, он выпустил ряд статей о небрежности и неграмотности на их страницах. Я пробовала смягчить его строгость, склонить его к снисходительности, напоминая ему, как легко просачиваются ошибки в текст без воли автора и как сами авторы этим бывают огорчены. Он возражал мне, что заботится не об отдельных пострадавших от его замечаний, а о состоянии литературы и научного уровня. Сам он был признанным блюстителем научной нравственности и знатоком литературных традиций и обычаев. Ему не раз случалось лично высказывать порицание начальнику, занявшему высокий пост и притеснявшему коллектив ученых. При этом он не считался с тем, как его откровенность и смелость скажутся на его собственном положении. Я знала, что И. Г. Ямпольский, как и Б. В. Томашевский, славился своей прямоотой в выражении оценок и мнений, и я способствовала тому, чтобы на защите моей кандидатской диссертации в качестве оппонентов выступали именно они. Это были грозные оппоненты; конечно, я трусила и не ждала пощад. Но их оценка была в высшей степени авторитетна и содержательна. Уже тогда я соображала, что такая защита дает молодому ученому выступить и заявить о себе, а без риска нет интереса. Все сошло вполне благополучно — особенно если принять во внимание, что после прочтения первой главы моей диссертации Борис Викторович Томашевский сказал мне: «Ну, это вы написали для самообразования». Впоследствии я призналась ему, что его отзыв о первой главе напугал меня, так как действительно, работая над диссертацией, я о многом узнавала впервые. Пощипав основательно мою работу и указав на все неточности и недостаточно доказанные положения, оппоненты все же похвалили меня, а в отзыве Томашевского упоминалось даже о «ясном уме», что, говоря словами А. Н. Островского, «дорогостоя». На следующий день Л. А. Плоткин, который был в то время заместителем директора Пушкинского Дома, остановил меня и с испугом в голосе спросил: «Вы что, в самом деле написали такую хорошую диссертацию?» — «Ну что Вы! — ответила я. — Это они похвалили меня для поощрения». Ответ скромный, но мудрый.

Когда Ю. М. Лотман в пылу увлечения исследованиями в русле семиотики, на первом этапе этих занятий провозгласил,

что литературоведение должно стать точной наукой, в Теоретическом секторе Пушкинского Дома возник переполох. Некоторые подумали, что вот-вот всех засадят за математику и сочли это очень опасной идеей. Идея не получила своего воплощения: каждый понимал точность по-своему. Так что паника была преждевременной. И. Г. Ямпольский тоже своеобразно приближал литературоведение к точной науке. Для него это означало строгую самопроверку, честность и осторожность в выводах. Многие годы он был фактическим руководителем замечательного проекта «Библиотека поэта». Он был заместителем главного редактора, комментатором и текстологом, подготовившим ряд книг этого издания: *Поэты «Искры»* (1939 г.), *Поэзия А. К. Толстого* (1939 г.), *Курочкин. Стихотворения* (1949 г.), *А. К. Толстой. Стихотворения. Драмы.* (1952–1958 гг.), *Минаев* (1960 г.). При этом он был редактором, неустанно читавшим чужие работы, и чувствовал себя ответственным за качество всего издания. Я столкнулась с редакторским «надзором» Исаака Григорьевича однажды, подготавливая один из томов «Библиотеки поэта». Молодой, но очень квалифицированный редактор, желая улучшить мою статью, разрезал ее на мелкие сегменты — фактически отдельные фразы — и склеил эти фразы-сегменты в иной последовательности, чем они были мной написаны. Меня он не поставил в известность о своем решении. Я была очень озадачена, когда мне показали мой текст в таком виде. Я его не понимала и не принимала. Ведь я обдумывала построение своей статьи и организовывала его совершенно сознательно. У меня не было желания пожаловаться И. Г. на произвол редактора, я просто спросила у него совета, как мне быть. Он вызвал молодого сотрудника и прочел ему своего рода нотацию о правах и обязанностях редакторов и об этике их взаимоотношений с авторами. Редактор обиделся на меня, решив, что я «на него пожаловалась начальству». Впоследствии он лучше узнал Ямпольского и меня, да и И. Г. лучше узнал своего молодого коллегу. Поскольку все мы — участники этого конфликта — были разумными людьми, мы пришли к взаимопониманию, и недоразумение было забыто.

С Исааком Григорьевичем я советовалась по специальным вопросам. Зная, какой он придирчивый и критик, я радовалась его внимательному чтению моих работ. Иногда мы спорили. Эти наши взаимоотношения отразились в надписи на книге, которую он мне подарил в 1974 году, — сборнике его статей «Середине века»: «Дорогой Лидии Михайловне Лотман, с которой я не

всегда согласен, но которую я всегда уважаю и люблю». Он не мог не упомянуть о наших спорах, даже даря мне книгу. Когда мне поручили написать для «Литературной энциклопедии» статью об А. К. Толстом, я не могла не попросить И. Г. прочесть мою статью и высказать свое мнение. И. Г. одобрил то, что я написала, и статья была опубликована — и тут случилось неприятное происшествие. Был дан «сигнал» направить критику в адрес этого издания. Мой товарищ по университету и по службе, долгое время испытывавший трудности, не имевший постоянного места работы и пригретый редакцией «Литературной энциклопедии» как постоянный автор, оказался перед сложной ситуацией. Он всегда относился очень чутко и внимательно к пожеланиям начальства, и когда в Пушкинский Дом приехала редакция «Литературной энциклопедии» и должно было состояться критическое обсуждение издания, он поступил со свойственной ему осторожностью. Он покритиковал мою статью за то, что она якобы не подходит по жанру к энциклопедии. Я — человек безобидный, обвинение в адрес редакции безобидное, но зато он принял участие в критике. Мне было неприятно, но за статью свою я была спокойна, так как она была одобрена И. Г. — знатоком не только А. К. Толстого, но и традиций литературного быта, в том числе того, как нужно писать статьи в энциклопедии.

Особенно интересное приключение у меня вышло со статьей «Достоевский и Помяловский», которую я тоже попросила прочесть И. Г. как самого авторитетного исследователя творчества Помяловского. Я высказала мысль о том, что опубликованные после смерти писателя другом Помяловского Н. А. Благовещенским материалы — замыслы, незаконченные произведения «Пьяненькие», «Брат и сестра», а также рассказ о жизни и характере Помяловского — произвели большое впечатление на Достоевского, так как содержали яркий материал о типах разночинцев, о «нигилистах», проблема которых очень волновала Достоевского. Отражение впечатлений от этих материалов я находила в «Преступлении и наказании», в истории семьи Мармеладовых («Пьяненькие»), сходной по сюжету с произведением Помяловского «Брат и сестра». Сходство между Достоевским и Помяловским я усмотрела и в трактовке образа нигилиста, страдающего безбожника-циника (у Помяловского Череванин), а также в эпизодах философского разговора идеалиста и пессимиста в трактуре (ср. «Pro и contra» в «Братьях Карамазовых»). Одно совпадение я не включила в свой анализ, так как побоялась Ямпольского. Мне казалось, что он скажет, как

это бывает, что у меня нет бесспорных доказательств. Речь идет об эпизоде «сходки»-вечеринки, где разночинная интеллигенция, собравшись, ведет принципиальные споры, в «Преступлении и наказании» и «Молотове». И. Г., признав убедительность моих сопоставлений Достоевского и Помяловского, выразил согласие со мной в совершенно необычной форме: он написал специальную статью, где дополнил мои наблюдения сообщением о сходстве эпизодов вечеринки в произведениях Достоевского и Помяловского, о котором я не решилась написать. Этот случай произвел на меня большое впечатление, отразившееся в шуточном стихотворении, которое я надписала на оттиске статьи «Достоевский и Помяловский», подаренном мной Вадиму Эразмовичу Вацуре. Там есть такие слова:

«В них убедительной Ямпол / Признал аргументацию».

7. Григорий Абрамович Бялый в моей памяти

С Григорием Абрамовичем Бялым я познакомилась в 1939 году, когда поступила в аспирантуру Пушкинского Дома, а Григорий Абрамович только что защитил докторскую диссертацию. Он был молод, я лет на десять моложе его, и всю жизнь продолжала воспринимать его как молодого человека, хотя с годами его густые волосы превратились из угольно-черных в серебристо-белые. Научная среда воспринимала его докторскую защиту как сенсацию — он казался слишком молодым, и в Пушкинском Доме его дразнили «доктор Бялый», это стало как бы его официальным званием. Я же была девушкой бойкой, веселой, не без апломба. Скромному, сдержанному и тихому Григорию Абрамовичу меня своеобразно «отрекомендовал» далеко не тихий кумир студенчества Григорий Александрович Гуковский. Принятому в это время в университет в качестве лектора Григорию Абрамовичу Гуковский сказал: «Тебе повезло. Ты пришел в университет, когда его окончила девочка, которая задает вопросы». Девочкой была я, и вопросы я задавала не потому, что чего-либо не понимала, а потому, что хотела «раззадорить» любимого лектора, заставить его еще что-нибудь сказать сверх сказанного. Моим научным руководителем в аспирантуре был Василий Васильевич Гиппиус. Ему принадлежит сонет-акrostих, посвященный докторской защите Григория Абрамовича.

Гром, шум и плески сотрясают стены,
Ревья режут профессор и студент,
И лаврами венчанный депендент,
Горя очами, шествует со сцены.
Отважный ратоборец новой смены
Разбил противников в один момент,
И как ни злился старший контрагент,
Юнейшего лелеяли камены.
Был повседневный путь его суров:
Яр, дик и крут был норев секретаршин,
Любой сотрудник был надуть готов,
Он сердцем отдыхал среди трудов.
Мук врачевателем был добрый Гаршин,
Утехой — Короленко-сладкослов.

Следует заметить, что редкие и не совсем понятные ученые термины были почерпнуты из речи оппонента — профессора Н. К. Пиксанова, культивировавшего старинные обряды защиты диссертаций. Порядок защиты диссертаций был введен незадолго до того, и большинство старших ученых получили степени по совокупности научных трудов, без защиты. Тем более торжественно и шумно, например, прошли защита докторской диссертации Г. А. Гуковского в Пушкинском Доме и две защиты в университете — докторская Б. Г. Реизова и кандидатская Л. Я. Гинзбург.

В Пушкинском Доме этой поры был собран цвет ленинградского литературоведения. Маститое среднее поколение ученых — такие как В. В. Гиппиус, М. К. Азадовский, С. Д. Балухатый, Г. А. Гуковский, П. Н. Берков, были людьми около сорока или сорока с небольшим лет. К ним примыкали и несколько позже начавшие научную деятельность, столь отличные друг от друга и вместе с тем, в большой части своей, столь значительные и талантливые личности, как И. П. Еремин, Г. А. Бялый, Н. И. Мордовченко, Д. С. Лихачев, Н. Я. Берковский, Б. Г. Реизов, Б. С. Мейлах, В. Н. Орлов, И. Г. Ямпольский, П. П. Громов и И. З. Серман (последние двое — в то время аспиранты). Со многими из них у меня были отношения дружбы или, если хотите, дружеской заинтересованности. Мои отношения с Григорием Абрамовичем складывались на фоне и моей, и его дружбы с Николаем Ивановичем Мордовченко — ученым, человеком высоких душевных качеств. Григорий Абрамович был общителен, чрезвычайно мил в обхождении, но внутренне напряжен, сдержан. Он сохранял

глубоко в душе многие проблемы и думы, никогда его не покидавшие, чуждые самым молодым из этой среды (мне в том числе), однако имевшие, как показал дальнейший исторический опыт, глубокие корни в прошлом, и отношение к явлениям жизни, которые мы считали ушедшими в прошлое, но которые дали свои ядовитые всходы.

Григорий Абрамович был прекрасным рассказчиком, и, не смотря на свою сдержанность, он мне рассказывал о своем детстве, о своей юности, о своей матери. Отец его, лесничий и землемер, делал какие-то работы для железной дороги, и его сын Григорий Абрамович, в виде исключения посещал железнодорожное училище, где, как еврей, не имел права учиться. Ему покровительствовал священник. Мальчики, особенно мальчики из двух польских семейств, дразнили и обижали его, тем более что он был маленького роста и хрупкого сложения. Священник во всеуслышанье в классе стыдил забияк, опираясь на историко-религиозный аргумент. Он говорил: «Ваши предки еще пням и деревьям молились, а его предки уже единого Бога чтити». Когда класс посещали «гости», кто-нибудь из начальства или инспектор, батюшка оказывался в противоречивом положении. С одной стороны, не очень хотелось демонстрировать на уроке Закона Божьего этого явно не православного мальчика, с другой стороны, никто, по его мнению, с таким чувством не читал молитв и Священного писания, как этот ученик. Он хвалил его звонкий голос и говорил: «Мы его с Божьей помощью окрестим», напирая на звук «о».

Конечно, с возрастом голос Григория Абрамовича изменился, но свою задушевность, мягкость и силу внушения он сохранил. Впоследствии Б. М. Эйхенбаум, поручив Григорию Абрамовичу «озвучить» свой доклад (у Бориса Михайловича болело горло) на конференции, говорил, что в «исполнении» Бялого любой доклад всех убедит и зачарует.

Полны юмора были рассказы Григория Абрамовича о его преподавательской деятельности в знаменитой балетной школе нашего города. Он вспоминал, что на первом своем уроке он, молодой строгий учитель, увидев перед собой целый класс юных девиц в очень легких и, как ему показалось, отвлекающих от усвоения правил грамматики туалетах, приказал им переодеться и принять подобающий школьницам вид. Девочки переодевались целый урок, затем целую перемену снова переодевались и опоздали на следующий урок. После этого балетное начальство объяснило Григорию Абрамовичу, что мотыльковые туалеты —

производственная одежда юных балерин, и именно в таком виде они должны усваивать всю школьную премудрость. Впрочем, у Григория Абрамовича вскоре образовалось полное взаимопонимание со своими ученицами. Иначе и быть не могло — он был от природы награжден даром учителя и просветителя. Он рассказывал мне, что нередко на улице к нему вдруг подлетают душистые дамы в мехах, целуют его и говорят: «Вы меня помните? Я заслуженная артистка балета», и далее следует сокращенное детское имя и известная фамилия.

Артистизм Григория Абрамовича, его прекрасный голос и выразительное чтение оценили и драматические актеры, особенно артисты Александринского театра (театра имени Пушкина). Они уговаривали его попробовать себя на сцене. Но у Григория Абрамовича таких амбиций не было. Особенно дружен он был с талантливейшим актером этого театра — народным артистом Александром Федоровичем Борисовым. Мы неоднократно обсуждали с ними спектакли Александринского театра и роли Борисова, и если я нередко спорила с артистом в том, что он говорил о своей роли, то, увидев его в спектакле, всегда убеждалась, что действует он на сцене безупречно, органично и глубоко интерпретируя лицо, которое автор создал в своей пьесе, — по большей части это были роли в пьесах А. Н. Островского.

Вспоминаю один спор между Григорием Абрамовичем и Александром Федоровичем. Речь шла о том, как артист трактует роль Кузовкина в «Нахлебнике» Тургенева. Борисов не без некоторой гордости признался, что в сцене, когда Кузовкин вынужден принять от бездушного чиновника, женатого на его дочери Ольге, унижительную денежную подачку, он не сдержал своих чувств и бросил позорный документ о подачке в лицо своему обидчику. Григорий Абрамович вскипел: «Как можно исправлять Тургенева!». Оробевший Александр Федорович возразил ему чисто театральным доводом: «Но я не мог иначе, я так чувствовал, да и публике очень понравилось. Весь зал аплодировал. Зрители были довольны». «Но ведь Тургенев хотел совсем не того, чтобы все были довольны, а того, чтобы все были угнетены, опечалены и глубоко задумались, — это пьеса с трагическим концом». Надо сказать, что, хотя Григорий Абрамович был безусловно прав, я понимала и Александра Федоровича. В людях неистребимо живет жажда справедливости. В искусстве они прежде всего ждут удовлетворения этого инстинкта, который не удовлетворяется в жизни. Тургенев знал это и изображением на

сцене тотального попрания справедливости как бытового явления хотел «фраппировать» публику и заставить ее увидеть то, чего «не зрит равнодушное око». Но эмоциональный и добрый актер не может не поддаться на искушение «реабилитировать» добро в глазах публики и утешить ее хотя бы минутным торжеством справедливости.

В начале войны мы все, очень огорченные и встревоженные, встречались для выполнения своих обязанностей. Так, ночью мы всем Институтом литературы на открытом трамвае поехали за город, чтобы привезти из карьера песок для тушения пожара, если бы таковой возник в нашем здании. Мы с Григорием Абрамовичем копали рядом и удивлялись, с каким проворством вырывал и укладывал в кучи песок Г. А. Гуковский. Перед началом войны меня преследовали тяжелые, мрачные предчувствия, хотя ни в газетах, ни по радио не было сообщений о назревающей военной опасности (зарубежное радио было нам недоступно). Во время общих работ первых военных дней настроение несколько улучшилось. Поездка за песком в белую ночь, таскание ведер с песком по крутой лестнице «на чердак» — мезонин Пушкинского Дома — и ночные дежурства на крыше с целью тушения «зажигалок» — все это немного прибавляло бодрости: казалось, что мы сопротивляемся, вносим свой вклад в борьбу против насилия. Помню, что вид с крыши на пожар Бадаевских складов, да и вообще первые бомбардировки, вызывали у меня чувство оскорбленного достоинства. Некоторый прилив бодрости сказался в том, что В. А. Мануйлов сочинил целую серию стихков, посвященных тому, что сотрудников Пушкинского Дома перевели на казарменное положение. По поводу своего хождения в трусах по классическим интерьерам института он декламировал ранее сочиненный стихок:

Я здесь в трусах не ради спорта —
Omnia mea mecum porto.

Тот же Мануйлов, Н. И. Мордовченко и Г. А. Бялый сочинили по поводу «песочной эпопеи» басню «Чудак и Чердак». В ней Чердак беседует с заместителем директора Пушкинского Дома, который во время воздушной тревоги, когда сотрудники выходят на крышу, чтобы обезвредить зажигалки, спускается в подвал. Надо сказать, что помимо того, что песок был насыпан во все ящики, бочки и пр. и даже на пол чердака, сам чердак был покрашен серой краской — говорили, что это суперфосфат, ко-

торый предохраняет от возгорания. Басня содержала любимые словечки Мануйлова, Мордовченко и Бялого и заканчивалась словами Чердака:

А я суперфосфатом крашен,
И мне теперь сам черт не страшен.

Мне довелось дежурить на крыше Пушкинского Дома с Н. И. Мордовченко, Б. М. Эйхенбаумом, М. К. Клеманом, Д. С. Лихачевым и Г. А. Бялым. Хорошо помню разговоры с Б. М. Эйхенбаумом (он все рассказывал о своих внуках), с Н. И. Мордовченко (я с ним говорила о драматургии Н. Полевого — тема, которая еще за несколько дней до того мне была так интересна, а теперь казалась отголоском отзвучавшей музыки). О чем мы говорили с Григорием Абрамовичем — не помню. Он был грустен и молчалив. С Д. С. Лихачевым мы «философствовали», я искала у него успокоения и поддержки.

Вскоре я, как и другие аспиранты, была уволена. Я стала работать в госпитале, а затем в детском доме для блокадных сирот. С этим детским домом я в конце лета 1942 года через Ладогу эвакуировалась в Куйбышевскую область и продолжала в нем работать еще год, после чего была вызвана для продолжения аспирантуры в Казань. В Казани находилась Академия наук. Григорий Абрамович Бялый оказался в Саратове, где работал Ленинградский университет. В Саратове он читал лекции в одно время с блестящим лектором Григорием Александровичем Гуковским. Бялый еще не был так знаменит, как Григорий Александрович, но быстро «набирал форму», и его лекции пользовались большой популярностью у студентов. Его лекционная манера резко отличалась от манеры Гуковского, который покорял слушателей шквалом сообщений, темпераментным чтением стихов и живыми очерками лиц, участвовавших в исторических событиях. Бялый был воспитан на литературе конца XIX — начала XX века, которой он занимался. Он был краток, тонок и лаконичен, как Чехов, гуманен, как Гаршин, точен, как Глеб Успенский и Короленко. Писатели в его изложении были людьми смелыми и прекрасными профессионалами, как будто «поставлявшими» ему цитаты для пояснения его интерпретации их мыслей и художественных принципов. Лекции его были лишены внешних эффектов.

Между Григорием Александровичем Гуковским и Григорием Абрамовичем шло шутовское соперничество. Гуковский, поощряя молодого собрата, изображал ревность. Григорий Абрамович,

в свою очередь, выразил свою «ревность» к успехам Гуковского, перефразировав знаменитые строки Лермонтова и превратив их в эпиграмму на самого себя:

Я думал — странный человек,
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но он упорно... и прекрасно
Читает лекции. Зачем?

В Саратове Григорий Абрамович сблизился и подружился с Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, который был много старше его. Борис Михайлович был человеком большого мужества, ироничным и отчасти суровым (одна назойливая поклонница утверждала, что с ним чувствуешь себя так, словно натолкнулась на «алмазную стену»). Но в этот период он очень нуждался в моральной поддержке. Он пережил блокаду, смерть любимого сына, внучки, потерю рукописи законченной им книги, над которой работал несколько лет, и на фоне общего бедствия нес особый груз страданий. Григорий Абрамович, всегда деликатный, тонко чувствующий и сдержанный, был хорошим товарищем для восстановления разрушенной внутренней гармонии именно для такого человека, как Борис Михайлович. У самого Григория Абрамовича, наряду с разного рода трудностями, случилась большая неприятность. Его обокрали, причем три раза подряд. Это было серьезным испытанием: все выехали из блокадного Ленинграда почти без вещей, и потеря любой вещи ставила нищих, по сути дела, ученых в трагическое положение. Когда это произошло в первый раз, все сочувствовали Григорию Абрамовичу и старались ему помочь, но в третий раз подобное происшествие вызывало у всех невольную улыбку. Борис Михайлович Эйхенбаум сочинил пародийную «черную» новеллу, якобы переведенную с английского языка переводчиком, не владеющим русским языком.

Black and White

«Я думаю, что во второй раз трижды вас не обокрадут», — сказал белый доктор Эченбем черному доктору Белому. «Вы думаете?» — сказал черный Белый доктор и сейчас же обокрался. Переводчик извиняется, что не всегда мог уловлять убегающего русского языка.

Григорий Абрамович был тогда еще ярким брюнетом, а Борис Михайлович уже совсем седым.

В Пушкинском Доме после войны мы встретились как друзья. Впереди нас ожидали тяжелые периоды правительственных «проработок» и «чисток» всех сфер академической науки и поощряемых сверху склок, в ходе которых делались карьеры и создавались дутые авторитеты. Это предстояло, а пока мы надеялись на лучшее, ждали оживления работы и творческого общения.

С Григорием Абрамовичем мои отношения складывались так: мы обязательно читали работы друг друга и обменивались мнениями, причем я нередко возражала против чего-либо слишком категорично, Григорий же Абрамович выражал свое мнение деликатно и осторожно. Однажды я сказала Григорию Абрамовичу, что мне кажется недостатком его книги ее избыточная убедительность. С нею невольно соглашаешься, в ней мало «неверного», вызывающего на сопротивление и споры. Григорий Абрамович ответил: «Я такие вызывающие на споры идеи вывозил из своего текста возами». Подобная операция — следствие чрезмерной самокритики, не только у Г. Я. Бялого, но и у других филологов, вошедших в строгую академическую школу, — обуславливалась в значительной степени высокой требовательностью научной среды. Необоснованные фантазии не поощрялись. Однако присутствовал в этом самоограничении и элемент боязни недобросовестной придирчивости газетно-журнальной критики, выискивающей спорные положения научных работ и объявлявшей их «враждебной вылазкой», криминалами. Такова была обстановка тех лет.

Взаимное чтение работ у меня и у Г. А. Бялого не было следствием взаимной договоренности, просто я читала все его работы, считая это очень полезным для усовершенствования своего профессионализма. Григорий Абрамович же читал мои работы потому, что я об этом его настоятельно просила. До самой его смерти, даже будучи очень больным, он оказывал мне эту любезность. Он давал мне ощущение прочной «обратной связи». Конечно, о таком читателе можно было только мечтать: доброжелательный, моментально схватывающий чужую мысль и сочувствующий ей, он был при этом строг, хотя свое неодобрение, если такое возникало, выражал очень сдержанно. Так, по поводу одной моей статьи, написанной «по плану» для коллективного труда, он сказал мне: «Вы изобрели, как выполнять такие задания». Мне большего было не надо: я поняла, что статья обнаруживает свой «прикладной характер», что так писать не следует.

Григорий Абрамович был моим оппонентом на защите докторской диссертации. Окончив диссертацию, я испытала большое

внутреннее сопротивление перед необходимостью написать предисловие, в котором мысли диссертации должны были быть изложены вкратце и тем самым упрощены. Я не могла себя заставить начать эту работу. Мой брат Юрий Михайлович, которому я пожаловалась на это свое затруднение, сел за машинку и без всякой подготовки написал несколько четких и изящных фраз, которые «разрядили» мои творческие затруднения. Выступая на защите моей диссертации, Григорий Абрамович очень похвалил именно эти вводные фразы, прочтя их вслух, как он умел это делать. Я испытала чувство смущения и некоторой досады, что меня хвалят не за мой текст. Однако признаться в этом Григорию Абрамовичу так и не решилась. Впрочем, в этом эпизоде Григорий Абрамович лишний раз проявил свою чуткость и тонкий вкус. Если он и не узнал «льва по когтям», то следы «когтей» обнаружил и отметил.

В связи с моей защитой вспоминается и другой эпизод. Григорий Абрамович возражал против моей интерпретации одного эпизода в «Идиоте» Достоевского, усматривая в этой интерпретации «натяжку». Через некоторое время, перерабатывая диссертацию в книгу, я сказала Григорию Абрамовичу, что не включу в книгу эту свою интерпретацию. Он стал уговаривать меня обязательно включить ее. «Вы же считали ее „натяжкой“!» — «Но я говорил как строгий оппонент. Конечно, это можно критиковать, может быть, тут есть доля преувеличения, но мысль интересная».

Вспоминается несколько эпизодов из первых послевоенных лет. Б. М. Эйхенбаум поехал читать лекции в Прибалтику. Григорий Абрамович радовался, что Борису Михайловичу выпала такая интересная командировка, и хотел его приободрить поэтической телеграммой. Надо сказать, что в те годы число слов в телеграмме ограничивалось и сам текст подвергался проверке и регламентации. Каким-то образом Григорию Абрамовичу удалось так «обаять» почтовых служащих, что от него приняли и послали телеграмму?!

Как соловей над розой алой
Поет, ему ж ответа нет,
Так нынче вам Григорий Бялый
Шлет поэтический привет.

Борис Михайлович ответил ему «в тоне», но если оригинальность и эффект телеграммы Бялого состоял в ее полном несоот-

ветствии жанру, то Борис Михайлович сумел стилизовать образец жанра:

Шлю поэтический отзыв.
Читаю каждый день, но жив.
Приеду — среду.

Читал он, конечно, лекции.

А. А. Смирнов — известный ученый, исследователь западной литературы Средневековья и Возрождения, в частности, Шекспира, высококлассный шахматист, автор учебника по шахматам, рассказал в Пушкинском Доме якобы слышанную им от авторитетных физиков новость: в местах, где были атомные бомбардировки в Японии, идет процесс атомного перерождения земли, это перерождение движется ежедневно на 3 км по направлению к морю. В море много тяжелой воды, и через 7 месяцев после падения атомной бомбы последует всемирный взрыв, который повлечет за собой всеобщий катаклизм. Эта новость меня страшно огорчила: я не могла не поверить А. А. Смирнову — такому серьезному ученому, зная и о его связях в среде физиков. Я была в ужасе. Брат еще не демобилизовался после такой страшной войны. Хоть бы он успел вернуться, мы так его ждали! Неужели возможна такая мировая несправедливость?! В страшном смятении я шла домой и в начале Невского проспекта, под часами, которые там висели, встретила Григория Абрамовича. Я ему рассказала потрясающую новость. Григорий Абрамович ответил мне очень спокойно: «Я не физик и не могу сказать, насколько это правдоподобно, но, как филолог, я вижу в этой версии все признаки легенды». Затем он проанализировал мой пересказ сообщения А. А. Смирнова в плане наличия в нем признаков легенды. Свой анализ он закончил словами: «Но каждый образец жанра имеет определенную почву, социальную среду, в которой возникает. Особенности версии, которую Вы изложили, говорят о том, что она зародилась в среде старшеклассников, школьников 9–10 класса». Доказательства, которыми Григорий Абрамович сопроводил это утверждение, окончательно развеяли меня, и я с облегченным сердцем весело зашагала по Невскому.

В другой раз Григорий Абрамович снял своим объяснением у меня стресс в более обычной, но так же взволновавшей меня ситуации. В ожидании какого-то заседания группа ученых обсуждала английский фильм, который мы все посмотрели, фильм, помнится, хороший. В нем был изображен конфликт между женщиной

и женщиной, причем автор фильма тенденциозно оправдывал мужчину. Я стала критиковать фильм с позиции женщины. Никто меня не поддержал, и все дружно стали на сторону «мужских интересов». Исчерпав аргументы, я пустила в ход последнее — общую формулу женской самообороны, сказав: «Просто все мужчины сволочи!». Моя горячность позабавила Бориса Михайловича Эйхенбаума, и он в насмешливо-примирительном тоне сказал: «Но не все же, Лидочка!» — «Все, — отрезала я. — Вы сами, Борис Михайлович, по себе это знаете!». Борис Михайлович весело засмеялся, а я оторопела, я поняла, что зашла слишком далеко. Сразу извиняться было как-то неуместно, и я тут же высказала свое раскаянье Григорию Абрамовичу, признавшись, что очень огорчена, так грубо обидев Бориса Михайловича. «Что Вы? — сказал Григорий Абрамович. — Вы ему польстили. Он очень доволен. Как Вы думаете, в какой ситуации молодая женщина имеет больше шансов понравиться пожилому, уважаемому мужчине: когда она распахнет перед ним тяжелую дверь или когда она подождет, чтобы он перед нею открыл эту самую дверь? Конечно, во втором случае. Никому не хочется считать себя неспособным на „мужское злодейство“ или на „мужское рыцарство“».

С Григорием Абрамовичем мы прошли рядом через очень большие трудности, огорчения, тяжелые ситуации, всегда понимая друг друга, сочувствуя друг другу, поддерживая друг друга. В тяжелые месяцы «антикосмополитической кампании» для меня твердая, полная собственного достоинства позиция Г. А. Бялого была образцом и примером. Григорий Абрамович рассказал мне подробности длинной эпопеи давления на него органов КГБ, пытавшихся добиться от него «материала» на его старого товарища, против которого организовывали «дело». Григория Абрамовича долго вызывали, запугивали, рисуя весьма реальные мрачные перспективы, которые его ожидают за его упорство, вплоть до того, что он может стать главной фигурой процесса. Григорий Абрамович держался стойко. Следовательно, торжествуя, показал ему обнаруженную у обвиняемого — приятеля Григория Абрамовича — на квартире при обыске «сионистскую листовку» — на самом деле копию стихотворения А. С. Пушкина на библейский сюжет «Когда владыка ассирийский / Народы казнию казнил», в котором есть строки:

Кто сей народ? и что их сила,
И кто им вождь и отчего

Сердца их дерзость воспалила,
И их надежда на кого?

Григорий Абрамович разочаровал следователя, объяснив, что автор «листочки» — Пушкин. Впоследствии приятель Григория Абрамовича, умный человек, известный библиограф, сердился на Григория Абрамовича за это пояснение. Он собирался «открыть» авторство Пушкина только тогда, когда обвинение ему будет предъявлено, а следствие закончено. Впрочем, процесс не состоялся. Обвиняемого рассудили за благо отпустить и освободить от всякой ответственности. Времена стали меняться.

Одним из последних трудов Григория Абрамовича была его содержательная и изящная статья о драматургии Чехова, написанная по моей усиленной просьбе для двухтомника «Истории русской драматургии», который я редактировала. Не стоит даже говорить, что эта статья — лучшая в томе. В этом и так вряд ли кто-нибудь может усомниться.

8. В кругу студентов и коллег. Павел Наумович Берков

Научная и педагогическая деятельность Павла Наумовича Беркова на филологическом факультете Ленинградского университета и самое его присутствие в коллективе этого знаменитого учебного заведения оказывали значительное влияние на общую обстановку и на нравственное состояние его студентов и преподавателей.

Демократически настроенный, убежденный просветитель, Павел Наумович, будучи уникально образованным ученым, не тяготился тем, что добрая часть слушателей его лекций была слабо подготовлена. Он знакомил их со сведениями, источником которых была самая серьезная научная литература, и умел сделать это доступным и интересным студентам. В нем сочетались черты строгого хранителя заветов академической науки, требовательного профессора и доброго, снисходительного собеседника молодых людей.

На Павла Наумовича я обратила внимание в 1936 году, когда училась на втором курсе и еще не познакомилась с ним как с нашим преподавателем. Мы встречали его в коридоре, ведущем от

«малого конференц-зала» — большой аудитории, в которой нам часто читал лекции Г.А. Гуковский, — к деканату, где Павел Наумович, остановившаяся, разговаривал с нашим лектором. Его прямая осанка и легкая походка выделяли его среди толпы, снующей по коридору. Было видно, что это профессор, но что именно он преподает, мы еще не знали. Не знали мы тогда и того, что в Пушкинском Доме организована Группа по изучению русской литературы XVIII века, ученым секретарем и душой которой стал Г. А. Гуковский, высоко ценивший П. Н. Беркова как ученого — знатока культуры и литературы этой эпохи. Лишь после того как я и мои товарищи-студенты прослушали курс Гуковского о XVIII веке русской литературы, посещали его семинар, читали труды его, П. Н. Беркова и других ученых, слушали лекции П. Н. Беркова, то есть через год и более, мы стали посетителями заседаний Группы по изучению русской литературы XVIII века, и многие надолго сохранили интерес и своего рода привязанность к предмету ее научных занятий.

Особый интерес к культуре XVIII века, возникший в первые десятилетия XX века, имеет причины исторического и психологического характера. Политические события и общественные сдвиги этого отдаленного периода с особой остротой ставили в новую эпоху вопросы о законах истории. В XVIII веке был накоплен большой социально-политический опыт, давший огромный, зримый результат: за несколько десятилетий возникла и получила развитие литература совершенно нового типа, выросшая на почве новых социальных реалий. Сдвиги в бытовом укладе, в обычаях и в положении слоев общества, связанных с правительственными структурами, оказали влияние на творческую инициативность общества в целом. Механизмы этого культурного взрыва должны были быть важным и увлекательным предметом для изучения и осмысления в эпоху, когда вопрос о возможных последствиях подобных сдвигов стал актуальным. По сути дела, проблема состояла в том, как формировалась новая русская литература.

Книги, которые нам выдавались в специальном отделе из фондов Публичной библиотеки, были изданы в XVIII веке, и мы видели их и держали в руках старые переплеты, щупали бумагу, сделанную из тряпок, вчитывались в буквы старинного набора. Так мы ощутимо прикоснулись к реальности истории, которую совсем не «проходили» в школе и очень выборочно узнавали в университете. К тому же восприятие нашей учебно-научной темы

«Литература XVIII века» в нашем сознании сближалось с петербургскими впечатлениями от города. Вспоминаю, как однажды весенним днем мы, студенты, перед началом конференции, посвященной М.В. Ломоносову, прогуливались по набережной Невы в обществе Г. А. Гуковского и П. Н. Беркова, с которым мы к тому времени уже были знакомы. Напротив нас на той стороне Невы виден был памятник Петру I — Медный всадник, мы проходили мимо Двенадцати коллегий — университета, здания, повернутого «бокком» к Неве по желанию А. Д. Меншикова, мимо Кунсткамеры — первого музея, созданного Петром, мимо Академии наук, неразрывно связанной с именем Ломоносова. Все возбуждало мысли о XVIII веке русской культуры, воскрешало его события. Естественно, что именно в нашем университете эта тема оказалась близка юношеству и что в этом городе возникла постоянно действующая Группа по изучению литературы XVIII века, которой в разное время руководили наши профессора: академик А. С. Орлов, Г. А. Гуковский, П. Н. Берков, а затем бывший в одно время со мной студентом Г. П. Макогоненко — ученик Гуковского, впоследствии возглавивший кафедру русской литературы на филологическом факультете ЛГУ. Некоторые мои однокурсники своим постоянным участием в работе Группы внесли вклад в ее развитие (например, И. З. Серман). В годы нашего студенчества современных учебников по истории литературы, которые мы могли бы использовать, в нашем распоряжении не было, а старые учебники были по большей части недоступны нам и не соответствовали нашему восприятию литературных текстов. Своего рода учебниками нам служили записи лекций наших профессоров, статьи и книги их и других современных литературоведов. Курсы лекций, которые нам читались, обрабатывались нашими профессорами, издавались и долгие годы пользовались заслуженной популярностью.

Углубленному усвоению курса литературы XVIII века и дальнейшему нашему образованию способствовало также осуществление большого культурного и издательского проекта «Библиотека поэта». По статьям Беркова и Гуковского в томах «Библиотеки поэта», а также по статьям и комментариям других авторов в этих томах (С. М. Бонди, И. А. Виноградова, Б. В. Томашевского, В. А. Десницкого, Б. И. Коплана, В. А. Гофмана и других) мы учились. По ходу этого учения мы ознакомились и с монументальной монографией П. Н. Беркова «Ломоносов и литературная полемика его времени, 1750–1765» (М.; Л., 1936),

которая широко открывала перед нами конкретные факты литературной жизни XVIII века, разысканные и осмысленные ученым. Появились и работы П. Н. Беркова по истории книги, стихосложения, отчасти примыкавшие к его трудам по истории литературы XVIII века. Авторитет П. Н. Беркова рос в научном обществе в годы нашего университетского созревания. Этому созреванию способствовали работы наших учителей и их труды, в том числе статьи, подготовка текстов писателей и комментарии к ним. Впервые появлялась возможность знакомства с творчеством писателей, участвовавших в становлении новой русской литературы и языка поэзии, по текстам их произведений.

Активизация научно-исследовательской мысли и расширение фактической базы науки приводили к формированию разных точек зрения ученых и к плодотворным дискуссиям. Так, например, картина интеллектуальной жизни русского общества XVIII века в трудах Г. А. Гуковского и П. Н. Беркова выглядела, как уже было сказано выше, по-разному, при этом каждый из них был по-своему прав. Гуковский главным «собеседником» русских деятелей искусства считал французскую литературу, а Берков — немецкую. И когда Павел Наумович цитировал Ломоносова, то тот предстал прежде всего как ученый человек и поэт науки. Ломоносов своему оппоненту бросал: «Кто ты есть, говори со мной по-латыни!». Павел Наумович и сам писал латинские стихи. Ломоносов Гуковского был поэт неудержимого поэтического вдохновения и фантазии, строивший целый мир из метафор, чтобы выразить свой идеал монарха, возглавляющего деятельный и мужественный народ, познающий и созидающий. Он знал французскую оду, прославляющую французский абсолютизм, но противопоставил ей собственные оды со своей оригинальной поэтической системой, соответствующие своему социальному идеалу. Оба ученых — и Гуковский, и Берков — видели, что новаторское развитие русской литературы происходило на фоне широких процессов движения мировой культуры.

По своему внешнему облику и манере поведения Павел Наумович был человеком воспитания XIX века. Это поколение мы еще застали, так воспитан был и мой отец. А. П. Чехов в письме к своему брату, излагая, как должен вести себя воспитанный человек, рассказывал именно о людях этого типа. XX век принес другие представления о нормах поведения интеллигентного человека. Сейчас идеалом кажется «раскованность». А люди типа Павла Наумовича считали нормой для себя сдержанность.

И если сейчас думают, что «раскованность» — знак свободы, то тогда свободу эти люди понимали как самообладание и независимость. Это были люди великого самообладания, которое Павел Наумович, как известно, неоднократно проявлял.

Павел Наумович и Г. А. Гуковский сотрудничали в «Библиотеке поэта», готовя и комментируя стихотворения поэтов XVIII века, совместно работали и в группе «XVIII век», уважали друг друга как специалистов и были взаимно дружески расположены. На наш экзамен по своему курсу литературы XVIII века Григорий Александрович пригласил П. Н. Беркова в качестве ассистента. Тут мы впервые познакомились с Павлом Наумовичем. Знакомство это сопровождалось комическим эпизодом. В своих лекциях Гуковский говорил нам о современной научной литературе и иногда полемизировал с той или иной работой. В одной из лекций он спорил с автором статьи о Третьяковском С. М. Бонди. Перед экзаменом разнесся слух, что экзамен вместе с Григорием Александровичем будет принимать очень строгий преподаватель С. М. Бонди. Правдой в этом слухе было только то, что ассистент — П. Н. Берков — был очень строгим экзаменатором. Моей подруге Нелли Рабкиной (Наумовой) достался билет с вопросом о Третьяковском. Она стала добросовестно излагать то, что на лекции говорил нам Гуковский, и пересказывать его возражения на статью в том «Библиотеки поэта». Автора статьи она не называла, так как была уверена, что ее экзаменует именно он. Павел Наумович, любивший точность, спросил студентку: «Кто автор статьи?». Она робко ответила: «Автор этой статьи вы». Берков возразил: «Нет, это статья Бонди». Она в ответ: «Так вы же и есть Бонди». Павел Наумович снова возразил: «Нет, я не Бонди, я — Берков». А она: «Нет, вы Бонди». Вот при таких обстоятельствах я познакомилась с Павлом Наумовичем. Моему приятелю, очень талантливому студенту, который, к сожалению, погиб потом на войне, Павел Наумович задал вопрос: «Почему у Я. Б. Княжнина в трагедии „Вадим Новгородский“ герой назван Рурик, а не Рюрик?». Студент, считавшийся эрудитом на курсе, этого не знал и ужасно огорчился. Спросили Григория Александровича — он тоже этого не знал. А у Павла Наумовича не посмели спросить, а он, конечно, имел свои соображения. Можно предположить, что это что-нибудь связанное с источниками, по которым Княжнин знакомился с историей. Так это и осталось загадкой — «почему Рурик?».

На следующий год Павел Наумович читал нам курс источниковедения. В своем огромном портфеле он приносил все спра-

вочники и библиографии, раскладывал их на столе и рассказывал об особенностях и назначении каждой из этих книг. Он говорил о них с любовью и даже нежностью, которая нам, еще не имевшим опыта самостоятельной работы, была не до конца понятна. Но то уважение и теплота, с которой он характеризовал составителей этих справочных изданий, говорили об их научном подвиге, воздействовали на наши чувства. Впоследствии в своей содержательной книге «О людях и книгах» (М., 1965) он опубликовал некоторые из этих рассказов. В это время мы с ним уже постоянно обменивались нашими статьями и книгами, когда они выходили. И эту книгу Павел Наумович тоже подарил мне.

Еще в студенческие годы я бывала изредка по разным делам в доме, где жили Павел Наумович и Г. А. Гуковский. Когда я оказалась в первый раз в этом знаменитом особняке, где были их квартиры, меня поразили старые паркетные полы, немного покатые, но из хорошего дерева, шкафы с прекрасными книгами. У Григория Александровича была уникальная библиотека XVIII века. Я протянула руку к полке и сразу же достала «Детское чтение» Карамзина. А Павел Наумович, знакомя со своей богатой библиотекой, повел меня в отдельную комнату, где были собраны все библиографические издания. Я подумала: «Ну зачем целая комната библиографии?». Павел Наумович открыл ящик картотеки и показал, что ведет учет всех современных работ, которые выходят из печати. Там стояла карточка на мою первую, единственную к тому времени печатную работу. Он указал мне на нее и сказал: «Вот, положено начало», дав таким образом мне понять, что верит в мое будущее.

Когда Павла Наумовича арестовали, нас, студентов, собрали в большой комнате, пришел сотрудник НКВД и прочел нам лекцию о том, что Берков — враг, который проник в университет и выдал себя за ученого. При этом он все время называл его «Berhoff», намекая, что он, наверное, немец. На следующей своей лекции Г. А. Гуковский обратился к студентам — слушателям, которые, как всегда, до отказа заполняли зал, и внушительно сказал о своей дружбе с Павлом Наумовичем и речью как бы поручился за него как за добросовестного ученого и достойного человека.

Освобождение Павла Наумовича из тюрьмы после того, как ему предъявлялись обвинения в государственных преступлениях, не было рядовым явлением. Имели широкое хождение рассказы о том, как Берков, пользуясь своим знанием иностранных

языков и реалий западной жизни, заставил следователя поверить в фантастическую историю того, как он осуществлял свою шпионскую деятельность; и когда следователь поверил ему и все это занес в материалы судебного дела, Павел Наумович продемонстрировал нелепость этой истории и аргументов следствия. Не знаю, что в этих рассказах соответствует действительности, но в них отразилась непререкаемая вера в исключительную эрудицию и самообладание Павла Наумовича.

Политические обвинения, которыми ему угрожали в заключении, были с Павла Наумовича сняты, но и в дальнейшем он не был гарантирован от подозрений и самых нелепых наветов. То обстоятельство, что он учился в университете в Вене и приехал из-за границы в Россию, делало его в глазах начальственных наблюдателей неблагонадежным. Это питало фантазию борзописцев, строчивших доносы в виде газетных статей. Во время «антикосмополитической кампании», когда травля ученых и литераторов была поддержана свыше, П. Н. Берков, одной из научных проблем исследования которого была проблема связей русской классической литературы с международными литературными явлениями, стал объектом ожесточенных нападок. Во время одного многочасового научного заседания, где с пристрастием обсуждались «идейные ошибки» Павла Наумовича¹³, его очень оригинальным способом выручил профессор В. А. Десницкий. В. А. Десницкий вмешался в заседание, на котором бурно «разоблачали» Беркова, когда нападки на ученого достигли апогея. До Десницкого говорил некто Ёлкин — журналист, незадолго до того в одной из газет обрушивший на профессора ряд бездоказательных обвинений, носивших политический характер. Десницкий прежде всего пренебрежительно задел его, сказав: «Здесь до меня выступал некто Ёлкин или Палкин, я ничего не понял из того, что он говорил». Так он сразу дал понять, какая дистанция существует между известным ученым Берковым и никому не известным писакой, поносившим его. Далее с позиций знатока литературы XVIII века он стал резко критиковать Беркова за неиспользование им некоторых исторических сведений и какие-то неточности. Берков, беззащитный перед нелепыми политическими обвинениями, не мог кротко сносить профессиональную критику и

¹³ Речь идет об одном из заседаний ученого совета ИРЛИ в марте 1953 г., на которых обсуждалась книга П.Н. Беркова «История русской журналистики XVIII века» (1952).

стал «отбиваться», возражать. Между ним и Десницким возник чисто профессиональный спор, в котором Берков проявил всю свою огромную эрудицию. Этот научный спор был совсем не интересен начальству и проработчикам, которые стали покидать зал. Зрелище разоблачения и осуждения ученого-«еретика» было сорвано. Павел Наумович, очевидно, не был обижен на Десницкого за эту полемику в тяжелый для него момент. Во всяком случае, через много лет, в 1971 году, в «Ученых записках Ленинградского педагогического института им. Герцена» были напечатаны его воспоминания о В. А. Десницком, а в журнале «В мире книг» в 1969 году появилась его статья об уникальной библиотеке Василия Алексеевича.

Курс литературы народов СССР П. Н. Берков стал читать, сменив И. П. Еремина, который вел этот курс у нас до того. Исследователь и тонкий интерпретатор текстов древнерусской литературы, И. П. Еремин стремился передать стиль и колорит каждой из национальных литератур. П. Н. Берков обстоятельно рассматривал историческую судьбу литератур и судьбы авторов, создававших и развивавших их.

Среди своих слушателей П. Н. Берков замечал приезжих, интересовался ими, проявлял сочувствие к их положению в чужом для них городе. Он отмечал талантливых студентов этой категории, всегда готов был им помочь преодолеть бытовые трудности. Сам Павел Наумович в начале своего пребывания в Петрограде чувствовал себя «приезжим», его «малая родина» тоже была удалена от столицы, культура окраин России не была для него экзотикой. В родном своем городе Аккермане он уже в гимназические годы занимался собиранием сведений по истории этого края, соединяя интерес к этнографии края с поисками следов античной древности. Впоследствии, учась в Венском университете, Павел Наумович приобщился к египтологии, но докторскую диссертацию, которую он защитил по окончании университета, основал на своих занятиях славяноведением и посвятил А. П. Чехову и русской действительности его времени.

Учениками Павла Наумовича, ставшими его друзьями, были белорус Ю. С. Пширков и осетин Н. Джусойты — оба творческие, активные и преданные науке молодые ученые. Я знала и того и другого в годы, когда их трудовой и творческий путь был в самом начале.

С Юлианом Пширковым мы были студентами одного курса, учились в одно и то же время и слушали лекции Павла Наумо-

вича в одной аудитории. Юлиан Пширков приехал в Ленинград из Белоруссии, где до того он уже несколько лет был учителем. Он смотрел на молодых студентов как старший, очень серьезно занимался и по всем предметам получал только лучшие отметки. Он был очень добросовестен и даже обстоятелен, и когда на экзамене преподаватель прерывал его ответ, убедившись, что он очень хорошо подготовился, и говорил: «Ну, хорошо, это вы знаете, довольно», он возражал: «Нет, я еще маленечко расскажу». Ему хотелось продлить приятный разговор с учителем. У нас с Юлианом была взаимная симпатия, мы были в дружеских отношениях. Павел Наумович обратил внимание на этого студента, оценил его серьезность и сочувствовал его любви к родному краю и к родной ему белорусской литературе.

С Нафи Джусойты (Джусоевым) я встречалась в Институте русской литературы, когда он был аспирантом, а я научным сотрудником Пушкинского Дома Академии наук.

Ю. Пширков и Н. Джусойты стали постоянными и преданными друзьями Павла Наумовича. Он руководил подготовкой их кандидатских диссертаций, принимал участие в подготовке докторских диссертаций, оппонировал на их докторских защитах.

После окончания Ленинградского университета Ю. Пширков уехал в Минск, принял участие в Великой Отечественной войне, был причастен к партизанскому движению, а после войны стал видным ученым-литературоведом Белоруссии, членом-корреспондентом Белорусской академии наук. Н. Джусойты стал членом-корреспондентом Грузинской академии наук, директором научно-исследовательского института Южной Осетии.

Мой брат Ю. М. Лотман, вернувшийся после войны и демобилизации из армии в университет, слушал, как и я в свое время, лекции Павла Наумовича, считал себя его учеником, и в статье, посвященной П. Н. Беркову после его смерти, писал: «Павел Наумович Берков был ярким представителем того особого типа ученого, который выработан традицией русской университетской науки. Без людей этого типа университет может остаться учебным заведением, но он перестанет быть университетом». Далее Юрий Михайлович определяет те черты характера и деятельности Павла Наумовича, которые свидетельствуют о том, что в нем был воплощен тип «университетского профессора»: «... ученик должен верить, что эрудиция его учителя безгранична, должен верить в знания своего учителя. Обширность знаний Павла Наумовича была такова, что границы их исчезали из поля

зрения его учеников. Огромная память, годы упорной работы, особый, свойственный только ученому склад мысли позволяли ему держать в сознании одновременно необъятное количество фактов, сведений, идей и гипотез... Безусловное доверие к научной и человеческой этике учителя так же необходимо для ученика, как и вера в его эрудицию. Рыцарское отношение к науке и миссии ученого неотделимо от облика П. Н. Беркова, вошедшего в сознание его учеников»¹⁴. Юрий Михайлович говорил и о других особенностях личности Павла Наумовича, но, безусловно, эти выше названные им черты Беркова были ему особенно близки. Он постоянно духовно обращался к своему учителю.

Павел Наумович был оппонентом Ю. М. Лотмана на защите и кандидатской, и докторской диссертаций и со свойственной ему тщательностью изучил эти диссертации и спорил с Юрием Михайловичем каждый раз всерьез, а не условно, как часто это делается. Юрий Михайлович отвечал ему на том же научном уровне. Недаром в статье, посвященной Павлу Наумовичу, он специально отметил умение Беркова понимать чужую мысль, проявлять к ней интерес и его серьезность при обсуждении диссертаций.

Научные споры Павел Наумович вел увлеченно и настойчиво по поводу не только важных, кардинальных проблем, но и по частным вопросам. Каждый факт, каждое утверждение были для него значимы как часть истины. Мне запомнился спор между Павлом Наумовичем и другим виднейшим эрудитом-филологом Б. В. Томашевским. Они горячо поспорили о значении какого-то слова в русском языке начала XIX века. Павел Наумович сильно распалился и заявил Томашевскому: «Я вам со словарями в руках докажу, что я прав». А Томашевский ответил: «Вы не верьте словарям, я сам их составлял». В этом обмене репликами проявилась особенность характеров как Павла Наумовича, так и Бориса Викторовича. Берков был человек скрупулезный, научно необыкновенно добросовестный. И такими же он хотел видеть своих коллег. И словари были для него серьезными научными источниками. А для Томашевского словарь был полем экспериментов, разысканий и неизбежных ошибок. Он даже хотел писать большую работу о природе ошибок памяти и психологии опечаток. Павел Наумович был идеалист, а Томашевский — скептик.

¹⁴ Лотман Ю. М. Павел Наумович Берков // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 15 (1970). С. 383–384.

Павел Наумович отличался необыкновенной научной памятью. Он, давая совет или комментируя какой-либо факт, обогащал нас сведениями о полезных для нас данных научной литературы. У него была эта удивительная особенность: он был своего рода компьютером. У себя на даче он, сидя на скамеечке и положив рукопись на табуретку, в течение летних месяцев написал «Историю русской комедии XVIII века», черпая данные — даты, факты и имена — из необъятного запаса своей памяти и подготовленных для работы материалов, а после окончания летнего отпуска проверял в библиотеке фактическое содержание рукописи.

Ученики перенимали у Павла Наумовича некоторые черты его характера, привычки, его отношение к научному труду. Моя сестра Виктория Михайловна — заведующая кардиологическим отделением больницы Академии наук — рассказывала, что, когда Павел Наумович, ее пациент, лежал в больнице, при нем было много книг и диссертаций, они стояли стопками. Он постоянно занимался, но время от времени распрямлялся, прохаживался по коридору и делал легкие физические упражнения. И когда я видела, как мой брат Юрий Михайлович встает из-за стола и распрямляет спину, я сразу узнавала движения Павла Наумовича. Признак настоящего авторитета учителя, когда ученик начинает внешне подражать ему в манерах.

В отношениях Павла Наумовича и его учеников было много трогательного. Когда он тяжело болел и лежал в Боткинской больнице, куда не пускали посетителей, Наталия Дмитриевна Кочеткова, тогда молоденькая девушка, лазила к нему через забор и носила цветы — каждый день другой букетик. Санитарка спросила Павла Наумовича: «Кем она вам приходится? Внучкой?». А он ответил: «Нет, не внучкой, а ученицей, а это все равно». Отношение к своим ученикам как к любимым детям было присуще Павлу Наумовичу, и все это знали.

После смерти Павла Наумовича возник вопрос о его уникальной библиотеке. Библиотека писателя, а тем более ученого, его alter ego, в особенности такая библиотека, как библиотека Беркова, которая собиралась систематически и с глубоким знанием литературы и истории книги, книгоиздательства и библиографии. В Ленинграде ни одно учреждение не соглашалось сохранить библиотеку Павла Наумовича целиком, как отдельное собрание, и библиотека уехала в Минск, не без помощи Ю. С. Пширкова. Она, несомненно, явилась для Белоруссии ценнейшим приобретением и на много десятилетий стала источником важных сведений для

тех, кто учится и кто учит. Для России и, в частности, для Петербурга ее утрата очень ощутима. Историк И. С. Шаркова сетовала, что одна книга об истории итальянской литературы, которая хранилась в библиотеке П. Н. Беркова, теперь недоступна, так как другого ее экземпляра в Петербурге нет. Этот случай не будет уникальным и в дальнейшем.

П. Н. Берков преподавал в Ленинградском университете и работал в Институте русской литературы в одно время с Б. В. Томашевским. Они не походили друг на друга ни внешностью, ни манерой поведения, ни методом подхода к изучаемому материалу, но оба были академическими учеными новой исторической эпохи и к научной деятельности относились во многом сходно. Оба они были сторонниками положительных знаний, науки, которая отвечает всем своим авторитетом и добрым именем за свои утверждения, за факты, материалы и новации, которые вносит в сознание современников.

Следует ли напоминать, что наука существовала не в безвоздушном пространстве, что деятели «лозунговой» юбилейно-пропагандистской публицистики пользовались большим одобрением и поддержкой, чем требовательные ученые-«идеалисты» и «скептики»? В моей памяти сохранился такой эпизод: Павел Наумович на заседании, в ходе которого обсуждался вопрос об атрибуции текста маргиналий Ломоносову, потребовал от докладчика, восторженно говорившего о своем открытии, более весомых доказательств принадлежности их текста данному автору. Тогдашний директор ИРЛИ прервал его выступление резким замечанием: «Вам следовало бы поучиться патриотизму у докладчика». Очевидно, он иначе, чем Павел Наумович, относился не только к докладу, но и к понятию «патриотизм».

Точность и доказательность в науке для Павла Наумовича были сходны с нравственной добродетелью. Нередко и Б. В. Томашевский конфликтовал с дирекцией. Оба они ощущали свою ответственность за науку во всем ее объеме, за ее уровень и за состояние всех ее структур — основных и вспомогательных. Поэтому учениками Павла Наумовича были не только студенты, но и работники научных библиотек, членом ученого совета которых он являлся, и исследователи истории книгоиздательства, и архивисты. Но университетские студенты для него всегда были более близкими, более «родными» учениками.

Давно отмечено, что смерть человека открывает современникам, кем он был при жизни, и чего они с его смертью лишились.

Павел Наумович был мэтром академической науки. Когда делались попытки поколебать авторитеты академической науки, «доставалось» и ему. По большей части это были нападки в газетах, невежественные и недобросовестные, но его они огорчали, так как, будучи человеком очень скромным, он пытался в любой, даже такой, критике рассмотреть зерно справедливости.

Похороны Павла Наумовича высветили глубокую, органичную его принадлежность к миру академической науки. День похорон был солнечным и очень жарким. По высоким, крутым ступеням главного здания Академии наук в Ленинграде двигалась бесконечная вереница людей, чтобы принять участие в гражданской панихиде, которая должна была состояться в зале второго этажа. Зал заполнился до отказа. Находился он по соседству со знаменитой мозаикой Ломоносова, изучению которого Павел Наумович посвятил так много труда и таланта. Поражало большое количество людей в траурных черных костюмах и платьях. Их черные фигуры контрастировали со светлой одеждой людей, одетых по-летнему, по погоде. Несмотря на духоту, которая царил в зале, торжественные траурные речи были обстоятельны, и панихида продолжалась довольно долго. По окончании ее участники траурной церемонии, выступавшие и слушавшие, подходили к вдове Павла Наумовича, выражая ей соболезнование. Образовалась очередь. Я была в хвосте этой очереди, и когда подошла к Софье Михайловне, она будто проснулась, вышла из оцепенения и обратилась ко мне с вопросом: «Лидия Михайловна, что это происходит? Что мы делаем?». Этот вопрос словно пронзил меня. Очевидно, увидев меня, она вспомнила ту атмосферу легкой шутки, которая сопровождала разговоры Павла Наумовича со мной. Он постоянно «подразнивал» меня. Вероятно, на какое-то мгновение у нее промелькнула несбыточная, фантастическая мысль, что я, ученица Павла Наумовича, скажу ей, что все это сон, и действительность, которую она не могла принять, исчезнет. Я отошла, так и не ответив на ее вопрос. Один за другим к ней подходили ученые, отдавая дань уважения и любви своему товарищу — заслуженному члену общества академической науки. Иначе выразил свою скорбь и свое почтение к ушедшему учителю Нафи Джусойты. На кладбище он отстранил могильщика и, взяв у него лопату, сам стал рыть могилу, оказывая эту последнюю услугу своему научному руководителю, по древней восточной традиции, как близкий, родной человек.

Через несколько лет после этих печальных событий Софья Михайловна и Валерий Павлович Берков, известный лингвист, автор трудов по скандинавским языкам, прислали мне на память вышедшую посмертно книгу Павла Наумовича «История русской комедии XVIII в.» с трогательной, взволновавшей меня надписью: «...в знак глубокой привязанности». Павел Наумович, даря мне свои работы, ограничивался традиционными обращениями, лишь один раз изменив этой традиции в надписи, сделанной 8 февраля 1950 года. Своим четким и столь знакомым почерком он написал: «Дорогой Лидии Михайловне Лотман от старого и злого учителя с лучшими намерениями». Это стало своего рода извинением. За несколько дней до того он со всем пылом своего рыцарского сердца отчитал меня за невинную шутку в адрес почтенного профессора — его друга. Я не обиделась на него, понимая, что эта горячность объясняется его добротой. И сейчас, когда я перечитываю и просто листаю его книги и встречаю в них или на оттисках статей традиционную надпись: «Дорогой Лидии Михайловне с приветом от автора», я ощущаю эти слова как теплое, живое обращение, как привет и ободрение.

9. Лидия Яковлевна Гинзбург. Встречи и размышления

В науке движение исторического времени измеряется не годами и даже не эпохами, а методами, принятыми учеными в их работе, открытием новых систем исследования, иного подхода к известным и интерпретированным традиционно явлениям, концентрацией внимания на новых объектах, а также расцветом школ разных направлений. В конце 30-х годов XX века, когда я — студентка филологического факультета Ленинградского университета — познакомилась с работами Лидии Яковлевны Гинзбург и впервые «издали» стала наблюдать за нею, она была еще молодой женщиной, но казалась мне солидной не только потому, что я, как это свойственно юным особам, воспринимала всех, кто старше меня, как «предков», но и потому, что я стихийно ощущала ее приобщенность к предшествующему научному поколению. Между тем, в то время когда я и мои однокурсники познавали азы филологической науки, Л. Я. была не только ученицей, но и собеседницей блестящих ученых и полемистов Б. М. Эйхенбаума, В. Б. Шкловского, Б. В. Томашевского, Ю. Н. Тынянова.

Она искала пути для самостоятельной оценки их взглядов, обсуждала спорные вопросы со своими друзьями, вскоре ставшими выдающимися учеными: Б. Я. Бухштабом, Г. А. Гуковским и др. Л. Я. вспоминала впоследствии, что оценки, которые давал своим ученикам Тынянов, «дразнили, побуждали напряженно искать свое собственное решение задачи»¹⁵. Эта эпоха, которая в моей молодости для меня если и существовала, то как некое предание, сформировала Л. Я. Гинзбург и навсегда оставалась с нею, хотя Л. Я. никогда не замыкалась в ней. Записи бесед с представителями литературной и научной элиты и своих размышлений над этими разговорами свидетельствуют об исключительном значении, которое для нее имело это общение. Л. Я. сама признавалась, что она мыслит с пером в руках, что рукопись является воплощением хода ее размышлений. Записывая слова своих учителей и сверстников, она подключается к их рассуждениям, интерпретирует их и выражает собственное мировоззрение. В книге с характерным названием «Человек за письменным столом» почти совсем не отражены личные события жизни Л. Я. и ее «персонажей», а тем более слухи и сплетни. Записи дают прежде всего материал для суждений об образе мысли эпохи и об оригинальности, своеобразии говорящего. В мае 1927 года Л. Я. записала: «Я не стыжусь интереса к великим людям. Я соглашусь на эту провинциальную черту, потому что не чувствую себя провинциалом в стране литературы». Ее острый, аналитический ум, образованность и умение слушать другого делали ее интересным собеседником.

С Л. Я. мы были знакомы с незапамятных времен. Кто и когда нас познакомил, не помню. У нас было очень много общих знакомых. Мы встречались на всякого рода заседаниях, защитах и других мероприятиях. Я, конечно, читала ее работы. Думаю, что она кое-что читала из моих работ. Но встречаться в домашних условиях мы стали, только когда она переехала на Выборгскую сторону и стала моей соседкой. До этого кто-то из общих знакомых позвонил мне и попросил успокоить Л. Я., которой предстояло переехать из центра в мой район, сказав, что она очень боится этого переезда. Я поговорила с ней по телефону, и на ее вопрос, можно ли жить там, где я живу, бодро ответила: «Очень даже можно».

¹⁵ *Лидия Гинзбург* [О Тынянове]. В кн.: Юрий Тынянов. Писатель и ученый. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 11. М., 1966. С. 86–110.

Все мои уверения, что ей понравится, она категорически отметала, утверждая: «Нет, это не Петербург, не Ленинград. Это другой город!». Переехав в наш район, Л. Я. первое время обращалась ко мне с мелкими бытовыми просьбами: у нее был какой-то страх перед новыми предметами, в том числе хозяйственными приборами. Общаясь, мы стали дарить друг другу книги, обмениваться ими. Она дарила мне свои работы с милыми надписями, что меня очень трогало. У меня лежали на всякий случай запасные ключи от ее квартиры. При всей своей склонности к системе и порядку Л. Я. любила заниматься ночью, так как днем ее, как и многих людей умственного труда, отвлекали разного рода помехи. В своих записях она отвела целое рассуждение «похвале ночи» как лучшему времени для занятий. Однажды на этой почве у нас возникла паника. Б. Я. Бухштаб — замечательный ученый, преданный друг Л. Я. в течение десятилетий, взволновался, когда в полдень Л. Я. не подошла к телефону, и в тревоге позвонил младшему другу Л. Я. Александру Кушнеру. Кушнер пришел ко мне за ключами, и мы с ним отправились в дом Л. Я., которая не открыла нам на звонки. Мы оба взволновались, и, когда я ему предоставила «право» открыть квартиру, он никак не мог этого сделать: ключи падали у него из рук. Мы в конце концов открыли дверь, и перед нами предстала Л. Я., проснувшаяся от шума, испугавшаяся, с криком: «Кто это ко мне ломится?!», а затем при виде нас: «Вы обезумели!». Мы испытали огромное облегчение от того, что все так хорошо обошлось. Привыкнув к прогулкам в окрестностях своего дома, где расположены несколько старинных прекрасных парков, Л. Я. полюбила эти места и свою уютную, светлую, хотя и небольшую, квартиру. Мы с ней гуляли и вели спокойные и не очень серьезные беседы. Меня удивляла ее осведомленность в вопросах политики, и мне нравилась ее манера обо всем говорить серьезно, взвешенно и неторопливо. Не желая навязывать ей мои оценки и суждения, я с удовольствием замечала, что наши взгляды на многое совпадают. Прочтя по-английски «Лолиту» Набокова, когда это произведение в России еще не издавалось, Л. Я. во время прогулки пересказала мне его. При этом она оживилась, и ее рассказ был очень интересен. Впоследствии, когда я смогла прочесть «Лолиту», она произвела на меня меньшее впечатление, чем в изложении Л. Я.

Л. Я. была гостеприимной и любезной хозяйкой. Она придавала большое значение порядку в доме. В ее небольшой однокомнатной квартире всегда было уютно и чисто. Хотя она мно-

го занималась, на ее письменном столе не было нагромождения книг: одна-две книги, которые были необходимы ей в данный момент. Ее библиотека была обширной, но она ограничивала себя в приобретении книг. «Нельзя жить в книжном шкафу», — говорила она. В этой связи я вспоминала Б. В. Томашевского, который говорил строгим голосом нам, молодым ученым: «Книги должны стоять на полках». Л. Я. нравилось, что я внимательно разглядывала висевшие у нее на стенах в комнате и даже на кухне небольшие картинки — подлинники известных художников XX века. На фоне одной из таких картинок снялся однажды Ю. М. Лотман.

Для меня всегда руки человека были вторым его лицом. Сохраняя память о замечательных людях, с которыми мне доводилось общаться, я помню не только их лица, но и их руки. Руки Л. Я. — маленькие, изящные, женственные, я бы даже сказала «дамские», если бы это определение не было странным по отношению к человеку столь твердого характера и ясного, рационального ума, как Л. Я. Впрочем, женственность в ней усматривал еще Гуковский, с которым Л. Я. дружила много лет. В письме к своей ученице Е. Я. Ленсу он утверждал, что «...в научном творчестве участвуют все силы психики человека — интеллект („логика“, „рацио“) и воображение и эмоция» и пояснял свою мысль: «Например, у В. М. Жирмунского почти все поглотила логика, а у Б. М. Эйхенбаума — эмоция. Я, например, работаю больше всего воображением, а не логикой. Что же касается женщин, то мне кажется, что они тоже творят больше эмоцией и воображением [...] При всем этом именно такая творческая мысль может быть блестящей (см., напр., работы Лидии Яковлевны Гинзбург, типично «женские»)»¹⁶.

Л. Я., безусловно, принадлежала к числу замечательных и мужественных женщин России трагического XX столетия. В дни ленинградской блокады, когда все жители города были на грани смерти, Л. Я. тщательно записывала свои наблюдения над процессом выживания, над психологией человека, преодолевающего жесточайший стресс и утверждающего свою способность к сопротивлению. Сознание тех нравственных ресурсов, которыми ее обогатил культурный опыт, придавали Л. Я. уверенность и гордость. Она, однако, никогда не подчеркивала этого чувства, а даже как бы старалась скрыть его, избегала рассказов о своем

¹⁶ Письма Гуковского Е. Я. Ленсу // Новое литературное обозрение. 2000. № 44. С. 173.

общении с великими людьми, но это было ощутимо в ее манерах и повадках. Как уверенно и убедительно она отвечала во время защиты своей диссертации Б. Г. Реизову на его возражения, касающиеся теоретических положений ее работы! Как она изменилась, развеселилась, помолодела, оказавшись среди друзей своей молодости, в числе которых был Г. А. Гуковский! Люди нашего поколения, более чем ее сверстники, ощущали эту скрываемую ею гордость, которая, очевидно, поддерживала ее в трудные моменты жизни. Л. Я. испытала на своем пути немало несправедливых гонений и обид. Известный филолог М. Л. Гаспаров со слов Л. Я. записал, что ее уволили из института в Петрозаводске «за то, что она *отдавала на откуп буржуазному западу наш реакционный романтизм*»¹⁷. Эта формулировка может быть воспринята как ироническое преувеличение; но, когда человек или даже целые группы общества подвергались травле, никто не требовал от обвинителей правдоподобия и логики в их наветах. Л. Я. с ужасом вспоминала о рядовых явлениях в своей жизни — необходимости объясняться с издательским начальством в попытке публикации своих работ: «Перед каждым звонком, перед каждым заходом в издательство — до физической боли дошедшее чувство угнетенности и страха. И оказывается это не страх событий (очередной подметной рецензии или расторжения договора), страх событий был прежде... Теперь человек боится не решений, не последствий, а самого процесса унижений... боится уже не уничтожения книги, в которую вложены время, ум, труд, — но боится своих интонаций и скользящих жестов членов редакционного совета»¹⁸.

Несмотря на то, что Л. Я. была значительно старше меня, я всегда замечала в ней, наряду с ее гордостью и представительностью, «молодежный элемент». Она гордилась своим спортивным прошлым, с увлечением, хотя и кратко, говорила об Одессе как городе солнца и простора. Собираясь зайти ко мне, она говорила: «Я подскочу к Вам». А когда я осторожно, боясь огорчить ее, сообщила ей: «Знаете, Лидия Яковлевна, в Одессе холера» — в то лето слух о холере всполошил ленинградцев — Л. Я. с какой-то веселой удалью ответила мне: «В Одессе всегда холера». Глядя во время зимних прогулок, как лихо она, немолодая и грузная, перемахивала через сугробы, я воспринимала ее как молодую и

¹⁷ Гаспаров М. Л. Записки и выписки. М., 2001. С. 43.

¹⁸ Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 202–203.

не спешила поддержать ее, о чем потом вспоминала с раскаяньем. Л. Я. однажды, улыбаясь озорной улыбкой, рассказала мне, как они, гимназистки, баловались на школьном дворе, играя с маленьким рыжим мальчиком, сыном директрисы. В одно из своих посещений Л. Я. я привела к ней этого «мальчика» — высокого плотного мужчину, доцента Одесского университета, выдающегося историка В. С. Алексеева-Попова — приятеля моего брата Ю. М. Лотмана. Однажды, возвращаясь с научной конференции из Тарту в Ленинград, мы с Вадимом Сергеевичем Алексеевым-Поповым разговаривали в течение нескольких часов (он был очень интересным собеседником). В разговоре мы коснулись Л. Я. Я сказала ему, что она переехала на новую квартиру в другой район и обещала проводить его к ней. Конечно, я позвонила к Л. Я. и договорилась о визите. Обменявшись несколькими дежурными приветствиями, Л. Я. и Вадим Сергеевич быстро переключились на вопросы французской революции 1789 года и стали горячо обсуждать их. Имена деятелей этой эпохи, драматические события, которые в ряде случаев были мне не известны, в их диалоге возникали с такой живостью, с таким количеством подробностей, как будто дело происходило вчера и собеседники были их свидетелями. Принять участия в их беседе я не могла, но слушать их мне было чрезвычайно интересно. Далее в этот вечер, когда мы на кухне пили чай с квадратиками плиток шоколада и бутербродами с сыром, в беседе возникали «всплески» возвращения к историческим темам. Л. Я. не была многословна, обычно говорила неторопливо и как бы задумчиво, но здесь, очевидно, воспоминания о ее давних занятиях историей французской литературы оживили и даже разгорячили ее.

Через всю жизнь Л. Я. проходит летопись ее исследований самой себя и своего времени — беглые заметки, записи реальных разговоров, фактов, реакций современников и своих собственных размышлений. Эти дневниковые записи, иногда сделанные очень торопливой рукой, она ревниво охраняла, раскрывая только перед близкими ей людьми, в откликах которых на эти записи она была уверена. Хотя Л. Я. дарила мне все свои вышедшие из печати работы, я не была в числе тех близких, которым она читала эти записи. Однако наступил момент, когда она меня специально пригласила посетить ее и присутствовать вместе с поэтом Александром Кушнером при чтении ею этих записей и некоторых особенно скрываемых в то время их частей — например, отзывов об отдельных писателях, сильных и слабых

сторонах их характеров. Впрочем, отзывы Л. Я. о литературных личностях — всегда откровенны, как и выражение ею ее взглядов и политических симпатий. Я была тронута и взволнована этим приглашением, и мои впечатления меня не разочаровали. И я, и другой слушатель, Кушнер, были чрезвычайно заинтересованы текстами, которые нам читала Л. Я., и разделяли волнение, которое Л. Я., как и мы, испытывала при их чтении, несмотря на прошедшие со времени их написания годы.

У Л. Я. было много друзей и поклонников в среде молодых (и не очень молодых) литераторов, поэтов и ученых. Взаимная симпатия у нее возникла и с моим сыном Антоном, молодым врачом. Несмотря на то, что у Л. Я. был свой врач, она иногда, в экстренных случаях, обращалась к Антону с медицинскими вопросами. Но главное, что их сближало, был интерес к искусству фотографии. Антон любил разглядывать фотоальбомы Л. Я. и высоко ценил ее как фотохудожника.

Л. Я. часто, даже систематически ездила в Москву. У нее в столице были друзья и дела. Будучи кабинетным ученым, неутомимым в философских размышлениях, она в то же время была человеком деятельным и практичным. Она сотрудничала в московских изданиях и хлопотала о печатании своих произведений. В Москве она останавливалась в семье своих друзей Елеазара Моисеевича Мелетинского и Ирины Михайловны Семенко. Ирина Михайловна была дочерью друзей Л. Я., она рано потеряла родителей, и Л. Я. принимала участие в ее воспитании и образовании. Однажды, возвратившись из Москвы, Л. Я., улыбаясь и даже как будто порозовев, сказала мне: «Представляете, в Москве пару дней тому назад раздался телефонный звонок. Когда я подошла, я услышала в трубке голос, который был хорошо знаком, хотя я не сразу узнала говорившего. Он кричал: «Лида! Лида! Ты не узнаешь меня? Не узнаешь? Это Роман!». Я сразу вспомнила, что это голос Романа Якобсона. Он говорил товарищеским, дружеским тоном, как будто мы только что расстались, и пригласил меня к Борису Андреевичу Успенскому». Я спросила: «Ну и что было у Успенского?». Л. Я. поскуцнела и сказала: «Было много народу — вся современная лингвистика, историки и даже, кажется, математики; много шуток, смеха и шума». Затем с каким-то неодобрением и даже удивлением она добавила: «Ваш брат Юрий Михайлович почему-то жарил антрекоты и в фартуке разносил их присутствовавшим». Л. Я. не могла сочувствовать кулинарным увлечениям Юрия Михайловича. Внимательная хо-

заяка, вникавшая в ремонт и усовершенствования удобств своей квартиры, она, однако, никогда не принимала личного участия в хозяйственной работе, отстранялась от нее так последовательно и категорично, что это производило впечатление то ли страха, то ли принципиального решения. Вспоминается случай, когда необходимость найти для Л. Я. новую домоправительницу широко обсуждалась в среде женщин, причастных к кругу литераторов и ученых. Мои упорные попытки посвятить Л. Я. в некоторые тайны «кухонной деятельности» наталкивались на ее решительное сопротивление. Юрий Михайлович, напротив, был большим энтузиастом приготовления вкусной пищи. Он был даже склонен изобретать новые блюда и рецепты. Склонность к кулинарии не была исключительно его особенностью, в научной среде эта черта была распространена. Например, известный философ А. М. Пятигорский достигал в поварском деле профессионального уровня. «Отчужденное» суждение Л. Я. о собрании у Успенского, в основном носящее негативный, хотя и сдержанный, характер, как мне представляется, объясняется тем, что она оказалась в среде нового научного сообщества. Она была человеком другого поколения, а перед ней было «племя младое, незнакомое». Она, очевидно, предпочла бы более интимную, личную встречу со старым другом. У нее, возможно, оставались нерешенные вопросы, которые очень заманчиво было бы обсудить с большим ученым.

В 1920 году Л. Я. записала переданные ей Б. Я. Бухштабом слова Ю. Н. Тынянова об «учениках», о молодом поколении, поколении Л. Я. и Бухштаба: «Что же, они пришли к столу, когда обед съеден»¹⁹. Л. Я. не комментирует, что, по ее мнению, имел в виду Тынянов, но думается, что и ей, и другим ученикам это было понятно. Через несколько страниц она сделала запись, которая свидетельствует об этом понимании. Говоря о сильных и слабых сторонах своих учителей, она утверждает: «Старые опоязовцы умели ошибаться. Как все новаторские движения, формализм был жив предвзятостью и нетерпимостью /.../ Наряду с понятием рабочей гипотезы следовало бы ввести понятие «рабочей ошибки» /.../. Жирмунский как-то, говоря со мной о новых взглядах Тынянова, заметил: «Я с самого начала указывал на то, что невозможно историческое изучение литературы вне соотношения рядов». Но тогда это утверждение ослабляло первоначальное выделение литературной науки как специфической. И далее она

¹⁹ *Гинзбург Л.* Человек за письменным столом. С. 39.

пишет, что Б. М. Эйхенбаум сохранял теорию имманентного развития литературы, пока «она охраняла поиски специфического в литературе»²⁰. «Пир», которого не застали «ученики», был периодом научной полемики, дерзкого вызова, риска, свободы и смелости исканий, вдохновения и «рабочих ошибок» — т. е. того творческого взрыва, память о котором «учителя» сохранили и отразили в своих работах. Эти высказывания Л. Я. могут пролить свет на непростой вопрос ее отношений с Ю. М. Лотманом и с тартуской школой.

Елена Кумпан сообщала читателям журнала «Звезда» (2002, 3) совершенно неубедительное и даже странное объяснение причины обиды Л. Я. на Юрия Михайловича, которое давала ее сестра Ксения Кумпан. Внимание Юрия Михайловича к ее студенческому пересказу книги Л. Я. Ксения истолковала как признание того, что он не читал труд Л. Я. «О психологической прозе» и поэтому недооценивал ее творчества. Я же могу засвидетельствовать, что Юрий Михайлович был знаком с этой книгой. Мы с ним обсуждали ее содержание сразу же после ее выхода. Тут же Е. Кумпан выдвигает и другое объяснение эпизода расхождения Л. Я. с Ю. М. Лотманом: Л. Я., по предположению Е. Кумпан, обижалась на то, что Ю. М. не ссылался на ее работы. Должна признаться, что нечто подобное Л. Я. говорила и мне. Я не поверила ей и добросовестно перелистала под этим углом зрения многие выпуски ученых записок Тартуского университета, нашла ссылку в работах Э. Г. Минц, но у Ю. М. Лотмана — не нашла. Впрочем, можно ли квалифицировать отсутствие ссылок на чью-либо работу как проявление «невоспитанности», которую, как пишет в мемуарах Е. Кумпан, Л. Я. «не прощала в отношении к себе, причем — не в мелочах, а в сути»? (Там же. С. 154). В отсутствии сноски автора можно упрекать, если он что-то заимствовал у своего предшественника. Но таких заимствований из трудов Л. Я. у Ю. М. нет. Обиды на отсутствие сносок в литературной среде нередки. В одном из анекдотов, которые в свое время бытовали на филологическом факультете университета, рассказывалось, что профессор Н. К. Пиксанов, получив от диссертанта автореферат с надписью: «Глубокоуважаемому Николаю Кирьяковичу с почтением» и не найдя ссылки на свои труды, сделал на нем надпись: «Почтения, стало быть, не вижу». Но представляется, что обида Л. Я. имеет другую природу. Речь шла не о поверхностном вопросе

²⁰ Там же. С. 37.

сносок, а о столкновении поколений, о глубинных, принципиальных исканиях, которые не находили еще разрешения.

Есть распространенное заблуждение, что наука — область тишины, готовых решений и довольства ими. Но на самом деле наука — это область напряженных исканий, разочарований и больших, мучительных страстей, вызывающих реакции, иногда непонятные людям, далеким от подобных переживаний.

Размолвка Л. Я. и Ю. М. меня огорчала, ведь я очень любила их обоих. Ю. М. чувствовал, что Л. Я. на него сердится. Он тоже огорчался и недоумевал, а Л. Я. расстраивалась. Ситуация, когда ссора хороших людей возникает без достаточных оснований, всегда побуждала меня помочь им помириться. Недаром Б. В. Томашевский нередко шутливо называл меня «жена-мироносица». Однажды, когда Ю. М. был у меня в гостях, мы вернулись к вопросу об обиде на него Л. Я. Он тут же сорвался с места и побежал к Л. Я., которая жила по соседству. Встретившись, они объяснились, и их симпатия друг к другу разбила все элементы взаимного недоверия. Как долго длилась обида, и как быстро они помирились! Ведь Л. Я. сама в 1932 году осуждала неспособность к примирению, ведущую к разрывам, как признак слабости характеров людей²¹. А слабыми они не были.

10. Георгий Пантелеймонович Макогоненко — мой университетский товарищ

С Георгием Пантелеймоновичем Макогоненко меня связывали годы студенчества, университетского товарищества, общность научных занятий, литературных интересов, взаимная симпатия и благодарные воспоминания о наших учителях. У нас было много общих друзей.

Я познакомилась с Юрой Макогоненко в 1934 году, когда я и он стали студентами первого курса ЛИФЛИ — Ленинградского института философии, литературы и лингвистики, какое-то время заменявшего филологический факультет университета и затем «возвращенного» в лоно университета в качестве филфака.

Юра Макогоненко выделялся из массы студентов: высокий рост, живой, активный темперамент, привычка прилично, по тем

²¹ Гинзбург Л. О старом и новом. Л., 1982. С. 406–407.

временам хорошо, одеваться — все это привлекало к нему внимание. Он пришел на факультет, уже имея за плечами «биографию» — работал на заводе, сотрудничал в газете, был человеком со сложившимся характером. Нам, пришедшим со школьной скамьи, он казался взрослым. В нашей группе литературоведов-русистов, как во всех подобных коллективах, стали образовываться компании. Одна из наших студенток, Ада Иванова, впоследствии учительница литературы в школе, «классифицировала» эти компании, назвав одну из них «аристократы», другую «общезитийцы», а третью, к которой принадлежали она сама и я, — «маленькие». В эту группу входили вчерашние школьники, которые были в меньшинстве, так как при приеме в университет преимущество предоставлялось абитуриентам, имевшим рабочий стаж, пришедшим из армии и многим другим. И мы действительно могли называться «маленькими» по своему возрасту. Мне исполнилось 17 лет уже на первом курсе, но классификация, предложенная Адой Ивановой, мне не нравилась, казалась обидной. Юра Макогоненко принадлежал к группе «аристократов», в которую кроме него, чрезвычайно эрудированного Ильи Сермана и еще нескольких студентов, входили две самые интересные девушки группы, признанные в нашей среде красавицами. Помимо И. Сермана Макогоненко был особенно близок с А. М. Кукулевичем. Этот одаренный молодой ученый погиб на Ленинградском фронте. Через год, когда мы были на втором курсе, Макогоненко, которого поначалу некоторые ассоциировали с героем «Майской ночи» Гоголя, стал заметен и популярен на факультете. Всегда веселый, оживленный, он принимал участие в общественных делах, выступал на собраниях, включился в борьбу молодого поколения литературоведов против вульгарно-го социологизма и засилия РАППа в литературе.

Занимался, готовился к семинарам и экзаменам он тоже с энтузиазмом. В ту пору наши занятия происходили «во вторую смену», и вечером нередко гасло электричество. Мы, бывшие школьники, по детской привычке радовались, что лекций не будет, и оживленно обсуждали, куда бы пойти — в кино или есть мороженое. Юра Макогоненко пытался взывать к нашей сознательности: «Дураки! Чему вы радуетесь? Мы с таким трудом попали в университет. Многие, кто держал экзамены, не попали. Нам читают лекции лучшие ученые, а вы радуетесь, что лекции не состоятся». Стремление к познанию, любовь к литературному труду, неутомимое прилежание впоследствии стали

особенностью Макогоненко, им он оставался верен всю жизнь. Его неиссякаемый энтузиазм труженика науки, влюбленного в литературу, делали его обаятельным лектором-просветителем. Недаром его любимым героем в литературе XVIII века стал Н. И. Новиков.

Любовь к литературе XVIII века и интерес к историческому и литературному процессу этой эпохи не только Георгию Макогоненко, но и всем нам, его однокурсникам, внушил Г. А. Гуковский своими прекрасными лекциями и собственной увлеченностью. Макогоненко любил и чтит Гуковского в самых разных обстоятельствах: в годы успехов этого ученого и во времена гонений на него. Себя Георгий Пантелеймонович часто с искренней скромностью оценивал как последователя любимого учителя. Помню, как на семинаре Гуковского Юра Макогоненко, размахивая красивыми, крупными кистями рук, горячо доказывал, что либеральные иллюзии в некоторых главах «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева отражают взгляды героя книги — повествователя, а не автора произведения.

Мне, увлеченной, как и многие мои товарищи по курсу, литературой и искусством XVIII века, казалось, что Юра Макогоненко чем-то напоминает деятелей этого времени: высокий рост, «мужская» внешность при склонности к полноте, любовь к жизни со всеми ее обольщениями: красивыми женщинами, дружескими пирами и комфортом. Особенно это бросилось мне в глаза во время застолья по случаю защиты кандидатских диссертаций Макогоненко и Е. И. Наумовым. Юра Макогоненко в седом парике с косичкой, в белой шелковой рубашке так азартно наслаждался товарищеским ужином и шумной беседой, что заражал всех своей веселостью.

В понятие Макогоненко о комфортной, «хорошей» жизни входила как неперемное условие дружба с порядочными, талантливыми людьми, с изящными умными женщинами, к которым он относился «по-джентльменски», рыцарственно. Эта высота его взгляда на женщину явственно проявилась в его отношении к замечательному поэту, много пережившей и страдавшей, больной женщине Ольге Берггольд (одно время она была его женой). Обращало на себя внимание и то нежное уважение, которое Георгий Пантелеймонович проявлял по отношению к своей семье и к ее женщинам. Он гордился их красотой и талантами.

Известна была доброта Г. П. Макогоненко, его готовность прийти на помощь близким и не очень близким людям, ока-

завшимся в тяжелой ситуации. Так, во время блокады Георгий Пантелеймонович, сотрудничавший в Радиокomiteте, в котором были сосредоточены общественная жизнь города и дух его сопротивления насилию и угрозе фашистской оккупации, приезжал с фронта и привозил микроскопические подарки женщинам-сотрудникам (сухарь, кусочек хлеба, конфету). Когда детская писательница Александра Иосифовна Любарская, подвергшаяся аресту, потерявшая мужа, погибшего после осуждения, была выпущена из тюрьмы, ее встретил и привел домой Г. П. Макогоненко. Когда после блестящей конференции, посвященной «Слову о полку Игореве», в партбюро филологического факультета поступил клеветнический донос на одного из докладчиков — Ю. М. Лотмана, — и началось разбирательство с допросами слушателей, Г. П. Макогоненко явился на партбюро и, опровергнув донос, взял на себя ответственность за все, что происходило на конференции.

Макогоненко сыграл большую роль в том, что Б. М. Эйхенбаум, ошельмованный, отстраненный от работы в университете и лишенный возможности публиковаться, был привлечен к участию в изданиях «Библиотеки поэта». Здесь надо сказать, что смелость и самостоятельность в принятии этого решения проявил и возглавлявший тогда редколлегия издания В. Г. Базанов, очень считавшийся с мнением Макогоненко.

Макогоненко оказал влияние и на судьбу другого крупного филолога-литературоведа и лингвиста-германиста (впоследствии академика) В. М. Жирмунского. Когда в начале войны ученый был арестован как «немецкий шпион» за многолетнюю переписку с немецкими лингвистами и занятия языком и фольклором немцев-колонистов, Г. П. Макогоненко, воспользовавшись прямым телефоном, позвонил из Радиокomiteта высшему начальству НКВД, объяснил значение трудов Жирмунского и дал ему характеристику как деятеля отечественной науки и патриота. Жирмунский вскоре был освобожден. Георгий Пантелеймонович говорил: «Никогда, даже в безнадежной на первый взгляд ситуации, нельзя опускать руки, ослаблять усилий. Будем бороться, а что получится, будет видно».

Многие ученые, пользовавшиеся высоким авторитетом в научной среде, ценили Макогоненко как знатока литературы и исследователя (П. Н. Берков, Г. А. Бялый и др.). На Ю. М. Лотмана Г. П. Макогоненко обратил внимание, когда будущий ученый, в то время тринадцатилетний школьник, по собственной

инициативе посещал лекции по античной истории. Георгий Пантелеймонович любил вспоминать о том, как он снисходительно заговорил с этим необычным посетителем факультета и был поражен его эрудицией. Впоследствии эти два исследователя литературы XVIII–XIX веков нередко спорили на научные темы, но неизменно проявляли взаимную симпатию и уважение друг к другу.

Позволю себе вспомнить еще один, «бытовой», эпизод. В пору, когда поездки за границу для ученых были затруднены, а туристические поездки еще были редки, Г. П. Макогоненко впервые поехал в Италию с туристской группой, в которой большинство составляли работники образования. Женскую часть группы обижало, что профессор держится гордо, не участвует в общих прогулках, ни с кем не «дружит». Последней каплей, переполнившей их терпение, стало то, что Георгий Пантелеймонович вечером сидел за столиком на площадке перед фасадом гостиницы, пил вино и курил сигару. Это было воспринято как «вызов коллективу». Было созвано собрание туристской группы, и Макогоненко было вынесено порицание, на которое он никак не отреагировал, так как на собрание не пришел. На следующее утро до завтрака он отправился на рынок и купил махровый халат. Увидев пакет, с которым профессор явился на завтрак, дамы набросились на его покупку, порвали бумагу, обнаружили халат и стали расспрашивать, где он приобрел «эту прелесть» и сколько заплатил; а затем, после завтрака, всей гурьбой во главе с переводчицей отправились на рынок за халатами. Торговка, увидев, каким успехом пользуется ее товар, немедленно подняла цену. На протесты покупательниц, которые напомнили ей, что час назад турист из их группы купил такой халат вдвое дешевле, торговка возразила: «Но ведь он такой обаятельный». В обаянии Г. П. Макогоненко немалое значение имело то, что за его мягкостью крылась твердость, своеобразный стоицизм, присущий его индивидуальности и поколению, к которому он принадлежал.

Мне рассказывали, что незадолго до смерти, тяжело больной, он пришел на дачу к Григорию Абрамовичу Бялому, с которым дружил, и его жене, Ирине Григорьевне. Они посидели, поговорили, пошутили, даже посмеялись. Через несколько дней Г. П. Макогоненко умер. Он приходил прощаться, но никому об этом не сказал.

11. Исаак Гликман в студенческой компании

Насколько я могу теперь вспомнить, Исаак Гликман появился в нашей группе студентов Института литературы, истории, философии и лингвистики, вскоре «превращенном» в соответствующие факультеты Ленинградского университета, в 1935 году. Среди массы студентов выделялись два молодых человека: Макогоненко и Гликман. Оба они были высокими, видными, и, что было редко в студенческой среде, оба хорошо одевались, но на Гликмане одежда сидела особенно эффектно. Казалось, что он готов выйти на сцену. Вообще в его осанке, легкой походке, движениях сквозил намек на то, что он принадлежит другой среде, где люди живут и общаются по иным законам, чем в нашем студенческом обществе, простодушном, не чуждающемся просторечья и фамильярности. К студенческим заботам и волнениям он относился с добродушной иронией, которая никого не обижала, так как Исаак был очень остроумен и выражался метафорически.

Наши студенческие заботы иногда были довольно обременительны и доставляли нам огорчения. Кроме зачетов, экзаменов и подготовки к ним, и в большей степени, чем эти, обязательные нагрузки, которые приносили нам радости и увлекали нас, у нас были и тягостные принудительные обязанности, и среди них главная — участие в больших, длительных собраниях, составной частью которых были «проработки» тех или других наших товарищей по разным причинам и поводам. Нередко такие «проработки» заканчивались выговором по комсомольской линии, а иногда даже исключением из Университета. В нашем студенческом пестром коллективе было немало тех, кто считал эту практику неизбежной и необходимой. Были и такие, кто охотно выступал против провинившихся и делал на этом карьеру. К подобным огорчениям Исаак относился стоически, глядя на них как бы издалека. Казалось, что на подобные явления современного бытия он реагирует из какого-то укрытия, из охранной сферы. Только впоследствии мы могли узнать и понять, что такой сферой для него была музыка, особый мир, в котором он был «свой», который он любил, понимал и в котором находил гармонию.

Увлечение И. Д. Гликмана музыкой и театром сложилось за несколько лет до появления его на филологическом факультете. Уже в 1932 г. Гликман заведовал культурно-массовым отделом Филармонии. Позже, в 1938 г., он — зав. литературной частью

Народного дома, который в то время был филиалом Театра оперы и балета им. С. М. Кирова. Причем уже в это время он был знатоком и «сочувствователем» сложной современной музыки в ее высоких проявлениях и смелых исканиях. Он был вхож в святая святых Филармонии — большую гостиную около кабинета директора, где собирались музыканты знаменитого оркестра, дирижеры и композиторы и обсуждали свои профессиональные проблемы, перемежая эти обсуждения исполнением творческих новинок. Этот импровизированный «клуб» посещал и Шостакович, с которым И. Гликман познакомился и к концу 1932 года был уже в приятельских отношениях²².

Их дружба длилась свыше четырех десятилетий, и о ней стало известно в Университете в конце 30-х гг., когда я там училась. Этот факт вызывал интерес студентов, но не казался чем-то исключительным, выходящим из ряда привычных явлений. Мы были избалованы близостью к великим людям искусства: наши профессора сами были видными деятелями современной литературы и культуры, были знакомы и находились в дружеских отношениях с поэтами и писателями серебряного века, современные поэты и писатели выступали на филологическом факультете перед студентами с чтением своих произведений. Помню, как остроумно и интересно выступал К. И. Чуковский.

Исаак никогда не рассказывал о своей дружбе с Шостаковичем, и мы понятия не имели, как важна была она не только для него, но и для великого композитора. Гликман ведал его перепиской и, будучи горячим поклонником музыки Шостаковича, вникал в его музыку и высказывал свои впечатления, к которым Шостакович относился со вниманием и интересом. Музыка Шостаковича для многих слушателей и критиков в то время не была легко доступной, и композитор, сталкиваясь с непониманием и грубой критикой как со стороны агрессивных невежд, так и со стороны «высших инстанций», нуждался в голосе дружественном и правдивом, исходившем от человека, тонко понимающего современную музыку.

Я никогда не слышала, чтобы Исаак говорил с кем-нибудь о своих музыкальных связях и даже о своем увлечении музыкой, но думал о положении современной музыки он, очевидно, постоянно. Однажды во время «перекура» в студенческой компании

²² См.: Письма к другу. Письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликману. М.; СПб., 1993. С. 6–7.

я была свидетелем того, как Исаак, слушая нашу болтовню о впечатлении от концерта в Филармонии и горячие похвалы Мравинскому, вдруг вздохнул и высказал один из своих остроумных афоризмов с упреком в адрес Мравинского за то, что он с трудом приступает к разучиванию новых музыкальных произведений. Афоризм был смешной, но едкий, а, между тем, известно, что он относился к Мравинскому по-дружески и высоко ставил его как музыканта. Но для Исаака свобода в высказывании своих чувств и мнения была характерна. Он не стеснялся порой даже употреблять при девушках непривычные для нас выражения. Лишь через много лет я поняла, что было подтекстом этого упрека и этой остроты Исаака в адрес дирижера. В комментарии Гликмана к письмам к нему Шостаковича, изданным в 1993 г., Исаак вспоминает, что, зная о его приятельских отношениях с Е. А. Мравинским, Шостакович просил узнать о сроках исполнения им 15-й симфонии — осторожно, чтобы это не было воспринято как давление. При этом сдержанный Шостакович «срывается» и вспоминает более ранние случаи, когда любимый им дирижер уклонялся от начала работы с некоторыми его произведениями. Говоря о том, что подобные, трудно объяснимые кризисные «моменты» в поведении Мравинского были очень тяжелы Шостаковичу, Гликман тоже проявляет раздражение, определяя их как каприз и даже «блажь» знаменитого дирижера²³.

От года к году в учебный план университетских занятий внедрялось все больше политических предметов, но чем больше их было, тем поверхностней и примитивней они преподавались. Помню, как одна наша студентка, которая до поступления в вуз была в каком-то издательстве редактором, свое выступление на семинаре по философии начала с апломбом словами: «Гегель недопонимал...». Все знали о ее догматической ограниченности, и ее слова вошли в студенческой среде в ироническую поговорку.

Исаак был автором многих таких иронических поговорок. У него были свои излюбленные насмешливые афоризмы, которые он повторял в определенных ситуациях. По поводу наших философских семинаров и выступлений на них ораторов он неизменно говорил: «Это не Кант и не Спиноза и даже не странствующий философ Сковорода».

Другой афоризм он произносил особенно часто по разным поводам: в веселых ситуациях, как бы иронизируя над нашим

²³ Там же. С. 285–286.

молодым оптимизмом, и в грустных, призывая к бодрости. Этот афоризм: «Светло, бодро, радостно!» он возглашал громко, пародируя лозунги официальной пропаганды.

Добродушие и уравновешенность Гликмана располагали к нему, его полюбили многие студенты, а девушки за глаза называли его «Исачок», хотя он держался несколько особняком.

Думается, что и в обществе, более зрелом и серьезном, чем наша студенческая среда, его жизнелюбие, юмор при здравом аналитическом уме могли оказывать влияние на его друзей, помогать им пережить тяжелые впечатления и психологические травмы. Чтобы ощутить это, достаточно посмотреть на фотографию Шостаковича и Гликмана у могилы затравленного официальной критикой и властями М. Зощенко²⁴. В многолетнем общении с Шостаковичем проявилась умение Гликмана не только здраво проанализировать ситуацию и помочь другу, но и чуткость, ирония, способность пользоваться «эзоповым языком», склонность к словесной игре. Переписка Шостаковича и Гликмана — свидетельство этого тонкого, ироничного стиля общения, запечатленного и в музыке Шостаковича. Исследовательница его творчества пишет: «Искусство амбивалентной смысловой игры, столь известное по симфониям Шостаковича, проявляло себя и в игре словесной»²⁵.

Л. Я. Гинзбург в очерке «И заодно с правопорядком», характеризуя положение и умянастроение интеллигенции в 30-е годы прошлого столетия, отметила как парадокс, требующий анализа, готовность и способность людей этих лет «наслаждаться жизнью», радоваться ее благам в обстановке постоянной реальной угрозы, «отвлекаясь от этих угроз»²⁶. Простейшим объяснением этого феномена может быть признание того факта, что это — проявление древнейшего инстинкта, присущего всему живому. Живое хочет жить: разве не играют, не живут полной жизнью звери, которых подстерегают постоянные опасности со стороны грозящих их существованию более сильных хищников?

30-е годы XX века в Университете были временем тревог и волнений. Пропадали профессора: их арестовывали; были

²⁴ Опубликовано в: Письма к другу. Письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликману.

²⁵ *Ковнацкая Л.* Предисловие к книге: *Шостакович Д. Д.* Письма И. И. Соллертинскому. СПб., 2006. С. 11.

²⁶ См.: Тыняновский сборник. Рига, 1988. С. 218–221.

аресты и среди студентов, но именно в эти годы на факультете устраивались всякого рода праздники, маскарады и студенческие балы.

Один раз в подготовке такой студенческой вечеринки активное участие принял Исаак Гликман. Было это так: готовясь во время экзаменационной сессии вдвоем к экзамену, я и моя однокурсница Таня Вановская сочинили небольшую пьесу в стиле бурлеска, как теперь говорят, «по мотивам „Гамлета“» Шекспира. Сюжет пьески состоял в том, что Офелия (воплощение студенчества) под влиянием замысловатых речей Гамлета, Тени его отца, Могильщика и др. персонажей, растерялась и затем сошла с ума. Остроту и актуальность этой драматической импровизации придавало то обстоятельство, что весь текст персонажей драмы (кроме Офелии) состоял из любимых выражений, смешных, неудачных формулировок и пассажей из лекций профессоров, читавших нам разные предметы. Посещение лекций было в Университете обязательным, начальство внимательно следило за «прогулами». Состав профессоров был исключительно сильным. Л. Я. Гинзбург, вспоминая об этом времени, писала: «Тридцатые годы — это не только труд и страх, но еще и множество талантливых, с волей к реализации, людей и унаследованных от прошлого и — еще больше — расторможенных революцией, поднятых на поверхность двадцатыми годами... Тридцатые годы — это ленинградский филфак, во всем блеске (вторая половина тридцатых: Эйхенбаум, Томашевский, Жирмунский, Гуковский, Пропп)»²⁷. См. об этом подробнее выше. Однако, помимо этих блестящих ученых — лекторов, были унаследованные от прошлых лет педанты и вульгарные социологи и идеологи рапповского типа. Кроме того списка великих филологов, читавших нам лекции, который приводит Л. Я. Гинзбург, я могла бы перечислить немало блестящих имен таких профессоров как И. И. Толстой, С. Д. Балухатый, Л. В. Пумпянский, академик А. С. Орлов и др. Но и эти великие лекторы иногда допускали словесные оговорки, которые подхватывали студенты, всегда находившие поводы посмеяться в моменты, когда чувствовали утомление. Многие профессора знали об этом и сами умышленно давали им повод подхватить острое слово и повеселиться.

Из таких «оговорок» и «перлов» и состояли монологи героев пьески. Главная роль в ней была предназначена нашему одно-

²⁷ Там же. С. 219.

курснику Грише Бергельсону, который был известен как талантливый имитатор голосов, с большим успехом выступавший на студенческих вечеринках с юмористическими импровизациями, в частности, со сценками, содержащими шаржи на профессоров. В нашей «пьесе» Грише предназначалась роль Гамлета, исполняя которую он сначала говорил, как профессор С. С. Мокульский, а затем, когда Гамлет имитирует сумасшествие, подражал профессору Иоффе, читавшему нам историю искусств. Иоффе — теоретик искусства, и излагал свои теории он сложно, малопонятно, а Мокульский — красивый и элегантный человек, высоко державший голову, казался аристократом. Говорили, что он «дышит верхним воздухом». Роль могильщика исполнял Леша Алмазов — студент нашего курса. Он подражал профессору Н. К. Пиксанову, в частности, произнося фразу из его лекции «Литературу мы анализируем как труп. Она — объект нашего анализа».

Тень отца Гамлета представлял Г. Бердников — высокий, статный, внушительный, с выправкой, похожей на военную, слова своей речи он произносил как команды, имитируя нашего военрука Эгле, с некоторым эстонским акцентом.

Гриша Бергельсон где-то раздобыл полный традиционный костюм Гамлета — плащ, берет и бархатную куртку с белым отложным воротником. В этом костюме он был не только импозантен, но и красив. «Могильщик» напялил на себя рубашку-блузу серого, вернее неопределенного, цвета, но костюм тени Отца Гамлета ставил нас в тупик. Впрочем, в полном соответствии со стилем нашей пьесы мы скоро приняли решение, что этот персонаж, как и подобает привидению, будет весь в белом, но в царственной мантии и с короной на голове. Но и этот примитивный костюм потребовал от нас хлопот и даже риска. Студенты, жившие в общежитии, вынесли оттуда под верхней одеждой две простыни и байковое одеяло. Корону ему мы вырезали из серебряной бумаги самым примитивным образом. Мой костюм Офелии был самым простым и доступным — летнее платье, распущенные волосы и в них бумажные цветы. Нам казалось, что, запомнив текст и подготовив самые примитивные костюмы, мы готовы к спектаклю, но тут выяснилось, что Исаак Гликман согласен быть режиссером этой постановки. Кто просил его об этом, не помню, но он принял свое назначение всерьез и работал с нами, как если бы мы того заслуживали. Прежде всего, увидев представленные «аксессуары», он сказал: «Ну-ка покажите, что тут у вас?». Когда

Г. Бердников набросил на себя «заготовки» своего костюма, Исаак замахал руками. Особенно его «сразила» корона. Обретя дар речи, он сказал: «Это решительно невозможно!». На вопрос — как же дать понять, что это Король, — Исаак пояснил: «Ну, найдите какой-нибудь обруч, лучше — цвета золота». Перерыв все девичьи украшения, в общежитии нашли длинную гребенку с золотым оттенком. Грише, костюм которого нам казался шикарным, Исаак сделал все же замечание: «Надо почистить ботинки, но лучше бы какие-то сандалии или домашние туфли, конечно приличные».

Мой костюм его тоже не удовлетворил. Он выбросил все бумажные цветы и приказал в волосы натывать репейники и колочки.

После этого Исаак произнес весьма краткое введение к нашей совместной подготовке спектакля, сказав: «Конечно, эта пьеса не пародия на пьесу Шекспира, а просто шутка, но раз вы будете выступать перед публикой, надо немного подготовиться, так что запомните текст и через три дня, в среду, проведем репетицию».

В назначенное время мы собрались, и началась репетиция. Исаак сидел на стуле, а мы перед ним «действовали». Он живо реагировал на действия исполнителей, срывался со стула и, как мячик, подскакивал к тому, кто говорил, наставляя, как более внятно произносить текст, какие интонации улучшить, чтобы передать иронию, как держаться, чтобы движения были более свободными и естественными. Грише Исаак сказал, что, хотя каждый из действующих лиц произносит монологи, между индивидуальным выступлением и коллективным действием есть принципиальная разница. Зритель должен видеть, что между действующими лицами существует взаимодействие, связь, что они находятся в общении. Иллюзию такого общения может создать любой, иногда мало заметный жест. Более демонстративный яркий жест может быть очень содержательным. В попытке ввести такой «демонстративный» жест в наше представление он предложил Грише, чтобы Гамлет, прежде того, чтобы выяснять отношения с Офелией, обнял и поцеловал ее. Очевидно, он хотел намекнуть публике, что у Гамлета с Офелией были отношения, достаточно близкие. Я, исполнявшая роль Офелии, не разделяла этой точки зрения и твердо придерживалась принципа, сформулированного в романе Чернышевского «Что делать?»: «Умри, но не давай поцелуя без любви». К тому же, в то время не было принято раздавать поцелуи направо и налево, как теперь. Когда Гриша, с которым у меня были дружеские отношения, попытал-

ся выполнить требование Исаака, я отскочила как ужаленная и воскликнула: «Вот еще! очень надо!». Дальнейшие попытки преодолеть мое сопротивление потерпели полную неудачу.

Исаак, которому был чужд подобный целомудренный пуризм, возмутился, принял это за женский каприз, и, чтобы напомнить мне, что всем известно, что за мной ухаживает аспирант К., обратился к нему с громким упреком: «Что с нею делает К.?».

Эта перепалка развеселила присутствующих, но Гликман был огорчен, что его режиссерский замысел не был воплощен в отношении этой частной детали, которой он придавал некоторое значение. В течение нескольких ближайших дней он поговорил с некоторыми участниками спектакля, но «воспитывать» меня не пытался, оставив свои советы для более покладистых, чем я, «артистов».

Спектакль состоялся и имел успех. Зрителей пришло больше, чем мы предполагали. Пришли не только студенты нашего курса, но и несколько преподавателей, и студенты первого курса, и несколько человек со старшего. Аудитория живо откликалась на шуточные реплики, на попытки исполнителей имитировать профессоров. Добродушно смеялись преподаватели и хохотали студенты. Каждое появление артиста встречали аплодисментами и смешками. Появление внушительной Тени отца Гамлета произвело фурор. Хотя байковое одеяло, которое «изображало» королевскую мантию, было украшено нами кусочками ваты, чтобы их можно было издали принять за горностаевые вставки, многие зрители знали об его происхождении и были в курсе тех приключений, которые происходили во время «выноса» одеяла из общежития.

Это усилило овацию, которой была встречена Тень. Иные аплодисменты достались Грише Бергельсону за его умение улавливать и передавать манеры преподавателей, их речь и интонации, а также за остроумные импровизации, которыми он украсил свою роль.

Исаак Гликман принимал самое активное участие в спектакле. Он волновался, смеялся над шутками и сдержанно радовался реакции зала. Вообще, будучи большим знатоком и ценителем юмора, он очень редко смеялся громко. По большей части он реагировал на понравившуюся ему шутку тонкой улыбкой, свидетельствующей о том, что шутка понята и принята... Полной неожиданностью для всех нас было то, что нас пришли смотреть артисты любимого театра ленинградцев — Театра комедии,

которым руководил Н. П. Акимов. Увидев их, мы перепугались. Их привел Миша Трескунов, студент нашего курса, западного отделения, который был старше нас и имел много знакомых в театральной среде. Исаак Гликман успокоил нас, сказав: «Не волнуйтесь, я их знаю. Это мои соседи». Позже мы узнали, что «соседями» он их считал потому, что Театр находился поблизости от Филармонии, в которой Гликман начинал свою творческую деятельность и которую привык считать своим вторым домом.

Артисты не сели в зале на стулья, а встали за последним рядом стульев, однако простояли до конца нашего выступления, смеясь и снисходительно аплодируя. После окончания спектакля все его участники стали делиться впечатлениями с друзьями и подругами и слушать их комплименты и замечания, а Гликман встал со своего стула и легким шагом направился к артистам, которые стояли группой и переговаривались. Гликман подошел к ним, поздоровался с каждым из них за руку, поговорил, сдержанно посмеялся и вернулся к нашей группе. Все стали его спрашивать, что сказали артисты о нашем спектакле. Исаак ответил: «Что они могли сказать? Они, не дай Бог, ни критики, ни рецензенты, а актеры. Они сказали, что было очень смешно и весело. Так что светло, бодро, радостно. Можно дальше жить. Я пригласил их чай пить, но они не могут, им нужно вернуться в театр».

После вечеринки у нас должно было состояться чаепитие, которое подготовили девушки, сумевшие на очень скромные пожертвования студентов сделать бутерброды и купить пирожные, которые из экономии порезали на половинки.

Таинственная избирательность воспоминаний, прихотливость памяти... Этот скромный, незначительный эпизод нашей студенческой жизни как будто стоит перед моими глазами, а многое, более важное и характерное, может быть, и есть в тайных извивах хранилища воспоминаний, но не покидает своего убежища.

После окончания Университета мои пути со многими моими товарищами разошлись. Исаак Гликман тоже ушел в свою сферу, в среду музыкантов, работников искусства, хотя иногда и выступал с литературоведческими статьями. Однако сферы моих и его интересов и круги, в которых мы вращались, были родственны, и мы в течение жизни встречались в Филармонии, в Комарове, на юбилеях, конференциях и собраниях, и общались мы, как старые знакомые, товарищи, друзья, ведя откровенные разговоры, чувствуя взаимопонимание с собеседником.

Когда о человеке, с которым вы не находились в постоянном контакте, спрашивают: «Вы знали его?», — память подсказывает, как правило, какие-то случайные, незначительные эпизоды. Но если вы чувствовали тепло, свет, которые исходили от этого человека, от его личности, разве у вас нет оснований сказать: «Да, я знала его»?..

*12. Владимир Иванович Малышев.
Служение идее и науке*

«Наука ведет к утверждению нравственных принципов в обществе, и нравственность сама может служить критерием точности научных выводов»

Д. С. Лихачев²⁸

Вспоминая свою юность, А. М. Панченко — сын моей однокурсницы Н. Т. Соколовой — писал о 50-х годах: «В те времена медиевистика считалась хотя и „почтенной“, но слишком отвлекенной и „скудной“ наукой. Сейчас, когда древности в большом фаворе, трудно даже представить себе, как мало интересовалась ими широкая публика четверть века назад»²⁹.

Что же говорить об отношении к древнерусской литературе поколения моего и матери А. М. Панченко? Нам внушалось со школьной скамьи, что все предшествовавшие XX в. периоды существования человечества были лишь предысторией к той новой формации, которая возникает у нас впервые и в утверждении которой как формации мировой нам предстоит принять непосредственное участие. Однако хотя многие преподаватели ЛИФЛИ, а затем и университета учили нас как первостепенной задаче анализу классовой позиции писателя, университетское и факультетское образование строилось по традиционному для русской университетской науки плану. Медиевистике в нем отводилось достойное место. Древнерусская литература читалась

²⁸ *Лихачев Д. С. Прошлое — будущему. Л., 1985. С. 431.*

²⁹ *Панченко А. М. О Владимире Ивановиче Малышеве // Древнерусская книжность. Л., 1985. С. 266.*

в течение года, старославянский литературный язык изучался тоже год, причем курс древнерусской литературы читал академик А. С. Орлов (а помимо лекций был обязательный семинар по этому предмету), а занятия по старославянскому языку вел также крупнейший специалист С. П. Обнорский, через несколько лет ставший академиком.

Однако, несмотря на увлекательность лекций Орлова и оригинальность его личности, на нашем курсе он нашел только одного последователя. И это неудивительно. Слишком далека была наша «ментальность» от предмета его занятий, слишком ослаблена связь с древними слоями культуры (исчезнуть совсем эта связь никогда не может). Этот ученик и последователь академика стоил целого отряда аспирантов. Он был человеком призвания в том высоком, первоначном значении этого слова, которое заключало представление о высшем таинственном призыве к подвигу. Студент Володя Малышев, впоследствии получивший широкое признание и у нас, и за пределами нашей страны ученый — Владимир Иванович Малышев, своими неустанными трудами повлиял на восприятие древней культуры русского народа и на отношение к ней.

Владимир Иванович внешне производил впечатление очень простого человека. Можно сказать про него словами Пастернака: «Впал как в ересь в неслышанную простоту». Но на самом деле он был человек очень непростой; я бы сказала даже, что его характер был в чем-то таинственным. В. И. был человеком самобытным, и вместе с тем в нем можно было усмотреть типические черты, если понимать типичность не как бытовую распространенность, а как свойства, исторически коренные для жизни России. В нем можно обнаружить сходство с Платоном Каратаевым, с капитаном Тушиным у Льва Толстого, но и с неистовым Аввакумом, которого он изучал, любил и уважал. Можно назвать и другие характеры в русской истории и литературе, с которыми у В. И. было что-то общее. Казалось, что рассказать о нем лучше всех мог бы Лесков. Личность В. И. сформировалась в эпоху отказа от традиций — от старого быта, семейного уклада, деревенских хозяйств, веры в Бога, в эпоху разрушения церквей. Общему потоку стремления «отречься от старого мира» он противопоставлял сохранение прошлого для будущего, спасение древней культуры, внедрение ее в современную жизнь. Призывы найти, «делать жизнь с кого», он истолковал по-своему — для него нравственным примером стал протопоп Аввакум. В. И. был

чужд религиозного фанатизма, никогда не был старообрядцем, но стойкость, человеческий подход к человеку, трезвая, скептическая оценка всякого лицемерия и лжи — все эти черты Аввакума были близки В. И. Откуда он почерпнул идею, которая прошла через всю его жизнь, — идею спасения культуры, трудно себе представить. Это теперь, когда цивилизация подошла к опасному краю бездны уничтожения природы и к всеобщему варварству, всякого рода организации по охране природы, культуры и прав людей стали непременной принадлежностью общества. Тогда В. И. — провинциальный юноша, самоучка — самостоятельно сформировал для себя идею защиты культуры и истории и стал самоотверженным служителем этой идеи.

Малышев пришел к нам на курс после академического отпуска по болезни. Он был старше большинства студентов на 5–7 лет. Его болезнь (туберкулез) была следствием тех тягот, которые выпали на его долю с детства. Он рос в обстановке бедности. Круглый сирота, он, вместе с братом и сестрой, воспитывался мачехой. Всю свою семью он очень любил (брат впоследствии погиб на войне), а о мачехе, которой он дал смешное прозвище «тараканчик», нежно заботился до самой ее смерти. Он выписал ее в Ленинград, и она жила вместе с ним. Когда она болела, он очень волновался и вызывал лучших врачей.

Владимир Иванович начал подрабатывать подростком, а во «взрослую» трудовую жизнь включился в 15 лет. В родном городе Наровчате Пензенской губернии он наблюдал всплески антирелигиозной и антицерковной кампании. Мачеха его была религиозна, и он, заинтересовавшись вопросом, на чьей стороне правда, под сенью Общества безбожников стал изучать историю религии, церкви, деятельность сект. В. Малышев любил русский провинциальный и деревенский быт (родители его были из крестьян), народные обычаи и народное искусство³⁰ и чувствовал, что религия занимает в народной культуре свое важное и прочное место. К нам на второй курс университета он пришел с установившимися интересами, со своей манерой поведения, очень отличной от принятой в нашей студенческой пролетарско-интеллигентской среде. Все свои силы он посвящал изучению одного предмета, которым он, очевидно, прилежно занимался и во время болезни, в академическом отпуске — изучению древне-

³⁰ См.: *Лихачев Д. С.* Немного о Владимире Ивановиче Малышеве // Древнерусская книжность. Л., 1985. С. 262–264.

русской литературы, причем, главным образом, той ее стороны, которая сохранилась в народной среде и продолжала жить в народной культуре. У него уже сложились широкие и самые разнообразные связи с людьми, знавшими древнюю словесность, хранившими старинные рукописные книги, любившими их. Эти связи он использовал для розыска рукописных книг, забытых в сундуках, на чердаках, в подвалах крестьянских изб и поселковых домов, собирания их, представления на экспертизу и водворения в книгохранилища. Он твердо уверовал в то, что старые рукописные книги — национальная ценность, памятники народной мудрости, сокровища, которые надо спасать, пока не поздно, и через музеи и книгохранилища, через науку, через изучение вернуть в народную культуру.

Можно предположить, что, когда в 1932 г. он, закончив рабфак Института путей сообщения, подал заявление на подготовительные курсы в ЛИФЛИ, он в какой-то мере видел свою будущую дорогу³¹. Свидетель «зорения» церквей, он противопоставил массовому потоку жизни общества направление, принятое и определенное им самим без чьих-либо подсказок, но имеющее значение «категорического императива», судьбы.

А. С. Орлов, заведовавший в Пушкинском Доме Академии наук Отделом древнерусской литературы, уже в бытность Владимира Малышева на студенческой скамье, заметил его, выделил, и тот стал постоянным посетителем его квартиры. Он приносил старому ученому вновь обретенные рукописные книги, они рассматривали их, академик определял их ценность. Можно себе представить, какое удовольствие доставляли академику находки В. И. Малышева. Для некоторых его товарищей по университету, не знавших о его деятельности или не понимавших ее значения, Володя был нерадивым студентом, нередко исчезавшим из университета и пропускавшим лекции, или чудаком. Для Орлова он был другом, «подчевавшим» его дивным «угощением» — неизвестными до того рукописями, но и упрямым, своевольным парнем, «гнувшим» свою, только ему ведомую линию. Орлов и встречал его приветливо, и нередко бранил на чем свет стоит, и обучал читать старинное письмо, понимать все его тонкости.

Одна студентка нашего курса горько жаловалась на «несправедливость» академика, поставившего ей за полный и обстоя-

³¹ Д. С. Лихачев пишет: «Владимир Иванович как ученый „сделал самого себя“ // Там же. С 262.

тельный экзаменационный ответ «4» и в то же время оценившего как отличные ответы двух непутевых парней, сдававших одновременно с ней экзамен — Малышева и его друга. «Он их почти не спрашивал», — утверждала огорченная студентка. Пока она бойко пересказывала конспект лекций Орлова, парни, ожидавшие своей очереди, задремали. Когда она окончила, Орлов обратился к ним; «Осовели, ребятки? А чем закусывали? Пост ведь». Слушая рассказ о закусках: «огурцах, кислой капусте, грибах», академик сочувственно кивал головой и приговаривал: «Хорошо, хорошо!».

Однажды Александр Сергеевич поинтересовался, как я готовлюсь к реферату на тему «Язычество в древней Руси», и, просмотрев мои тщательно составленные конспекты, сказал: «Типично женская работа!». «А какая же мужская работа?» — спросила я. «А такая, — ответил академик, — что не будет он так старательно конспекты писать, а пойдет в гости, загуляет, растянет работу, ругать его будут, а там, глядь, через несколько лет из него хороший ученый образуется». Он уже знал, что из Малышева со временем «образуется» ученый и прощал ему «гульбу». К тому же он, как впоследствии и Малышев, любил «покрытывать» женщин, следуя традициям древних поучений. Вместе с тем, они оба были добры, снисходительны и уважительны к женщинам — своим сотрудникам в науке, не говоря уж о том глубочайшем уважении, которое оба они питали к замечательной исследовательнице древнерусской литературы Варваре Павловне Адриановой-Перетц. Правда, об этой выдающейся женщине ее муж, суровый и требовательный академик Владимир Николаевич Перетц говорил, что у нее, в отличие от многих, голова существует не для ношения прически.

То как Владимир Иванович пришел в науку, можно считать необъяснимым чудом, как и то, что на место популярного и популяризируемого человеческого идеала Павла Корчагина Николая Островского он для себя поставил личность протопопа Аввакума. Однако не чудо ли человек и все ли в нем объяснимо? Малышев отрицал, что сам он старообрядец³² (когда я при нем употребляла термин «раскольник» в применении к старообрядцам, он

³² А. М. Панченко, много раз участвовавший в экспедициях Малышева, в числе принципов собирательства, которые он утверждал, называет и такой: «Нельзя лукавить и притворяться, нельзя выдавать себя за старовера». Панченко пишет: «Свидетельствую, что он соблюдал эту заповедь,

сурово остановил меня: «Никон, а не сторонники старой веры, был раскольниковом»). В. И. не казался религиозным, но соблюдал все русские православные праздники и посты. Однажды я застала его в состоянии отчаянья и аффекта: в больнице умерла его сестра, и он в гневе обвинял врачей и даже порывался им отомстить. Я не нашла ничего другого, как возразить ему: «Володя, ты христианин!». Он моментально осекся и успокоился.

Человек, наделенный здравым смыслом, практик и рационалист, он не любил все формы фанатизма, иронизировал по поводу энтузиастов и не разделял фанатизма Аввакума; в нем он видел, прежде всего, гениального писателя, человека старинной русской культуры, религиозного мыслителя и носителя высокого духа искренности, справедливости и независимости — т. е. праведника. Как и Аввакум, он был снисходителен к людям. Отсюда его, как теперь говорят, «коммуникабельность»; он был в простых, как бы товарищеских отношениях с людьми «разного звания», как Аввакум, который свободно объяснялся и бранился и с первыми лицами государства, и со стрельцами.

Уже на втором и третьем курсе Малышев начал свою собирательскую деятельность, причем его личное обаяние и глубокая убежденность играли немалую роль в успехах его экспедиций. Он появлялся в студенческой аудитории с пачками старинных книг, садился за последний стол и разбирался в них.

Наш преподаватель современного русского языка Чулкевич, занятия которого были необходимы, так как многие студенты, пришедшие с производства и из армии, плохо помнили грамматику и делали ошибки, особенно подозрительно относился к тем, кто пришел на факультет с курсов подготовки в вуз. Он вызвал Малышева к доске, продиктовал фразу, в которой было слово «тучу» — Малышев написал: «тучю» и на замечание преподавателя возразил: «Я всегда так пишу — ведь я читаю только старые книги, в то время так писали». Это была бравада: в отличие от многих своих однокурсников Володя был абсолютно грамотен и писал красивым, четким почерком, читал же он не только древние книги. Живо интересуясь современной литературой, он даже переписывался со многими писателями, особенно авторами исторической прозы. Но его бравада имела важный смысл. Сам он впоследствии, улыбаясь, в шутку говаривал: «Я рекламщик».

хотя она очень затрудняла его работу». *Панченко А. М.* О Владимире Ивановиче Малышеве. С. 274.

Посвятив себя собиранию и изучению старинных книг, он стремился пропагандировать свою идею и впоследствии привлек много молодых людей в свои экспедиции, привил им любовь к древней словесности и ее памятникам. Его поездкам предшествовала разведка. В экспедициях он никогда не покупал рукописей и книг, никогда не оказывал давления на их владельцев. Он вступал с людьми в контакт, покорял их своим обаянием и убежденностью, своими познаниями. Они становились его единомышленниками и дарителями. В. И. любил «гульнуть», выпить; он курил. Но за несколько месяцев до экспедиции он бросал пить и курить. Ездил он обычно один или с кем-нибудь вдвоем.

Более всего он боялся, чтобы книжные памятники не пропали, не были расхищены и уничтожены. С этим связан один из его наиболее «романтических» подвигов в зрелые годы. Владимир Иванович не только собирал книги, но и собирал сведения о местах, где они «водились». Он знал книгописцев, начетчиков и хранителей старых рукописей по всей России. Так, он «приметил» на Печоре в одном из поселений глубокого старца, владевшего целой библиотекой древнерусских книг, никому их не дававшего и не верившего своим сыновьям, которые не были религиозными и не занимались книгами. Владимир Иванович свел с ними знакомство, убедил их в ценности библиотеки их отца для науки и культуры страны и попросил беречь книги. Старец перед смертью завещал похоронить книги с собой в могиле. Похоронив старика, его сыновья дали Малышеву об этом знать телеграммой в Ленинград. Владимир Иванович срочно приехал, вышел из поезда верст за 50 до места, прошел лесом к реке, построил шалаш. Туда-то к нему и пришли сыновья покойного начетчика. Книги были тайно, ночью извлечены из могилы. Несколько дней на берегу речки Владимир Иванович проветривал и сушил книги, «хоронясь» от свидетелей, которые могли расправиться с ним. Сам Владимир понимал их и говорил мне: «Взял грех на душу. Матушка молится за меня. Ее молитва доходчива. Она как дитя малое. Но иначе не могу, долг, знаешь. Такое дело».

При упоминании о просушке старинных книг мне приходит на память такой эпизод: однажды, выйдя с заднего крыльца Пушкинского Дома, чтобы идти в столовую, я увидела, что Владимир Иванович во дворе повесил на веревке старые книги и выбивает их палочкой. «Володя! — воскликнула я, — что ты это делаешь? Разве можно так с ними обращаться?». «Приходится, — отвечал он, — нельзя иначе. Клопы!». Б. В. Томашевский,

который прогуливался во дворе, сказал одобрительно: «Очень хорошо! Нет ничего лучше, чем свежий воздух и ветерок. Владимир Иванович старые книги не обидит».

Приведу еще один пример того, насколько важным для Владимира Ивановича было просвещение, распространение знаний о национальной культуре. Это случай, который до сих пор, вероятно, некоторым памятен, хотя дело было давно. Некто, человек, не имевший отношения к филологической науке, в своем деле заслуженный, награжденный орденами и другими знаками отличия, пользовавшийся поддержкой высшего начальства, пожелал получить и ученое звание в области истории древнерусской литературы. Он написал кандидатскую диссертацию, за которую, в силу мощной поддержки, надеялся получить докторскую степень. Автор работы в соответствии с «модой» того времени доказывал, что русские уже в XI–XII вв. открыли Америку. К диссертации были приложены карты и рисунки, якобы скопированные с древних рукописей в монастыре, в котором они теперь утеряны и место нахождения которого он теперь не может восстановить. Все это было заведомой фальсификацией, которую Малышев определил немедленно, как только «диссертация» попала к нему в руки. Он пробовал урезонить автора, но, поняв, что это бесполезно, «занялся» этим делом. Ему удалось не только установить, что карты и рисунки скопированы с суперобложки одного исторического романа 1920-х годов, но и найти в Москве старого художника, некогда иллюстрировавшего этот роман и сделавшего эти рисунки автору диссертации за деньги, в которых очень нуждался. После этого Владимир Иванович поднял на ноги три института, добился авторитетной экспертизы и отзывов и послал их в ученый совет учреждения, в котором была назначена защита. Поскольку одним из оппонентов был академик, знаменитый путешественник Отто Юльевич Шмидт, В. И. дошел до того, что позвонил сыну академика, ученому историку Сигурду Оттовичу Шмидту и строго сказал: «Что вы не смотрите за папой! Ему подсовывают фальсифицированную диссертацию!». Мнение ученых не восторжествовало окончательно. Соискатель получил степень кандидата наук, но все же не доктора. Через некоторое время я увидела, что Владимир Иванович входит в читальный зал Рукописного отдела Пушкинского Дома с высоким плотным человеком в мундире моряка и обширной орденской колодкой (Древлехранилище тогда еще не было выделено из Рукописного отдела). Когда человек, с которым занимался Малышев, ушел, я

спросила Владимира: «Кого это ты привел?» — «А это, — оживленно и весело ответил он, — такой-то, автор знаменитой диссертации, которую я вывел на чистую воду. Я его привел показать, какие они — древние книги и рукописи на самом деле».

Владимир Иванович уважал собирателей и коллекционеров и без них не представлял себе общество, но считал необходимым, чтобы специалисты знали о тех документах, книгах и художественных произведениях, которые находятся в частных руках, так как целью собирания для него было познание, изучение. Он знал всех ленинградских и московских коллекционеров. Пользуясь противоречивостью психологии коллекционеров, которые, особенно в те суровые времена, тщательно скрывали свои сокровища от посторонних взоров, но при этом всегда были одержимы горячим желанием «похвастаться», продемонстрировать их понимающему человеку, Владимир Иванович однажды обошел всех коллекционеров Ленинграда, ознакомился с их собраниями, причем ему ставили условие держать руки за спиной и ничего не записывать. Выйдя от них он, по собственному признанию, посидел на скамеечках в двух-трех садах и составил полное описание виденного, а затем опубликовал это описание. Оправдывая этот поступок, он объяснял мне: «Все мы смертны, есть жены, дети, которые совсем иначе относятся к собранию, чем его создатель, выявлявший, находивший и приобретающий его в течение жизни. Из уважения даже к самому коллекционеру и его труду нельзя утратить найденное им, не говоря уж об уважении к создателям этих ценностей». В собственных научных трудах Малышев использовал новонайденные им самим материалы и новые тексты, обнаруженные другими, причем тщательно ссылался на тех, кто ему их предоставил. Так, в комментарии подготовленного им академического издания воинской «Повести о приходе Стефана Батория на град Псков» В. И. Малышев указывал: «Во время печатания настоящей книги мне удалось обнаружить в собрании ленинградского инженера Сергея Николаевича Быстрова список „Повести о приходе Стефана Батория на град Псков“ в летописной обработке»³³. Он характеризует эту рукопись, предварительно рассмотрев хранящиеся в библиотеках и архивах списки этого произведения XVI в., популярного в России и много раз переписывавшегося. При этом «путешествие»

³³ Повесть о приходе Стефана Батория на град Псков / Подг. текста и ст. В. И. Малышева. М.; Л., 1952. С. 126.

каждого списка из частных собраний в библиотеки или утери их фиксируются и прослеживаются. Судьба каждого списка произведения была для исследователя исполнена драматизма и поучительна.

Обнаружив уникальную повесть XVII в. «О Сухане», Малышев петитом в сноске отметил: «Рукопись была найдена автором настоящей работы в 1948 г. в Ленинграде (принадлежала З. Н. Савельевой)»³⁴.

«Найти» рукопись означало выявить, где она находится, установить ее значение, обеспечить ее сохранность, сделать ее объектом исследования, осмысления и, в конечном счете, ввести ее в обиход культуры, сделать достоянием науки.

Несмотря на заботу о пропаганде сохранения памятников культуры, В. И. не любил пышных официальных проявлений «чествования науки». Он не верил в искренность и полезность раздувания отдельной личности или явления. Он хотел популяризировать реальный процесс развития и утверждения народной культуры в ее естественных и самобытных проявлениях.

Малышев создал богатое Древлехранилище в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) Академии наук (7 тысяч рукописных книг), уникальность и разнообразие сокровищ которого по-новому осветили культуру русского народа, его литературную самостоятельность³⁵. Среди открытых им материалов есть такие исключительно ценные, как новые, неизвестные до того сочинения и письма протопопа Аввакума и новые документы о нем, новый список «Слова о погибели Руския земли», списки «Жития Александра Невского», «Слова Даниила Заточника», оригинальная, прочно связанная с устной народной словесностью повесть XVII в. о Сухане. Привлекая к участию в своих экспедициях молодых ученых, он сделал археографические исследования предметом воспитания и увлечения нескольких поколений филологов. Сам же он, странствуя поездом, самолетом, на лодках и плотах по рекам, пешком и в телегах по лесам и дорогам, часто в одиночестве или с двумя-тремя сотрудниками, находил все новые бесценные памятники древней народной культуры. Эти экспедиции в конечном счете подорвали его здоровье. Участник вой-

³⁴ *Малышев В. И.* Повесть о Сухане. М.; Л., 1956. С. 7.

³⁵ См.: *Творогов О. В.* В. И. Малышев — хранитель рукописей // Древлехранилище Пушкинского Дома. Материалы и исследования. Л., 1990. С. 272–273.

ны, перенесший тяжелое ранение, он изъездил и исходил сотни километров, общался с огромным количеством людей, находя с ними общий язык. Его не останавливали ни жара, ни холод, ни плохие дороги, ни вечно полуголодные дальние северные края. Во время одной из экспедиций в лодке с ним случился инфаркт, он еле добрался до захолустного поселка и там в гостинице без ухода и медицинской помощи пролежал месяц. От этого трагического «приключения» он не оправился до конца своих дней.

Работа Владимира Ивановича была бы невозможна без контакта с людьми. Он мог общаться с любым человеком — и с профессором, и с дворником, и порядочные люди всегда любили его и были готовы ему помочь. Вот еще один пример из его жизни. Однажды Владимир Иванович подвернул ногу, врачи назначили ему физиотерапию, и он ходил в поликлинику. Во дворе его встретил знакомый дворник и спросил, почему он хромот. Затем дворник пригласил его к себе в сторожку и, когда они уселись для беседы, вдруг со всех сил дернул его за больную ногу. Что-то хрустнуло, Владимир Иванович вскрикнул, но боль тут же прошла и не возобновлялась. Так ученого вылечил знавший толк в практической хирургии дворник. При большой общительности В.И. прекрасно разбирался в людях и знал, кто чего стоит. Он рассказывал, что однажды зимой отдыхал в Комарове в Доме творчества писателей и, идя по тропинке между сугробами, увидел, что навстречу ему движется один литератор, придерживавшийся открыто черносотенных и крайне антилиберальных взглядов. «И знаешь, пришлось свернуть и пойти по пояс в снегу», — заключал свой рассказ В. И. тем простодушным тоном, который создавал о нем впечатление как о человеке простом и наивном. В то время как его в большом конференцзале Пушкинского Дома чествовали в связи с каким-то юбилеем, он, сидя в конце зала, откуда его безуспешно пытались «извлечь», сказал громко, на весь зал тем же привычным простодушным тоном: «Включить бы Анатолия Максимовича Гольдберга и послушать, о чем он сейчас вещает!». Среди подарков, которые получил в этот день от коллектива сотрудников В. И., был радиоприемник ВЭФ. Передачи Би Би Си тогда подвергались запрету и глушились, но В. И. слушал их. Однажды директор Института пригласил В. И. в машину, в которой начальство ехало в Комарово. По дороге директор стал высказывать неприемлемые для В. И. злобные мнения. В. И. рассердился и сказал ему: «Фальшивый ты мужичонка, Николай Федорович!», остановил машину и

вышел на шоссе. В другой раз про нового директора он говорил с наивным видом: «Он меня не любит — завидует мне: когда мы в пивной, я всегда могу сделать так, чтобы гармонист сидел со мной рядом. Он этого не может».

Я высоко ценила мудрость В. И., его понимание людей и обстановки и часто советовалась с ним по жизненным вопросам, особенно в моменты волнений из-за политической ситуации. Обычно он утешал меня, говоря твердым мужским голосом, что в конце концов все будет хорошо: «Стук есть, но все как-то уладится!». Но в начале войны он сказал без обиняков, что будет очень тяжело.

Несмотря на монашеский образ жизни — мне казалось, что вся его жизнь — поистине религиозное служение науке — В. И. любил детей. Моего сына Антона он прозвал Аввакумом, делал ему подарки, всегда спрашивал: «Как там Аввакум?».

В начале войны, когда всех аспирантов отчислили из Института литературы в порядке сокращения штатов, я работала в госпитале на Петроградской стороне. Во дворе госпиталя я встретила Володю Малышева, который был на курсах командиров. Впоследствии, после окончания войны, когда мы были сотрудниками Института, Владимир рассказывал мне о своей службе в армии во время войны и о том, что на каком-то этапе этой службы он оказался командиром женской воинской части. Утверждая, что командовать женщинами очень трудно, что от них не добьешься дисциплины, он привел такой пример: «Дежурю я ночью, обхожу посты, и, понимаешь, дежурная у телефона спит. Я полчаса просидел у телефона, а она все спит». «А чего ты сидел полчаса, разбудил бы, да и пошел», — возразила я. «Да жалко, знаешь, будить. Молодая девчонка, бледная, как ее тут будить. Я уж сам посидел немного у телефона». Вот такая «критика» женщин!

13. Дмитрий Сергеевич Лихачев

Alles geben Götter,
die unendlichen
ihren Lieblingen ganz,
alle Freuden die unendlichen,
alle Schmerzen die unendlichen
ganz...

J. W. Goethe

Все даруют боги бесконечные
Тем, кто мил им, сполна.
Все блаженства бесконечные
Все страданья бесконечные,
Все...

И. В. Гете

(перевод Н. Вильмонта)

Дмитрий Сергеевич Лихачев был одним из специалистов-литературоведов, деятельность которых раскрыла общенародное значение гуманитарных наук. Осознание этого значения было присуще лучшим представителям нашей науки, но именно Лихачев придал гуманитарной культуре зримую форму. Его высокий нравственный авторитет был признан широким кругом мыслящих людей и укреплял плодотворность усилий по совершенствованию общества. Выступая против увлечения «занимательным литературоведением» и упрощением подхода к науке, он утверждал: «Красота научной работы состоит главным образом в красоте исследовательских приемов, в новизне и скрупулезности научной методики <...> она-то и приводит к открытиям. Она дает метод обнаружения истины»³⁶.

Разработке основополагающих начал методологии и методики филологической науки в применении к специальной сфере — истории древнерусской литературы — он посвятил фундаментальные труды: о летописании, одной из кардинальных тем русской медиевистики (кандидатская и докторская диссертации); о важнейшей сфере познания особенностей литературы XI–XVII вв. — текстологии (монография «Текстология», 1962); об эстетике художественных текстов этого большого исторического

³⁶ Лихачев Д. С. Избранные работы. Л., 1987. Т. 3. С. 459.

периода и дальнейших судьбах его эстетической системы («Человек в литературе Древней Руси», 1958; «Поэтика древнерусской литературы», 1967 и др.).

На интерес современных читателей к отдельным историческим и историко-литературным проблемам Д. С. откликнулся не эффектными и спорными гипотезами, а книгами, содержащими плоды упорной исследовательской работы — новые материалы, факты и оригинальный, всесторонне аргументированный подход к явлениям, породившим споры в научной среде (его труды о «Слове о полку Игореве»).

Нравственные принципы, которые всегда лежали в основе его деятельности, стали очевидны, когда в круг его занятий вошли вопросы истории быта, истории искусства, экологии природы и культуры, когда его научная деятельность сомкнулась с практической общественной деятельностью.

Особенности личности Д. С. стали важным фактором жизни нашего общества в сложный период этой жизни. Д. С. стал этическим авторитетом, когда в обществе активно обсуждался вопрос о выборе исторического пути и народ нуждался в нравственном авторитете, в людях, которым можно безусловно верить,

В некоторых отношениях Д. С. Лихачев может быть сопоставлен с Н. М. Карамзиным. Появление томов «Истории» Карамзина, вернувших русским читателям прошлое страны, утвердило за автором этого труда высокое значение нравственного авторитета. Пушкин вспоминал: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом»³⁷.

Д. С. Лихачев ввел в круг научных интересов молодых людей древнерусскую литературу и тем самым расширил ареал современной культуры. Строго научная «пропаганда» литературы Древней Руси была явлением, ломающим стереотипы вульгаризаторского подхода к истории литературы и бесстрастного академического описания ее текстов. Д. С. продолжал дело своих ученых предшественников. К произведениям XI–XVII веков он относился как к непреходящей эстетической ценности. Конечно, ему была чужда чувствительность, которая давала себя знать в «Истории» великого сентименталиста Карамзина, но его восприятие памятников древнерусской литературы было глубоко

³⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. 4-е изд. Л., 1978. Т. 8. С. 49.

личным и эмоциональным. О своих научных трудах он отзывался как о выражении живой памяти о трагической истории России, восстанавливая которую «записываешь наиболее дорогие имена», и «такие находились для меня в Древней Руси», — добавлял он³⁸.

Для Д. С. было характерно, что в жестоких условиях ленинградской блокады, осложненных для него упорными и очень опасными официальными «напоминаниями» о его каторжном прошлом, он размышлял об обороне древнерусских городов и в думах своих обращался к своим читателям и людям Древней Руси, формировавшим свое национальное самосознание и укреплявшим свой дух в годы военных бурь и невзгод³⁹.

Разнообразие сфер, в которых ученый выразил свой широкий взгляд на единство исторических судеб России, на нравственные основы русской литературы и русского искусства, последовательность и аргументированность его концепций, определяющих место эстетических ценностей, созданных российским народом в культурных завоеваниях человечества, привлекли к нему многих последователей, единомышленников, ученых, которые трудились рядом с ним многие годы.

Должна признаться, что я испытываю все те затруднения, о которых Дмитрий Сергеевич Лихачев упоминает в своем Предисловии к собственным «Воспоминаниям». Жизни не расскажешь, но наша жизнь протекала рядом, и, хотя мы близко не соприкасались в быту, наши отношения на протяжении многих лет были согреты симпатией и взаимопониманием.

Д. С. пришел в Пушкинский Дом на год раньше меня, и вначале мы были в этом учреждении на сходном положении. Он был младшим научным сотрудником, я — аспиранткой. Между нами была разница в возрасте: он был старше меня на одиннадцать лет. Но я его воспринимала как молодого человека. Мне был 21 год, и когда кто-то, шутя, спросил меня, как я гляжу на возраст человека, кого я считаю «молодым человеком», я без запинки ответила: «Кандидата наук», а Д. С. тогда еще не защитил даже кандидатской диссертации. Между нами установились товарищеские отношения. Я любила бывать в комнате Отдела древнерусской

³⁸ *Лихачев Д. С.* Воспоминания. СПб., 1995. С. 120.

³⁹ См.: *Лихачев Д. С.* 1) Оборона древнерусских городов. Л., 1942 (совместно с М. А. Тихановой); 2) Национальное самосознание Древней Руси. М.; Л., 1945; 3) Воспоминания. С. 352.

литературы и общаться с Варварой Павловной Адриановой-Перетц и другими сотрудниками отдела, в том числе с Д. С., который был чуть ли не самым молодым из них.

Одиннадцатилетняя разница в возрасте была причиной многих отличий в характере и культуре, которые «отделяли» меня от Д. С. Прежде всего, я не знала о его трагической истории, о его аресте, ссылке и пребывании на Соловках, о шлейфе «неблагонадежности», который за ним тянулся. Он был очень красив — высокий, стройный, с шевелюрой светло-русых волос и прекрасными серыми глазами, взгляд которых был всегда подернут грустью. Эту грусть я инстинктивно воспринимала как некую загадку, а его изысканная вежливость и сдержанность меня ставили в тупик. Они казались мне архаичными, напоминая мне манеры моего отца, а эпоха молодости моего отца была для меня историческим прошлым. Мне хотелось «расторгнуть» Д. С., заставить его громко рассмеяться, нарушить солидную сдержанность. Я была веселой и задорной девушкой и часто позволяла себе задевать Д. С. шутками и замечаниями, одно из которых, довольно дерзкое, он через много лет, к моему ужасу, мне напомнил. Очевидно, оно было ему в молодости неприятно. Наряду с такими, не всегда удачными шутками, я за глаза прозвала Д. С. «молодой Блок» (он действительно был несколько похож на этого поэта). Это прозвище имело хождение в аспирантской среде, через много лет на экземпляре своей работы я, даря ее Д. С., поставила надпись: «Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, который навсегда останется для меня „молодым Блоком“». Д. С. возразил мне: «Прежде Вы меня называли и иначе», — и напомнил мою остроту. Я невольно закричала: «Боже мой, что он помнит! Болтала глупая девчонка!». В этот момент мы на минуту вернулись в свою молодость: Д. С. живо вспомнил свою наивную обиду, я оглянулась на свою юношескую глупость. Впрочем, Дмитрию Сергеевичу было не чуждо отношение к «избыточной» вежливости и некоторой церемонности как к экзотике. Однажды в моем присутствии он сказал о С. А. Макашине: «Хороший человек, но уж слишком вежливый и воспитанный». «Ага, — подумала я, — ты тоже это ощущаешь!». Но в целом Д. С. ценил воспитанность и считал ее принципиально важной чертой интеллигентности, как и «понятия человеческой репутации», «приличия, порядочности и многие другие, ныне полузабытые»⁴⁰.

⁴⁰ Лихачев Д. С. Воспоминания. С. 122.

Разница в возрасте, помимо других наших «расхождений», сказалась и в том, что «мирное время», о котором говорили мои родители, имея в виду стабильную жизнь, и которое мне казалось каким-то мифологическим временем, для Д. С. было порой его детства и раннего отрочества, когда сложились его понятия о правилах поведения. Эти правила, подражая нашему отцу, усвоил мой младший брат, я же более придерживалась стиля студенческого сугубого демократизма, конечно, отчасти вульгарного. Впрочем, традиции интеллигентного общества наложили известный отпечаток и на мое обращение с людьми и смягчали мою склонность к фамильярности.

С Д. С. мы зачастую в буфете пили чай с булочками и конфетами и «философствовали». Каким-то чутьем я уловила в нем склонность к поэтическому философствованию и умела его навести на такие беседы. Мне было приятно, что он нарушал свою молчаливую сдержанность и начинал осторожно рассуждать на отвлеченные темы.

В эти годы нашего знакомства мы стали делать первые шаги в науке. Впоследствии на одной из подаренных мне работ Д. С. написал: «Ведь начинали-то мы вместе». Но он уже в это время проявил широту своих интересов, незаурядную образованность и огромную работоспособность и шел вперед семимильными шагами. Оба мы стали участниками коллективного труда «История русской литературы» АН СССР, причем редакторы томов этого многотомного издания поручили молодым авторам ответственные и трудные главы, в которых обобщался большой материал массовых и значительных явлений литературы. Тома, автором ряда глав в которых был Д. С. Лихачев (Т. 2, ч. I и ч. II), вышли в 1945 и 1948 годах. Мои же главы, вошедшие в тома 7 и 8 этого издания, появились много позже — в 1956 и 1957 годах. Однако, прежде чем эти работы вышли, и мне, и Д. С. пришлось пережить целую эпоху в нашей жизни и в истории нашей страны — эпоху Отечественной войны и Ленинградской блокады. Д. С. Лихачев в своих «Воспоминаниях» пишет о сокращениях штатов, которые коснулись многих сотрудников и явились для многих приговором к голодной смерти, так как человек лишался продовольственных карточек. Роспуск аспирантуры был одним из первых таких сокращений. Это раннее сокращение было для меня спасительно. Еще не образовалось большое количество сокращенных людей, и я смогла устроиться на работу в госпиталь, но первые месяцы войны я еще была аспиранткой и участвовала в подготовке

института к военному положению. Подготовка была очень активной, все делалось сообща, и это несколько поднимало настроение, хотя результаты этой бурной деятельности были весьма проблематичны. Так, мы заклеивали крест-накрест стекла бумажными ленточками, а вскоре начались бомбежки, и в большинстве домов Ленинграда стекла вылетели. В белую ночь на открытом грузовом трамвае сотрудники института выехали за город за песком, нарыли много песка и затем носили его в ведрах на чердак — на вышку Пушкинского Дома, наполнили все ящики, бочки и даже пол на чердаке засыпали песком, а стены чердака покрасили серой краской — суперфосфатом. Утверждалось, что этот суперфосфат помешает возгоранию. Я участвовала во всех этих работах, как и другие сотрудники, в числе которых неизменно был Д. С., что, вероятно, было ему вредно, так как у него была язва желудка.

На вышке Пушкинского Дома я дежурила по ночам — мы выходили на балкон и даже на крышу, так как немецкие самолеты сыпали на крыши домов и во дворы «зажигалки». «Зажигалки» нужно было захватывать железными щипцами и бросать в ящики с песком или на мостовую. При мне на крышу нашего учреждения таких подарков не упало. Мне случилось дежурить с замечательными учеными и целую ночь вести с ними разговоры. Со мной дежурили Б. М. Эйхенбаум, М. К. Клеман, Г. А. Бялый, Н. И. Мордовченко. С последним мы говорили о драматургии Н. Полевого, о котором я должна была писать в порученной мне статье в «Истории литературы», но в это время все наши историко-литературные темы стали казаться утерявшими значение.

Дежурила я и с Д. С. Лихачевым. С ним наш разговор иногда приобретал философский характер. Раз я робко спросила его: «Ведь не может же быть, чтобы такая великолепная цивилизация, как наша, погибла, и варварство восторжествовало?». Д. С. стоял в окне, выходящем на крышу, и с суровой правдивостью сказал: «Почему? Ведь от многих цивилизаций остались одни черепки, — но затем, увидев мое печальное лицо, добавил: — Впрочем, я надеюсь, что с нами этого не случится».

Очевидно, Д. С. чем-то запомнились наши дежурства. Через несколько лет, в 1945, он надписал мне на своей книжке «Национальное самосознание Древней Руси»: «Помните, как мы в 41 году „сторожили Ленинград“ на вышке Пушкинского Дома?». Не только тогда помнила, но и сейчас помню.

Когда в институте прошли «кадровые сокращения», и я, подвергшись сокращению, стала работать в госпитале, я все же изред-

ка заходила в Пушкинский Дом. Д. С. перевели в канцелярию, так как всех технических служащих уволили. По военно-общественной линии он числился «связистом». Тщательно и серьезно исполнив свои канцелярские обязанности секретаря, он затем появлялся в квартирах ослабевших и больных сотрудников, передавал им институтские поручения и новости и оказывал доступные по ситуации услуги. В городе начались систематические бомбежки. Когда я возвращалась пешком из госпиталя, где работала по 10 часов официально и еще задерживалась (конечно, без пищи и в холодном помещении), мне приходилось часто ожидать конца воздушной тревоги в подворотнях. Часто после бомбежки я шла мимо горящих домов. При этом я волновалась: как наш дом, как моя семья? Недалеко от нашего дома в Кирпичном переулке разбомбили шестиэтажный дом. Узнав, что Д. С. «достал» пропуск для хождения ночью по городу, я спросила его, как он оставляет семью. Д. С. вздохнул и сказал: «Это тяжелее всего! Когда я ухожу из дома, дети пытаются меня удержать и просят: „Не уходи! Без тебя мы боимся.“».

Дмитрий Сергеевич, судя по его «Воспоминаниям», страдал, переживая не только за своих детей. Его внимание привлекали к себе многочисленные случаи страданий и гибели детей в осажденном Ленинграде от голода и связанных с ним преступлений. Однажды — позже — в относительно «мирные» времена мы в одном из наших «философских» разговоров обсуждали тему, в каком возрасте человек узнает, что он смертен, и начинает думать о смерти. Через несколько месяцев после ухода из института я перешла из госпиталя на работу в детский дом. Началась работа по спасению детей, оставшихся без родителей. Мы в качестве педагогов принимали их в детские дома и стали воспитателями.

Помимо этой работы я еще стала донором. За сдачу 400 г крови нам выдавали небольшой продуктовый паек. Этот паек я делила со всей семьей, но себе оставляла одно яйцо, которое входило в паек. Однажды это сырое яйцо выскочило из моих рук и разбилось. Я заплакала. Этот эпизод открыл мне смысл сказки о курочке Рябе. Известный фольклорист К. В. Чистов однажды сказал в моем присутствии, что в этой сказке непонятно, почему дед и баба плакали, когда яйцо разбилось, ведь они сами били его, и я с неожиданной для меня самой горячностью выкрикнула: «Они хотели его съесть. Здесь дело не в том, что яйцо разбилось, а в том, что оно упало!».

Между прочим, в донорском пункте я встречалась с С. А. Рейсером и, несмотря на тяготы блокады, волнения и постоянные тяжелые впечатления, с удовольствием беседовала с этим обаятельным человеком и хорошим ученым, которому Д. С. симпатизировал.

Все, что пишет о блокаде Д. С., полностью соответствует тому, что пережила наша семья. Мы ходили за водой на Неву, где воду брали из проруби, ползком добираясь до нее по ледяной горке и скатываясь с ведром вниз. Д. С. также смотрел на пожары на Петроградской стороне, как я, так же их семья «запаслась» дровами и жгла книги, как наша семья. Мы никогда друг другу об этом не рассказывали, но сознание общей судьбы инстинктивно жило в нас.

Поразительно совпадение обстоятельств смерти моего отца и отца Д. С. Мой отец работал в издательстве, его отец — в типографии. Мой отец ходил еще на вторую службу, на завод, который находился совсем близко к фронту. Он ходил пешком, теряя последние силы, и в конце концов заболел воспалением легких. Лекарств не было. Мы меняли хлеб на сульфидин, но это, конечно, не могло помочь. Отец Д. С. скончался 1 марта 1942 года, наш папа — 2 марта того же года.

Впечатления блокады неизгладимы в памяти, но передать их почти невозможно. Такие воспоминания, как мемуары Д. С. Лихачева и документальная повесть Л. Я. Гизбург «Записки блокадного человека», уникальны. Они представляют собою человеческий подвиг.

Около года я проработала воспитателем в детском доме в Куйбышевской (Самарской) области в селе Кошки. Получив «распоряжение» дирекции Пушкинского Дома, предлагавшей мне вернуться в аспирантуру в месячный срок во избежание моего отчисления из аспирантуры, я уехала в Казань, где в эвакуации находилась Академия наук. Здесь я снова встретилась с Д. С. Он еще в 1941 году защитил кандидатскую диссертацию и стал старшим научным сотрудником, но не это, а стихийно сформировавшаяся вокруг него атмосфера интереса к его работе определяла его положение в среде ученых. На его доклады собиралась большая аудитория. Их посещали не только сотрудники, но и любители литературы, жившие в Казани, и студенты Казанского университета. Мысли, высказанные Д. С., обсуждались в научной среде, возбуждали размышления и споры.

Как теперь я узнала, у Д. С. и пребывание в Казани началось с каких-то затруднений с пропиской. Долгие годы он, поднима-

ясь по лестнице науки, все время за кулисами своих успехов и своей популярности оставался неблагонадежным, политически «подозрительным». Он был все тем же искренним, простым в обращении и в отношениях с «младшей братией» молодых и начинавших свою научную карьеру ученых, вежливым и снисходительным товарищем. Мнение Д. С. было авторитетно. Это накладывало на него очень неприятную и опасную обязанность прямо и откровенно оценивать работы и называть плохую работу плохой и плохого работника — плохим. Честнейший и строгий ученый — исследователь критики и журналистики Н. И. Мордовченко — славился тем, что о плохих работах хороших и плохих людей он одинаково давал свое знаменитое заключение: «Это чудовищно!». Д. С., подобно Н. И. Мордовченко, с которым был в приятельских отношениях, давал свои нелицеприятные заключения с позиций высокой требовательности и уважения к науке. Это порождало враждебное к нему отношение у «обиженных» его строгостью; активность их «подпитывалась» завистью и соблазном безнаказанности: они без стеснения использовали факт его гонимости в прошлом и его репутацию репрессированного.

Сам Д. С. в глубине души не отрекся от горького опыта своей каторги. Однажды в разговоре с ним я с похвалой отозвалась об одном старом и уважаемом ученом. Д. С. возразил мне: «Я его не уважаю!» — и далее речь зашла о том, что, попав под колесо одного из первых политических процессов, этот человек неосторожным заявлением поставил под удар своего учителя и родственника. Вокруг подобных заявлений было сфабриковано политическое дело, и его учитель подвергся преследованию. Правда, наказание, которому он подвергся, было не столь уж сурово по сравнению с теми приговорами, которые выносились позже на других процессах, и сам неосторожный ученик пострадал больше, чем его знаменитый учитель, но Д. С. отнесся к этому эпизоду однозначно. Я пыталась защитить столь решительно осуждаемого Д. С., но известного мне как очень порядочного человека и хорошего ученого, нашего общего знакомого: «Он был в то время очень молод (ему было, кажется, 19 лет), он испугался, его жизни грозила реальная опасность». — «Да кому нужна его жизнь. Он предатель!» — ответил Д. С. Я поняла, что со мной говорит один из людей, испытавших муки концлагеря, человек, знавший солидарность этих людей, и сказала: «Вы можете так говорить, но я не имею права так рассуждать. Я не знала этих испытаний».

На одном из заседаний, проводившихся с большой помпой в присутствии представителя высших инстанций Москвы и посвященных «разоблачению» носителей ложных и вредных идей в науке, я так устала от барабанных речей, опасных обвинений и ожидания, что сейчас начнут громить меня, что вынула корректуру своей статьи и попросила сидевшего рядом Д. С. посмотреть ее. В статье содержался обзор драматургии XIX века, наиболее распространенными сюжетами которой были исторические события конца XVI – начала XVII века. В интерпретации этих событий я опиралась на материалы, содержащиеся в классических трудах историков, и отчасти на отношение к этим событиям А. К. Толстого в его драматической трилогии. Д. С. прочел мою корректуру и сказал: «В общем, у меня возражений нет, но, знаете, теперь эту эпоху интерпретируют иначе, пишут даже: „прогрессивное войско опричников“». Я была крайне удивлена и, широко открыв глаза, громко закричала: «Да ну?». Оба мы засмеялись. Этот смех и наш оживленный разговор вызвали раздражение у председательствующего, ведущего заседание. Мы нарушили этикет таких «проработок». Мы должны были трепетать и сознавать свою «вину». Председатель сказал: «А как оживились Лихачев и Лотман!». Я была польщена тем, что я и Д. С. оказались под общим знаменателем. В науке Д. С. занимал уже очень высокое место.

Постоянная готовность превратить спор или литературную полемику в политические обвинения и обилие «доброхотов», готовых сфабриковать такое обвинение, угнетали. После конференции в университете, посвященной «Слову о полку Игореве» (1975 год), в ходе которой блестящий доклад прочел Д. С. и выступал мой брат Ю. М. Лотман, в «инстанции» был сделан клеветнический донос о содержании этих выступлений. Присутствовавших аспирантов и студентов стали вызывать в партбюро и допрашивать. Только энергичным вмешательством Г. П. Макогоненко, отвечавшего за проведение конференции, это «дело» было прекращено.

Под впечатлением подобных эпизодов Д. С., с которым мы встретились в электричке по пути из Зеленогорска в Ленинград, сказал мне однажды: «Чувствуешь себя, как в оккупации». Эти слова произвели на меня впечатление своим выразительным лаконизмом, и через некоторое время я их напоявила Д. С. «Я это сказал? — переспросил он меня и добавил: — Ай, ай!». Это было шутовское восклицание, но в нем содержалось нечто,

кроме шутки. В середине XIX века писатель Н. Г. Помяловский утверждал: «Есть некий хмель в откровенности». В этом утверждении выражено ощущение того, что в России откровенность — более чем откровенность. Так можно перефразировать известное изречение.

Д. С. отличали такие незаурядные свойства, как энергия доброты и способность учиться, постоянно усваивать новые сведения, знания, расширять свои интересы, превращать жизненные трудности и горести в источник умственного обогащения. Так, в лагере на Соловках он познавал древнерусское искусство, спасая иконы и сооружения монастыря, беседуя со знатоками древней культуры и священниками, сосланными на каторгу, и, по возможности, несмотря на свое зависимое положение, — облегчая их участь. С вниманием он отнесся и к простому человеку — крестьянину, поверившему в его хорошее отношение и поведавшему ему «секрет», как из автомобильных покрышек вырезать галоши для валенок.

Сочувствие Д. С. к людям и готовность помочь им в преодолении жизненных трудностей постоянно проявлялись и в последующие годы в более благоприятной обстановке. Он широко использовал возможности, открывавшиеся по мере его научного и общественного признания, для помощи тем, кто в этом нуждался. Многие сотрудники Пушкинского Дома почувствовали это на себе. К числу их принадлежу и я. В пору, когда мой брат Ю. М. Лотман подвергался опасной критике и преследованию за то, что искал новые пути в изучении литературы и культуры, Д. С. принципиально выступил на его защиту, доказывая, что разработка новых подходов к материалам исследования, нового метода в науке, а также формирование разных школ — необходимое условие развития всех областей знания. У Д. С. не было страха перед новизной, он охотно приобщался к ней и извлекал из новой методики средства для расширения своего научного метода. В статье «Об общественной ответственности литературоведения» Д. С. Лихачев утверждает, что если человек «сохранит умение понимать людей иных культур, понимать широкий и разнообразный круг произведений искусства, идеи своих коллег и оппонентов, если он сохранит навыки „умственной социальности“, сохранит свою восприимчивость к интеллектуальной жизни — это и будет интеллигентностью»⁴¹.

⁴¹ *Лихачев Д. С. Избранные работы. Л., 1987. Т. 3. С. 451.*

Большой помощью мне и впечатляющим проявлением товарищеского отношения ко мне я считаю его выступление на защите моей докторской диссертации в 1972 году. Моя защита откладывалась, а сезон защит в институте подходил к концу. На дни, когда Д. С. должен был выступить в ученом совете как мой оппонент, «пришлась» сессия Академии наук, на которой он, ставший уже с 1970 года действительным членом Академии наук, должен был присутствовать. Чтобы выступить на моей защите, он приехал на один день из Москвы в Ленинград и затем на следующий день уехал опять в Москву. Каждый из моих оппонентов (Д. С. Лихачев, Г. А. Бялый и Б. Ф. Егоров) выступил в своем стиле, и все три выступления были чрезвычайно интересны и ярки, но выступление Д. С. было проникнуто особенной, дорогой ему мыслью — столь же научной, сколь этической, — мыслью о литературной деятельности писателя как системе поступков, запечатлевающих его этическую позицию. Эта идея имела прямое отношение к моей диссертации, так как в ней содержалась мысль о коллективности участия писателей-современников в эволюции и становлении стиля литературы эпохи и господствующих в обществе способов решения проблем. Впоследствии я писала и об участии историко-филологической науки в этом общем процессе.

Весь этот круг проблем был сродни мысли Д. С. об «умственной социальности», о взаимопонимании участников интеллектуальной жизни как условия духовного прогресса общества. Впоследствии Д. С. написал на основе своего выступления на моей защите статью «Литература как общественное поведение», которая была напечатана в журнале «Вопросы литературы» (1974, № 10) и вошла в состав сборника его избранных статей.

Как большинство представителей гуманитарной интеллигенции, Д. С. жил скромно, небогато и был привычен к скромному быту; хотя всегда был изящен, сохранял манеры воспитанного человека из «хорошего общества». Он был скромнен по существу, не только был готов слушать критические замечания в свой адрес, но слушать их с интересом. Мне случалось довольно подробно говорить ему о его выступлениях и работах, и он терпеливо выслушивал мои слова, а порой и возражения.

Его интерес к культуре, создаваемой на протяжении веков страной и ее народом, окрашивался любовью к самым разным ее проявлениям. Так, за чайным столом однажды он вел длинный и необыкновенно интересный разговор с Ю. М. Лотманом о на-

званиях городов, об исторических изменениях этих названий и их соотношении с названиями рек. Присутствовавшие за столом женщины слушали этот разговор двух ученых как увлекательное, полное неожиданных сведений повествование.

В другой раз, уже у меня за столом, когда в его приборе оказались старинные нож и вилка, привезенные матерью моей свекрови из Сибири, и я смутилась, что такие «раритеты» у нас еще живут в хозяйстве и даже оказываются перед гостями, Д. С. заинтересовался ими с совершенно другой стороны. Любуясь старинным ножом, он рассказал о народном промысле гравировки на стали в городе Златоусте.

Особенное чувство духовной близости вызывали у него явления культуры начала XX века. Он очень любил балет. В нашей семье тоже увлекались балетом, но для нас это был молодой балет Мариинского театра. Мой университетский товарищ читал Н. М. Дудинской, исполнявшей ведущую партию в балете Б. В. Асафьева «Пламя Парижа», лекции по русской и французской литературе XVIII века, и я даже один раз была в гостях у знаменитой балерины. Однако у Д. С., который по-настоящему интересовался балетом, его дружба с той же Дудинской, К. М. Сергеевым и другими выдающимися артистами была связана с более глубокими культурными ассоциациями. Большой знаток живописи, он испытывал «притяжение» творчества и взглядов художников объединения «Мир искусства». Искусство не развивается без борьбы. Деятели этого объединения предьявляли к передвижникам претензии, сходные с теми, которые сами передвижники в 1860-х годах предьявляли академистам. Они видели их слабую сторону в заданности сюжетов, догматизме и, главное, в том, что их художественный метод и техника, по существу, оставались «академическими»⁴².

Для меня и моих сверстников передвижники и «Мир искусства» уже были классиками, и их споры представлялись нам явлением чисто историческим. Для Д. С., несмотря на сравнительно небольшую разницу в нашем возрасте, «Мир искусства» был явлением живым, современным. К передвижникам он относился критически, и я, привыкшая в семье любить их живопись, вступала с Д. С. в споры по этому вопросу. О картине Репина «Какой простор!» Д. С. говорил, что сюжет этой картины — изображение

⁴² См.: Асафьев Б. В. (*Игорь Глебов*). Русская живопись. Мысли и думы. М.; Л., 1966. С. 115–123.

молодого человека (очевидно, студента) и барышни, типа курсистки, стоящих во время ледохода в радостном возбуждении среди движущихся льдин, — странен и даже нелеп. Я защищала эту картину и вообще передвижников, хваля особенно их портретную живопись. Картину же «Какой простор!» (далеко не лучшее произведение Репина) я любила, так как мой отец хвалил ее и, когда мы были детьми, говорил, что она ему напоминает его юность.

Каково же было мое удивление, когда в книге Д. С. я прочла выраженную в форме художественного сравнения мысль, схожую с той, которая присутствует в полусимволической-полуреалистической картине Репина: «Русская история — как река в ледоход. Движущиеся острова-льдины сталкиваются, продвигаются, а некоторые надолго застревают, натолкнувшись на препятствия. Эту особенность русской культуры можно оценить двойственно: и как благоприятную для ее развития, и как отрицательную. Она вела к драматическим ситуациям»⁴³.

К перелому в своем положении, к превращению из «подозреваемого» и «караемого», не вписывающегося в обязательные рамки интеллигента в признанного, авторитетного представителя общественного мнения Д. С. отнесся как философ и историк, со значительной долей скептицизма, но и с сознанием ответственности, которую налагает на него это положение. «Льды истории» громоздились вокруг него, и он не уклонялся от того, чтобы «вмешаться» в конфликты и со всей определенностью выразить свою позицию в важных культурных, экологических и общественных спорах. Вместе с тем, роль «старшего» не только в семье, не только в научном центре по изучению древнерусской литературы, но и в обществе была для него нелегкой. Он прожил жизнь, полную увлекательной работы и научных достижений, но и огромных нагрузок, горестей, страданий, которые он переносил со стоицизмом. Поэтому у него была потребность сказать о своих горестях, поделиться своими огорчениями. Я была одним из тех собеседников, которым он «на ходу», при встречах очень сдержанно об этом говорил.

Очевидно, мне иногда удавалось сказать ему слова, которые снимали психологическое напряжение. На одной из своих книг он мне надписал: «Дорогой Лидии Михайловне, умеющей утешить меня одним словом, на память о „сослуживце“ с довоенных времен».

⁴³ Лихачев Д. С. Книга беспокойств. М., 1991. С. 234–235.

*14. Г. М. Фридендер в моей памяти сквозь долгие
годы общения и сотрудничества*

Первую робкую попытку познакомить меня с Георгием Михайловичем Фридендером сделала моя старшая сестра, когда мы с нею спускались по широкой лестнице известной Петербуржско-Ленинградской школы Петершуле (Peterschule). Дети нашей семьи, я, мои сестры и брат, как и Юра Фридендер, учились в этой школе. Моя старшая сестра — в одном с ним классе. У нее не было серьезных намерений нас познакомить, но она сказала, указав на ученика, который, сгибаясь под тяжестью ранца, подымался по лестнице: «Фамилия этого мальчика Фридендер». Он не обернулся на эту реплику, и мое с ним знакомство состоялось лишь через много лет и совсем в другой обстановке. Однако у нас с ним в отроческие годы, независимо друг от друга, сформировался запас общих впечатлений и воспоминаний, что было значимо в той жизни, в которой «неизреченная мысль», не высказанные, но понятые слова имели не меньшее значение, чем словесный обмен мнениями. Такой «разговор», иногда мысленный, а иногда лаконичный, хотя и словесный, запоминается надолго. Так, через много лет после окончания школы, когда годы пребывания в Петершуле уже вспоминались рождественскими и новогодними елками и стихами немецких поэтов, Г. М. заговорил со мной об учителях этой школы, которых мы любили, и, понизив голос, рассказал о трагической судьбе некоторых из них.

В одном из таких разговоров в фойе филармонии я вспомнила и рассказала ему, как мне показала его в первый раз сестра. Г. М. неожиданно с большим чувством отозвался на мой рассказ и, в свою очередь, рассказал мне, как он в детстве ездил в школу на трамвае с Васильевского острова, ждал трамвая, мерз и затем бежал к школе, ощущая тяжесть ранца и скользя по перемерзшей панели. К этому времени мы были уже давно знакомы, но ни разу до того я не слышала, чтобы Г. М. так подробно говорил о себе. Я познакомилась с Г. М. лет за десять до того времени, когда происходил этот наш разговор в филармонии. Познакомили меня с ним мои сокурсники, которые стояли в группе в коридоре филологического факультета и весело общались. Дело было в 1935 году, мне было 18 лет, и я была студенткой 2 курса филологического факультета. Г. М. подошел к нашей группе, остановив свое быстрое движение мимо нас и поздоровался с некоторыми

студентами и девушками, стоявшими рядом со мной, но, как с незнакомой, не поздоровавшись со мной. Это было замечено, и кто-то галантно представил ему меня, сказав: «Это Лида Лотман!». После этого Г. М. продолжал свое быстрое движение по коридору, а мои товарищи, заметив, что я не оценила в должной мере это новое знакомство, поспешили меня просветить относительно его репутации на факультете и значения этого человека в студенческой среде. Один из них сказал: «Это совершенно гениальный парень. Он составляет и комментирует хрестоматию „Карл Маркс и Фридрих Энгельс об искусстве“, при этом читает основоположников марксизма в подлиннике». Одна девочка робко добавила: «Он читал „Коммунистический манифест“ по-немецки». Кто-то добавил: «Я думаю, что он и „Капитал“ Маркса читал по-немецки».

Это, последнее, предположение повергло меня в трепет. На семинаре по политэкономии, которым руководил старый знаток творчества Карла Маркса (может быть, еще с дореволюционных времен) — доцент Берлович, мы изучали «Капитал». Руководитель семинара хотел нас научить не только цитировать Маркса и повторять его формулировки, но своими словами передавать суть его концепций. Это давалось нам с трудом, и представить себе, что я читаю Маркса по-немецки, я не могла. Юра Фридендер ставил перед собой иную, чем мы, «школяры», задачу. Он внимательно следил за спорами по вопросам эстетики и литературной политики, которые сотрясали идеологию времени нашего студенчества.

За право определять принципы и нормы новой пролетарской литературы шла усиленная борьба разных политических и литературных группировок, которая принимала все более ожесточенный характер. Какое-то время казалось, что верх решительно берут наиболее левые взгляды, утверждения прямой зависимости носителей культуры от их социальной принадлежности и характера искусства и литературы от чисто политической и социальной их ориентированности. Логика развития искусства, законов творчества, его восприятия и другие вопросы такого рода решительно выводились за грань проблем, требующих рассмотрения и осмысления. Эстетика полностью подменялась упрощенной социологией и политикой.

Укрепление подобных теорий и господство их в критике и в работах, авторы которых считали себя идеологами и историками, стимулировались ожесточенной борьбой с так называемым

формализмом, т. е. с теми филологическими исследованиями, авторы которых в острой полемической форме в качестве главного, определяющего предмета своих работ выдвигали специфику художественного развития литературы и искусства, разнообразия их форм и средств выражения ими содержания.

Нападения на формалистов и очень резкая, уничтожающая их критика, доходящая до «разоблачения», поощрялась руководящими правительственными теоретиками. Социологи заняли господствующее положение в критике и публицистике. Но чем прочнее чувствовали себя теоретики такого социологизма, «выбившиеся в начальство», тем слабее было их положение объективно. Партийно-правительственные «верхи» традиционно давали понять, «кто в доме хозяин», и не поддерживали претендовавших на слишком большой авторитет посредников — «агентов влияния». Падение вульгарно-социологических теорий было предопределено не этическими или эстетическими причинами, а пороками самого метода, которые обнаруживались все более очевидно по мере развития литературного процесса. Это видели даже студенты. Г. М. Фридендер уже в студенческие годы стал одним из последовательных критиков «вульгарного социологизма» на факультете. Его кругозор и политико-философская начитанность были гораздо шире, чем у большинства студентов. Он был убежденным марксистом и верил, что изучение Маркса даст ключ к решению всех современных споров, откроет путь к истинному марксизму и его гуманитарному содержанию. Убежденность его в плодотворности теории, которой он владеет, была столь незыблема, что он немедленно приступил к практическому решению современных вопросов на основе этого метода. Во главе своих товарищей-студентов, которые признавали его авторитет, он принялся за труд, который должен был содержать основы истинно марксистского подхода к проблемам эстетики. Уже на этой стадии своих занятий Фридендер придавал большое значение политической составляющей своего «проекта». Автор содержательного очерка о студенческих годах кружка, который сформировался вокруг этого талантливого студента в начале 1930-х годов, А. Тамарченко вспоминает: «Роль искусства как формы освоения мира и задача внутреннего обогащения и развития каждого человека становились главными. Так это, по крайней мере, сложилось в наших головах. Поэтому мы вообразили себя великими открывателями, т. е. почувствовали себя теми поручиками, которые втроем идут в ногу, тогда как полк

почему-то идет не в ногу. Мы думали даже послать работу, которую напишем, ни много, ни мало как самому Сталину.»⁴⁴. Эта наивная затея не была осуществлена, но вытекала из высокого мнения о политическом значении их труда, которое прочно сложилось в этом молодежном кружке. К счастью в 1933 году вышла книжка двух известных теоретиков — специалистов по западной литературе М. А. Лифшица и Ф. П. Шиллера, содержащая избранные цитаты из произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, касавшиеся вопросов эстетики. Юные теоретики решили послать свою работу М. А. Лифшицу, т. к. узнали, что он работает в Институте Маркса и Энгельса. К тому же, самое появление сборника цитат классиков марксизма свидетельствовало о том, что среди московских философов возник интерес к тем же проблемам, которые ставил перед собою студент Фридендер.

Получив статью авторов: Фридендера и Я. Бабушкина, Лившиц прислал на адрес деканата филологического факультета отзыв, в котором высоко ее оценил, а познакомившись лично с молодыми теоретиками в один из своих приездов в Ленинград, способствовал их привлечению к работе над хрестоматией «Маркс и Энгельс об искусстве и литературе». Эта большая книга, в которой тексты с тщательностью подбирал Юра Фридендер, и где он же и его товарищ А. Выгодский были авторами обширного комментария, стала для нас, студентов, обязательным пособием. Цитаты из Маркса и Энгельса, собранные Фридендером в этом издании, впоследствии многие годы путешествовали по работам, в которых авторы пытались опереться в своих суждениях на классиков марксизма.

Таким образом, еще студентом Юра Фридендер на равных вошел в круг известных философов-марксистов Москвы — друзей популярного марксиста Европы Дьердя Лукача. Ленинградский студент участвовал в обсуждении философских проблем в кругу высоко образованных специалистов и укреплялся в своем интересе к сфере их занятий и в уверенности в своем призвании. Его авторитет на факультете возрос, круг его друзей и единомышленников стал шире. Он ощущал себя идеологом нового течения в марксизме, при этом он и его единомышленники «считали себя вполне легальными мыслителями»⁴⁵. Впоследствии, в

⁴⁴ Про memoria. Памяти академика Георгия Михайловича Фридендера (1915–1995). СПб., 2003. С. 326.

⁴⁵ Там же. С. 326.

зрелые годы он придавал большое значение своей борьбе с вульгарным социологизмом. Однако в его личном развитии более явное значение имел опыт его работы над комментарием, в котором он проявил способность к анализу, интерес к историческим обстоятельствам, к обстановке, в которой формировались идеи Маркса и Энгельса, любовь к конкретному материалу, к фактам. Эта сторона его ранней работы определила возможность его возвращения к ней через ряд лет, использование в докторской диссертации обобщений и наблюдений, сделанных им на основе фактов, которые он изучал на студенческой скамье, и издание им зрелой книги «К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы» (1962 г.). В студенческие годы мы с Г. М. очень мало общались, можно сказать, почти не общались. Встречаясь на лестнице или в коридоре, мы здоровались, но он знал обо мне только что я — Лида Лотман, а я о нем, что он — Фридендер, гениальный парень, который комментирует Маркса. У каждого из нас было свое окружение. Его окружала плотная группа поклонников и единомышленников, меня — мои друзья, с которыми я была связана общими студенческими буднями — занятиями, чтением огромных списков литературных произведений и научных книг и статей по специальности — учебников тогда почти совсем не было, и мы читали в Публичной библиотеке произведения писателей XVIII в. в старинных изданиях, дореволюционные издания обобщающих трудов по истории литературы, книги авторов 30-х годов по поэтике и монографии по конкретным вопросам литературоведения. Лекции наших профессоров, которые перед студентами выступали со смелыми новыми концепциями — результатом их научного творчества — в своем большинстве нравились нам, вызывали оживление в нашей среде и побуждали подражать учителям и по-своему трактовать отдельные конкретные темы. Научные кружки и семинары проходили в оживленном обсуждении и спорах. Наши профессора критиковали наши опыты и поощряли наиболее удачные из них. В своем большинстве эти опыты были реакцией на вопросы, которые ставились в лекциях и выполнении заданий, которые нам давали преподаватели.

Таким образом, литературные проблемы нас интересовали значительно больше, чем вопросы философии и политики. В молодости, когда человек еще не знает, как в будущем сложится его судьба, он, как правило, охотнее идет на эксперименты, меняет сценарий своего поведения, свои решения. В решениях, которые принял Г. М., проявились некоторые характерные черты

его творческой личности. По окончании университета он поступил в аспирантуру, куда устремились и многие студенты филологического факультета, прилежно учившиеся и проявлявшие интерес к научным занятиям. Сферой своих занятий он избрал не социальные и эстетические проблемы, вызывавшие горячие споры и публичные обсуждения, а чисто историко-литературную область и тему из этой области — сборник Гоголя первой половины XIX в. «Арабески». Своим научным руководителем он пожелал видеть профессора В. В. Гиппиуса, в семинарах которого принимал участие. Казалось бы, это традиционное решение и обычное поведение студента, отлично окончившего филологический факультет. Но при более внимательном рассмотрении их обнаруживается глубокая продуманность этого решения. Свое сотрудничество с Василием Васильевичем Гиппиусом он мыслил не как обычные взаимоотношения ученика и учителя, а как диалог философов, эстетиков разных поколений и эпох. Очевидно, он уже тогда знал о Гиппиусе гораздо больше, чем я, которая тоже слушала спецкурс этого профессора и впоследствии совершенно независимо от Фридендера тоже захотела, чтобы руководителем моим в аспирантуре стал тот же Гиппиус. (О В. В. Гиппиусе см. выше.) Я исходила из совсем других соображений, чем Г. М. Мне казалось, что этот молчаливый замкнутый человек — Гиппиус — хороший ученый и очень строгий учитель, и я про себя решила, что к тому, что я напишу, он отнесется с самой высокой требовательностью. Должна сказать, что В. В. Гиппиус отнесся ко мне с большим доверием и уже во время моего пребывания в аспирантуре способствовал тому, что мне поручили писать статью для коллективного труда института «История русской литературы», а затем благожелательно отозвался о моей статье.

Г. М. был гораздо ближе, чем я, знаком с Гиппиусом. Уже студенческие годы, будучи слушателем его спецкурса по Гоголю и участвуя в его семинаре, он вел с профессором беседы и споры, излагая ему свои идеи об «истинном марксизме». Ближайшим друзьям он с гордостью сообщил, что Гиппиус признал воздействие студента на его отношение к марксизму. Вот как об этом сообщает член ближайшего кружка Фридендера А. Тамарченко: «Гиппиус впоследствии говорил, что Юра существенно изменил его отношение к марксизму»⁴⁶. Можно, впрочем, предположить,

⁴⁶ Там же. С. 330.

что профессор испугался настойчивости студента или впоследствии аспиранта.

Избрание Георгием Михайловичем в качестве диссертационной темы сборника «Арабески» было тоже всесторонне обдуманно. Этот сборник был Гоголем составлен своеобразно: в нем совмещались художественные повести с эстетическими и историческими статьями. Наряду с темой Петербурга в сборнике присутствовали теоретические обобщения и эстетические рассуждения. Это давало диссертанту основание обратиться к таким интересующим его вопросам, как проблемы исторических закономерностей, мнения немецких мыслителей об истории, т. е. к тому, чем он занимался в процессе изучения наследия Маркса.

Теоретическая направленность его кандидатской диссертации отражена в самом ее заглавии: «„Арабески“ и вопросы мировоззрения Гоголя Петербургского периода» (защищена в 1947 г.), так же как впоследствии теоретический аспект уже с несомненной определенностью присутствует в заглавии его докторской диссертации «К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы» (защита в 1963 г.). Эти диссертации и их защиты были позже, а пока, когда я, по окончании университета, поступила в аспирантуру, а Г. М. уже был аспирантом, мы стали чаще встречаться и общаться, хотя я была аспиранткой Пушкинского Дома Академии наук, а он оставался при университете. В Пушкинском Доме в это время были сосредоточены лучшие силы литературоведческой науки, многие ученые совмещали службу в университете с сотрудничеством в научном учреждении — Институте литературы Академии наук СССР — Пушкинском Доме. Здесь были знакомые и друзья Георгия Михайловича, которые дружили и со мною. Но главное — здесь было немало заседаний и конференций, которые интересовали научную молодежь этих «родственных» учреждений. Встречаясь, мы обсуждали некоторые доклады в «своем кругу», иногда свободно критикуя признанных ученых. Особенно резким и язвительным на этих частных обсуждениях бывал приятель Г. М. Фридендера, его товарищ по университету Павел Громов. Я познакомилась с ним еще в студенческие годы в литературном кружке, когда я имела неосторожность прочесть свои школьные стихи. Он отозвался о них с обидной насмешкой, а меня резко отчитал. Впрочем, через несколько дней он по собственной инициативе подошел ко мне и заговорил в коридоре филфака вполне дружелюбно. В коридорах Пушкинского Дома я уже и с ним и с Г. М. Фридендером встречалась как со

старыми знакомыми, чуть ли не как с приятелями. Трудно было бы найти менее похожих людей, хотя оба они были философиями, мыслящими большими обобщениями; но то, что составляло для Фридендера центр круга его философских интересов, было совершенно чуждо Громову. Он весь был погружен в философию начала XX века и в поэзию серебряного века, которую Г. М. тоже знал, в отличие от большинства моих ровесников и меня в том числе. Эта поэзия не печаталась, и я ее знала только по отдельным томам собраний сочинений Блока, Бальмонта, по чудом дошедших до меня сборникам и другим разрозненным публикациям начала 20-х годов.

С Громовым я часто обсуждала спектакли (он замечательно говорил о театре), но о литературе с ним нельзя было не спорить. Он щеголял своими неожиданными, оригинальными суждениями, очевидно, желая произвести впечатление на наивного слушателя, привыкшего к мнениям университетских профессоров. Так, однажды, он поверг меня в шок утверждением, что Гете как поэт и писатель не имеет серьезного значения, а его «Фауст» весь посвящен «какой-то уголовной истории». Впоследствии я имела достаточно случаев убедиться, как решителен и опрометчив в своих суждениях бывает Павел Громов. Вместе с тем его острое перо было оценено, и он стал известен как критик.

Г. М. был моим советчиком, когда я делала первые шаги в работе над научными статьями. Мне нравилась его убежденность и уверенность в своих мнениях, взвешенность его советов. Но он был не единственным, к кому я обращалась с вопросами, чтобы укрепить свою уверенность в решениях, которые я принимала.

Илья Серман, мой товарищ по университету, сохранил со мной дружеские отношения и тогда, когда мы оба оказались в аспирантуре Академии наук. Уже в университете он охотно делился со мною своими сведениями, т. к. я нередко обращалась к нему за советом. Это продолжалось и в годы аспирантуры. Так что он, как и Фридендер, был моим советчиком. Эти мои советчики особенно сблизились в аспирантуре, и я часто опиралась на их мнения. Они были в дружеских отношениях между собой. Однажды, как я вспоминаю, мы втроем даже побывали на спектакле «Трактирщица» Гольдони с участием блестящих актеров того времени В. П. Марецкой и Н. Д. Мордвинова. Илья Серман, который был на пару лет старше меня и знал меня с первого курса университета, когда я была совсем юной девушкой семнадцати-восемнадцати лет, сохранял в отношении меня несколько

учительский тон. Поделившись со мной своими обширными сведениями по какому-либо вопросу, он наставительно говорил: «Лидочка, надо знать такие вещи!». Это замечание, которым он нередко заканчивал свои «консультации», смущало меня. Но в целом, я в душе была согласна с Ильей, т. к. сознавала, что действительно в моих знаниях есть существенные пробелы. С Г. М. и Ильей Серманом я встречалась и на некоторых спектаклях, и на выставках в Эрмитаже и Русском музее. Однажды во время одной из конференций, когда доклады утомили молодежь, присутствовавшую в этот раз не по собственному желанию, а по требованию дисциплины и указанию администрации, скучающие студенты обратили внимание на то, что на другой стороне зала чем-то развлекаются и «хихикают» Фридендер и Громов. Им была послана записка, и оказалось, что их веселье вызвано тем, что они сочиняли пародию, уподобляя наших преподавателей героям романа Достоевского «Братья Карамазовы». Создавая эти сравнительные характеристики-уподобления, они юмористически обобщали некоторые черты ученых и сближали их с чертами героев романа, не претендуя на полное сходство. Так, замечательного ученого и лектора академика А. С. Орлова, отличавшегося резкими высказываниями и ироническими замечаниями, они уподобили Федору Павловичу Карамазову, давая понять, что чувствуют в его шутках и скептицизме какие-то признаки цинизма. Сравнив любимца студентов, блестящего профессора Г. А. Гуковского с героем Достоевского юным нигилистом Колей Красоткиным — «заводилой» и лидером гимназистов, они иносказательно выразили мысль о характере влияния талантливого ученого Гуковского на молодежь. В руководителе Фридендера В. В. Гиппиусе эти два аспиранта разглядели скрытые философские искания и трагические переживания, уподобив его Ивану Карамазову.

У аспирантов и студентов того времени был острый интерес к личности профессоров. Через них мы видели поколение интеллигенции, которая предшествовала нам, и о которой мы мало знали. Мы вообще мало знали о культуре начала XX века, его «серебряного» начала.

Молодость наших, еще совсем не старых, учителей для нас зачастую была покрыта туманом скрытых, скрываемых обстоятельств, недоступных изданий, недомолвок, неопубликованных произведений. Кроме их лекций и семинаров, их выступления, самое их присутствие, их вид, их поведение давали нам

представление о другой среде и эпохе, имели воспитательное значение. Я, как и другие аспиранты, посещала заседания группы «XVIII век», Пушкинской группы (впоследствии отдела) и Лермонтовской группы. Г. М. Фридлендер, конечно, был среди нас. Запомнились и некоторые Пушкинские конференции, на которые съезжались ученые и преподаватели со всей страны. Очень интересны были заседания группы «XVIII век», которыми руководил сначала Г. А. Гуковский (во время нашей аспирантуры) и позднее П. Н. Берков. Здесь читались доклады не только на общие темы, но и на частные, конкретные темы этой дальней литературной эпохи. Эти «частности» особенно ошутимо приближали к нам «дела давно минувших лет». После П. Н. Беркова группой руководил наш товарищ по университету Г. П. Макогоненко.

Большое впечатление производили некоторые «разрозненные» заседания, посвященные какому-либо литературному или культурному явлению, событию или писателю, как например, редкие и не поощрявшиеся администрацией заседания, посвященные Блоку.

Помню, как всех нас взволновала встреча с артистами Московского Камерного театра во главе с его руководителем А. Я. Таировым и ведущей актрисой театра А. Г. Коонен. Камерный театр был в Ленинграде на гастролях. Театр этот все время подвергался пристрастной критике и нуждался в поддержке. Павел Громов и Фридлендер — оба восхищались этим театром и одобряли, что Пушкинский Дом принял театр, который отрицательно оценивался официозной критикой, и дал возможность руководителям театра ответить на критику и выразить принципы своей деятельности. Я была вполне согласна с этими молодыми философами, т. к. была потрясена А. Коонен в роли мадам Бовари, всем этим спектаклем Камерного театра, интересовалась другими его спектаклями и купила билеты на все гастрели. Но прежде чем театр закончил свои гастрели и покинул Ленинград, произошло событие, которое жестоко ударило по нашей жизни и перевернуло все наши настроения и впечатления — началась война. Все, что казалось самым важным в нашей жизни, утратило смысл, на первый план вышли новые тревоги и обязанности, новые настроения и мысли. Я мало здесь говорила о ежедневных трудностях и бедах, которые сопровождали нас в нашей повседневной, будничной жизни, но с момента начала войны эти «мирные» беды как бы уменьшились в весе, хотя их масштаб был значительным. Война

открыла перед нами угрозу огромных бедствий, касающихся не отдельного человека, а всей страны, всего народа.

О горестях и трудностях, которые пришлось пережить Г. М., я узнала через много месяцев после начала войны. В конце войны в канцелярии Пушкинского Дома я обратила внимание на высокую пожилую даму, внешность, одежда и манеры которой внушали мысль о том, что она принадлежит к кругу людей «старого воспитания» и живет или жила до войны благополучно, в хороших условиях. Я спросила у секретаря дирекции, кто эта дама, и узнала, что это мать Фридендера, которая хлопочет за сына, оказавшегося в заключении, собирает справки, добываясь его освобождения. Репрессирован Г. М. был потому, что в его паспорте в графе «национальность» стояло «немец». Хлопоты матери Г. М., которая совсем не походила на «просительницу», поддержали авторитетные ученые: известные организаторы и редакторы знаменитой серии сборников «Литературное наследство» И. С. Зильберштейн и С. А. Макашин, М. А. Лифшиц и другие историки и литературоведы, которые знали его как ученого-комментатора и текстолога. Президиум Академии наук поддержал эти ходатайства и, в конечном итоге, он был освобожден. Но, оказавшись на свободе, Г. М. снова испытал трудности в послевоенные годы. Его мать — Анжель Морисовна — после хождения по кабинетам начальников, от которых зависела судьба ее сына, перенесла тяжелый инсульт, и Г. М. оказался без средств к существованию с больной матерью на руках. На работу его не брали по анкетным данным. Но Г. М. не только не потерял веры в себя в этих тяжелых обстоятельствах, но испытал взрыв энергии. Обладая исключительными деловыми и профессиональными качествами, он в короткий срок оживил все свои связи, которые успел завязать в годы студенчества и аспирантуры. Научный руководитель его в аспирантуре, с которым он был хорошо знаком уже как участник его семинара, В. В. Гиппиус, до войны ввел его в круг членов редколлегии академического собрания сочинений Гоголя, посвятил его в работу, которую вели эти ученые, а может быть, и привлек в какой-то форме к этой работе. После освобождения Г. М. напомнил членам редколлегии о себе и был охотно допущен к участию в этой работе. В. В. Гиппиус умер в блокаду, но уважение к нему как главному редактору издания было живо в чувствах его коллег, к тому же Г. М. был объективно достоин стать участником этого проекта. Вскоре необходимость привлечения новых участников к этой работе еще более возросла. Умер

прекрасный ученый, осуществлявший после смерти Гиппиуса часть его работы — Н. И. Мордовченко. В подготовке планового задания — академического собрания сочинений классика образовалось значительное отставание. Я была как сотрудница Института привлечена к подготовке значительной части текстов и комментариев 8-го тома, другую часть этого тома готовили Г. М. Фридендер и ученица Н. И. Мордовченко О. Б. Билликин — молодая девушка, исключительно самоотверженно трудившаяся, как и Г. М., на договорных началах. Так мы — я и Г. М. Фридендер — оказались сотрудниками в общей работе, к тому же работе срочной и ответственной,

Обстановка в обществе этих лет была напряженной и, можно сказать, истерической. Среди разного рода нападений на самые успешные и прогрессивные направления и школы в науке особенно сильна была тотальная критика текстологии. В этой области в Ленинграде сформировалась сильная и оригинальная школа, в духе которой мы работали, готовя тексты, варианты этих текстов, сохранившиеся в рукописях писателя, и комментарии к ним.

Как известно, наука не может развиваться без споров. Пристрастные критики спекулировали на этом и, раздувая малейшие расхождения во взглядах ученых, внушали читателям, а более всего чиновникам, приставленным «надзирать» за наукой, уверенность в том, что в науке существует единственная непререкаемая точка зрения, а все, кто ее подвергает критике, — сознательно вредят стране. Под этим углом зрения тщательно проверялись все работы текстологов, и «бдительные» критики делали карьеры.

«Работа требует своего времени», — нигде этот афоризм не оправдывается так, как при изучении рукописей писателя.

Нам пришлось «догонять время», потерянное из-за болезни и гибели крупнейших ученых, которые начинали работу над Полным собранием сочинений Гоголя. Мы сознавали свою ответственность перед наукой и читателями и работали честно и самоотверженно, но директор института, которого высшие инстанции постоянно упрекали за задержку томов издания, обращал свой гнев на нас и, чтобы ускорить работу, учредил над нами надзор и слежку. К тому же ему не нравились наши анкетные данные. Мы «засоряли» его кадры. Техническому сотруднику, человеку очень добросовестному, но робевшему перед начальством, он поручил ежедневно докладывать, сколько листов мы сделали за день, одна ученая дама, работавшая рядом с нами, по собственному желанию постоянно доносила директору, что, по ее мнению,

я «не так делаю», и он вызывал меня к себе в кабинет и пробовал кричать на меня. Я отвечала ему очень сдержанно и объясняла, почему и как я тот или другой вопрос решаю, после чего он менял тон. Мне больше, чем другим участникам этой текстологической группы, «доставалось» еще и потому, что мне пришлось готовить поздние моралистические и религиозные произведения Гоголя, которые оценивались как реакционные. Одно произведение в этом роде «Божественная литургия» вообще категорически не пропустила цензура. В отношении других произведений, в частности в отношении известной книги «Выбранные места из переписки с друзьями», были сделаны строгие предписания, что следует в комментарии выявить их реакционную суть. Мало того, для полноты разоблачения этой «сути» надо в приложении к тому поместить известное письмо Белинского к Гоголю, содержащее критическую оценку этого произведения. Несмотря на подобные требования и необходимость осуществить эту работу в очень сжатые сроки, сама по себе она была интересна и поучительна. Из библиотеки Ленина в Москве нам была выслана подлинная рукопись Гоголя. Такая рукопись — почти присутствие автора. Это живая связь с ним. Тут содержались и исправления самого Гоголя, и замечания и исправления, сделанные рукой редактора П. А. Плетнева, и пометы и вычеркивания цензурного характера. Все это давало материал для осмысления хода работы Гоголя над произведением и для того, чтобы сопоставить ход опубликования книги с ее дальнейшей судьбой и особенностями восприятия ее читателями. Мы работали даже ночью. Днем я, Оля Билинкис и Г. М. Фридендер занимались в читальном зале архива (рукописного отдела института). Г. М., участвуя в работе над 8-м томом, большую часть своего времени посвящал подготовке 9-го тома, где, как предполагалось, он станет главным редактором. Он работал, не подымая головы от стола, и, хотя мы мало с ним общались в этот период, я каким-то необъяснимым чувством поняла, что он надеется преодолеть все препятствия и поступить в Пушкинский Дом на постоянное место работы. Поистине он был «стойким оловянным солдатиком».

Действительно, через сравнительно небольшой срок встретившись со мной в зале, через который мы шли в читальный зал архива, Б. В. Томашевский, возглавлявший редакцию Полного собрания сочинений Гоголя и редактировавший 8-ой том, обратился ко мне с вопросом: «Что вы можете сказать о Фридендере?». Я ответила: «Он эрудит, редкий в нашем поколении,

и очень хороший работник — ответственный, квалифицированный и исключительно трудолюбивый». Я предполагаю, что, задавая мне этот вопрос, Б. В. Томашевский уже сам определил свое отношение к Фридлендеру, т. к. к этому времени он стал его энергично привлекать к тем трудам, которыми руководил. Так, уже в 9-ом томе ПСС Гоголя, который вышел вслед за нашим 8-м томом (редактор Томашевский), редактором был назначен Г. М. Привлек Томашевский его и к участию в хрестоматии «Русские писатели о языке» (1954 г.). Но желание Томашевского узнать мое мнение о человеке, которому он помогал, было для меня лестно. Я очень уважала Бориса Викторовича, во многом училась у него, и характеристику Фридлендера дала ему «в его духе» — кратко, объективно и деловито. Однако стать сотрудником Пушкинского Дома Г. М. смог только в 1955 году, несколько лет спустя.

Аналитический ум и здравый смысл Г. М. подсказали ему, что развязка его тяжелого материального положения и социальной неустроенности может исходить только из московских учреждений и лиц, имеющих влияние в Москве. Вмешательство москвичей действительно благотворно воздействовало на его положение. Предложение от солидного и уважаемого учреждения — издательства «Советская энциклопедия» стать постоянным его сотрудником упрочило материальное положение Г. М. — состоятельным человеком он в то время, конечно, не стал, но страх нужды отступил.

Участие Г. М. в работах издательства «Советская энциклопедия» придало ему новый авторитет в ученой среде. Оно оживило его известность и снова продемонстрировало научной обществу сильные стороны его таланта: обширную эрудицию, дар систематизации, ясность оценок и умение кратко и точно излагать свои мысли и литературный материал. При этом он не должен был пребывать в Москве и мог представлять свои работы, выполняя их в Ленинграде. Это, последнее, условие было для него очень важно, т. к. он был связан с Ленинградом деловыми отношениями (выполнял здесь многие работы, в частности в Пушкинском Доме — Институте русской литературы) и заботами о больной матери. Он проявлял исключительную работоспособность и в эти годы непрерывно расширял круг своих научных занятий. В это время в его творческих помыслах все чаще и чаще стал возникать Ф. М. Достоевский. Конечно, в наши студенческие годы он, как и многие другие, размышлял о Достоевском и либо защищал его от собеседников, либо внутренне спорил с

ним, не соглашаясь с его религиозно-церковным идеалом и с его суровым анализом человеческой природы — уж очень ему, как и всем нам, не хотелось расставаться с привычной просветительской формулой «человек от природы добр». Но в годы, когда ему пришлось активно бороться за свое существование и отвечать за благополучие близкого человека, на него обрушилась необходимость давать общие формулы-оценки значения Достоевского как русского классика на фоне официального осуждения и отторжения этого писателя от русской культуры. Издательство, которое дало ему профессиональное пристанище, поручило ему написать «руководящую» статью о Достоевском. Отказаться от этого поручения он не мог, хотя поручение это носило не столько библиографический, справочный характер, сколько «дипломатический». Статья в Большой советской энциклопедии читалась как по всей стране, так и за ее пределами, и давала как бы авторитетный вектор того, как оценивают творчество Достоевского в СССР. Так что внимание к ней проявляли разные читатели с разных позиций. Между тем, эта статья должна была соответствовать официальной точке зрения на писателя или, во всяком случае, слишком явно ей не противоречить.

Что бы ни делал Фридендер, он исполнял свою работу очень серьезно, прилагая все свои научные силы и все свое литературное умение. Он удачно справился со сложным поручением, и текст его был принят без принципиальных возражений. Однако желание более обстоятельно и адекватно дать свою оценку творчества Достоевского овладело его помыслами, увлекло его. Он стал усиленно заниматься изучением наследия писателя. Летом на даче в Зеленогорске я, гуляя с ребенком в парке, заставляла его на скамейке с книгами и статьями о Достоевском. Было ясно, что он готовит большую работу о писателе. И действительно, вскоре из-под его пера вышли и были напечатаны статьи, посвященные отдельным романам и проблемам творчества этого знаменитого автора, а затем появилась и обобщающая идея и оценка творчества писателя, которые сложились у Фридендера как плод его исследований и размышлений: монография «Реализм Достоевского» (1964 г.).

Достоевский как объект изучения и интерпретации занял центральное место в творческой деятельности ученого. Он проявил себя и как организатор исследований, возглавив в Пушкинском Доме Группу по изучению творчества Достоевского, и как редактор, организовавший периодическое издание сборников

«Достоевский. Материалы и исследования» и редактировавший книги этой серии.

Наиболее значимым достижением Г. М. Фридлендера в работе над изучением творчества Достоевского стало многолетнее и весьма продуктивное его участие в подготовке и редактировании томов Полного академического собрания сочинений писателя. В подготовке этого издания участвовала большая группа ученых — текстологов и комментаторов. Г. М. принимал участие в этом коллективном труде как историк литературы, текстолог, комментатор и ученый-консультант. Он был своего рода контрольным редактором всех томов этого многотомного издания: читал, апробировал и пропускал через свое рассмотрение и оценку содержание каждого тома. В этом качестве он был незаменим. Б. В. Томашевский — мастер такой работы — утверждал, что, сколько бы ни значилось членов редколлегии на обложке томов издания сочинений классика, фактически должен быть один ответственный редактор. Таким редактором в Полном академическом собрании сочинений Ф. М. Достоевского был Г. М. Фридлендер. Руководя этим изданием, обогащая науку о писателе и ученых, которые занимались этим большим трудом, он обогащался и сам.

В монографии «Достоевский и мировая литература» (1979 г.) Г. М. Фридлендер опирается на свою более раннюю книгу «Реализм Достоевского» (1964 г.), однако опыт многолетнего изучения творчества писателя, работы над Полным собранием его сочинений, исследования рукописей, в которых отражен ход мыслей их автора — все это дало ученому материал для основательного углубления своего взгляда на деятельность Достоевского. В главах, посвященных анализу эстетики и мировоззрения писателя и носящих теоретический характер, более чем в историко-литературных частях книги была ощутима приверженность автора к идеям, которые сформировались в его сознании в процессе изучения эстетики Маркса и Энгельса.

Но именно конкретные исследования отдельных проблем творчества писателя и откликов на его творчество в современной ему литературе, содержащиеся в отдельных главах книги, вызывали живой интерес и обсуждение в научной среде. Монография «Достоевский и мировая литература» была присуждена Государственная премия.

Даря мне эту книгу, Георгий Михайлович надписал на ее шмуцтитуле: «Дорогой Лидии Михайловне Лотман с постоянной и верной дружбой. 3/VII.79». Такие уверения стали все чаще

звучать с годами в письменных обращениях его ко мне, наряду с «покаянными», самокритичными выражениями, содержащими намеки на то, что я имею основания обижаться на него, вроде: «От Фридендера, любящего критику в своих устах, но не любящего в чужих», «Дорогой Лидии Михайловне Лотман от ее изверга-редактора. Фридендер. 1/III. 73» и т. д. Несмотря на шутивную форму, в таких надписях присутствовало признание какой-то своей вины и просьба не сердиться на проявления невежливости. В общении не только со мной, но и с другими участниками совместных трудов Г. М. часто «срывался», проявлял раздражение, вызванное совсем другими, посторонними раздражителями. По природе он был человеком добрым и отличался живым интересом к коллегам. У него был широкий круг знакомых в научной среде Ленинграда и Москвы, и он был неравнодушен к их интересам, успехам и личным отношениям. Сотрудники Института, которым приходилось с ним постоянно общаться, иногда обижались на неожиданные «вспышки», которые он себе позволял, но знали, что он — человек, переживающий подобные столкновения, раскаивающийся в своей «неосторожности» и в других случаях способный помочь товарищам в их домашних бедах и трудностях, о которых он обычно знал.

Личность человека — величина далеко не однозначная. Она, как и человеческое общество, богата возможностями, проявление которых провоцируется обстоятельствами. Зависая от общества и, вместе с тем, влияя на историю своего времени, человек постоянно ведет с этим временем сложный «диалог», подчиняясь его велениям или ломая его требования и запросы.

А. С. Пушкин в стихотворении, посвященном юбилейной дате создания Царскосельского лицея, обращаясь к своим товарищам-лицеистам, высказал глубоко продуманную и прочувствованную им мысль:

Всему пора: уж двадцать пятый раз
Мы празднует Лицея день заветный.
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!
Недаром — нет! — промчалась четверть века!
Не сетуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вокруг человека,—
Ужель один недвижим будет он?⁴⁷

⁴⁷ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10-ти т. Л., 1977. Т. 3. С. 341.

Каждый читатель этих стихов на основании своего личного опыта должен признать справедливость умозаключений поэта. Говорит ли Пушкин о быстротечности прожитого его поколением времени или о потрясениях и вопросах, которые события эпохи поставили перед его сверстниками, — это не может не вызывать и у нашего современника сочувствия и воспоминаний о пережитых нашим поколением надеждах и разочарованиях.

Я и Г. М. переживали драмы и трагедии своего времени, испытывали давление одних и тех же событий, работали в одних и тех же условиях, участвовали в общих трудах — все это стимулировало взаимопонимание, но не предопределяло единомыслия. Конечно, за долгий период нашего общения (около 50-ти лет) наши отношения менялись, но я неизменно ценила его как человека огромных способностей и знаний, признавала значение его добросовестной, упорной деятельности и его научный авторитет. Г. М. тоже относился с интересом к моим работам, что он неоднократно проявлял, редактируя труды, в которых я принимала участие, и в обсуждении моих работ; в частности, он выступил с развернутым и очень содержательным отзывом о моей докторской диссертации, не будучи официальным оппонентом, на моей защите.

Особенно теплыми, дружескими были наши отношения в годы, когда мы испытывали большие трудности: Георгию Михайловичу не давали постоянной работы, и он был вынужден выполнять задания, требующие большой квалификации по низким ставкам как временный сотрудник. Я же медленно продвигалась по службе и должна была удовольствоваться сравнительно низкой зарплатой. В это время, живя по соседству на даче, мы «дружили семьями». Престарелая и больная мать Георгия Михайловича в сопровождении приставленной к ней помощницы, наносила визиты моей свекрови, и мать свекрови — бабушка — вела с нею церемонные «светские» беседы. При этом обе собеседницы нередко, забывая об условиях и условностях современной жизни, погружались в реалии прошедшего времени. Так, бабушка возвращалась мысленно к временам, когда она — до революции — жила в Сибири и с гордостью говорила, что к ее деду — богатому и уважаемому купцу, ездили в гости лучшие люди города Енисейска и даже архиерей, благодаривший его за то, что он поставил ограду вокруг храма, который посещали извозчики с обозов, возивших продовольствие работникам в тайгу. Г. М. слушал ее монологи со снисходительным вниманием, а когда бабушка за-

дала моей свекрови (своей дочери) неожиданный вопрос: «Нюрка, какая здесь у нас река течет — Енисей, что ль?», и на ответ: «Нева!» бабушка возразила: «Нева? Что вдруг?», Г. М. смеялся вместе со всеми присутствовавшими. Другую реакцию у него вызывали некоторые неосторожные «откровения» его матушки, хотя он никогда не останавливал и не поправлял ее. После того, как она поделилась воспоминаниями о своих заграничных родственниках с разношерстной компанией наших посетителей, Г. М. резко вышел с веранды на крыльцо. Я, поняв, что он расстроен, последовала за ним, чтобы дать ему повод сказать мне откровенно, в чем причина его огорчения. Он сказал мне только: «И самое ужасное, что все это правда». В том, что рассказала Анжель Морисовна, ровным счетом не было ничего «ужасного». Но во всех анкетах была графа: «Есть ли у вас родственники за границей?». Все знали, что иметь родственников за границей — плохо. Это делало человека подозрительным. Г. М. только что освобожденный, что само по себе было достаточно редким фактом, не мог не вспомнить о проверках, через которые он прошел, и, очевидно, подумал о том, не нужно ли ему было в анкетах перечислить дальних родственников, и, что, наверное, он еще находится под надзором.

В те годы государственное общество «Знание» широко развернуло работу по просвещению рабочих и служащих и охотно привлекало ученых к чтению лекций на предприятиях и в учреждениях. Некоторым это не нравилось, т. к. приходилось задерживаться на службе, но собирались довольно большие аудитории, хотя уйти с этих лекций было возможно. Собравшиеся слушали лектора не без интереса и, подчас, даже задерживали его вопросами после лекции. Платили лектору за его выступление очень скромно, но все мы подрабатывали чтением этих лекций.

Однажды Г. М. с юмором, но не без некоторой тревоги рассказал мне, что, выступая с чтением лекции на каком-то заводе и сдав свой паспорт при входе дежурной вахтерше, он при возвращении после прочитанной лекции, заметил, что она продолжает «изучать», а попросту читать, с трудом разбирая его имя в документе (до фамилии она так и не дошла). Его имя в паспорте значилось: «Эдгар-Гастон-Георг». Я не знала, что он является носителем столь пышного имени и невольно засмеялась, тем более что незадолго до того схожий эпизод произошел с моим братом, который в то время был студентом и тоже читал лекции. Он должен был по случаю юбилея известного и героического

русского просветителя А. Н. Радищева прочесть лекцию о нем на заводе. Объявлявший о его лекции слушателям организатор сказал: «Сейчас нам товарищ Радищев прочтет лекцию» — и, обратившись к опешившему лектору, спросил: «О ком вы прочтете лекцию?». Так что моему брату Ю. М. Лотману пришлось начать свое выступление с опровержения слов того, кто его «объявил» аудитории. Я рассказала Георгию Михайловичу об этом случае, он посмеялся вместе со мной и, очевидно, тучи, омрачившие на минуту его мысли, рассеялись.

Понятно, что при такой настороженности его привлекали сферы, где он был освобожден от тревоги и воспоминаний об общении в официальных кругах. Ближайшей такой «чистой сферой» были его взаимоотношения с детьми. Он искренне, трогательно любил детей и охотно общался с ними. Я и мой муж должны были ежедневно находиться на работе. Наша дочь оставалась с бабушкой и прабабушкой на даче. Георгий Михайлович, работавший дома, на даче заходил к ним по-соседски и брал ее на пляж. Он забавлял ее, называл ее «водяной комар» по-русски и «Wassermücke» по-немецки (ей было 7–8 лет, и она уже училась немецкому языку), сочинял для нее стихи и переводил их на немецкий язык.

Способность авторитетного академического ученого, весьма строгого и требовательного, уходить в мир детских интересов, игр и забав была оригинальной и неожиданной. Наш общий товарищ по аспирантуре Эрик Найдич сделал эту черту Фридендера доминирующей в своей поэтической его характеристике, посвященной ученому:

«Все, что обязательно — печально,
Но нельзя — знакомая семья...»
Ядовитой и чуть-чуть ортодоксальной
Речь была на кафедре твоя.
Много тем мы по дороге перетрагали...
Кировский проспект во всей красе.
Смех твой как у Гофмана и Гоголя,
Только он — особенный совсем.
И покончив с трудностями мнимыми,
Закупив обыкновенный торт,
Мы уже на детских именинах:
Шум и крики, искренний восторг.
Не волчком, искусственно заверченным,
С детворой установилась связь,

А улыбкою застенчивой, доверчивой,
Что неудержимо родилась.
Вы пилоты с деревянным АНТом,
А под облаками Ленинград.
Как же нам не повторить за Кантом,
Что искусство — чистая игра.
В ход пошли и кисточки, палитры,
Составляют кубики, свистят.
Рыжий мальчик, озорной и хитрый,
Я не верю, что тебе за пятьдесят.

Потребность в открытом искреннем общении проявлялась и в то время, когда он, играя на даче с детьми и проигрывая в карточной игре «Акулина», надевал под детский смех платочек, и тогда, когда он, собирая грибы в компании, «завидовал» тем, кому удавалось найти большой белый гриб.

Летом и в начале осени к нашим институтским обязанностям добавлялась еще одна — сегодня она может показаться странной. Сотрудники должны были ехать в колхоз или совхоз на сельскохозяйственные работы, причем дирекция получала «разнарядку» для посылки определенного числа работников, поэтому в поездках принимали участие не только наши молодые коллеги, но и весьма солидные люди. Мне запомнилось, как работал на грядке известный пушкинист, человек, отличавшийся старомодным воспитанием и даже произносивший некоторые слова, как например «литература» с французским акцентом, Николай Васильевич Измайлов. Он был немолод, высок, держался всегда прямо, и его облик особенно плохо сочетался с колхозной действительностью. Принимали участие в колхозно-совхозной работе Юра Левин, который вскоре стал почетным доктором Оксфордского университета и членом-корреспондентом Британской Академии, Г. М., ставший впоследствии академиком, Наташа Кочеткова, сегодня доктор наук и зав. сектором, и многие другие. Квалификация наших сотрудников мало учитывалась в этом случае, а работники хозяйственной части, проявлявшие большую сноровку, ставились нам в пример. Я иногда брала с собой своего сына Антона, который учился тогда в младших классах, чтобы, помятуя о разнарядке, увеличить состав нашего сельскохозяйственного отряда еще на одну рабочую единицу. Приобщаясь к общим работам, Г. М. проявлял свойственный ему юмор. Он старался подбодрить и развеселить устававших дам, посвящая им веселые стихи. Например, Наташе Кочетковой, занимавшейся уборкой турнепса, он посвятил следующее стихотворение:

Мелькает проворная ручка,
Как легкая птичка, в кустах.
И турнепса могучая кучка
Растет у меня на глазах.

Когда я встречалась с Георгием Михайловичем вне Пушкинского Дома на одной из линий его родного Васильевского острова и около Университета, у него возникала потребность выйти за пределы сугубо официальной служебной обстановки. Он останавливал меня и вел со мной длинные откровенные разговоры на конкретные злободневные волновавшие его темы. Зная, в чем я могу не согласиться с ним, он упорно настаивал на своих решениях и своей точке зрения, заранее предвосхищая мои возможные возражения, и сердился, хотя я еще не успела ему возразить. Мы понимали друг друга с полуслова, и в этом тоже сказывалась та скрытая теплота товарищества, которая не покидала нас, хотя мы отдалялись друг от друга.

Г. М. всегда был решителен и настойчив, формулируя свои мнения. По мере того, как он подымался по лестнице признания и служебных успехов, его уверенность в утверждении своего авторитета становилась все более заметной. На это обратил свое внимание такой «посторонний наблюдатель» (т. е. человек «со стороны», «объективный»), как румынский ученый А. Ковач. Он высоко ценил вклад Г. М. Фридендера в науку и, вместе с тем, отмечал как «срывы», «отсутствие гибкости» в научных спорах, прежде всего в полемике с М. М. Бахтиным, неспособность Г. М. признать частичную правоту ученого, который сформулировал другую, чем он сам, точку зрения на сложную проблему творчества Достоевского⁴⁸.

Меня не удивила «несговорчивость» Г. М. в споре с М. М. Бахтиным. Мне он тоже давал понять, что расхождение его с Бахтиным носит принципиальный характер, т. к. они являются последователями разных философских систем и интерпретация ими творчества Достоевского опирается на их мировоззрение.

А. Ковач, осуждая «упорство» Фридендера в споре с М. М. Бахтиным, в то же время высоко ценил его как философа-эстетика. Он пишет, что «сильнейшей стороной личности» ученого «был интерес к философии, эстетике. Это подняло его труды на класс выше сочинений простого историка литературы или тео-

⁴⁸ Pro memoria. С. 333.

ретика сравнительного литературоведения»⁴⁹. Подымая Г. М. над другими учеными-историками литературы и теоретиками сравнительного литературоведения, как это делал А. Ковач, нельзя не подчеркнуть, что Фридендер последовательно стоял на позициях марксизма.

Как многие другие эстетика, Г. М. искал «окончательных» ответов на вечные вопросы, которые ставили до него и в одно с ним время другие философы. В молодые годы он стремился сформулировать эти ответы в борьбе с вульгаризацией марксизма. Впоследствии он интерпретировал пути исторического развития литературы и искусства, опираясь на принципы «истинного марксизма», как они сложились в его сознании вследствие изучения наследия Маркса и Энгельса. При этом он неустанно трудился как историк литературы и исследователь проблем сравнительного литературоведения, и его частные труды, посвященные этим областям науки, получили признание в ученой среде.

Г. М. очень заботился о своей академической карьере, очевидно, воспринимая ее как победу над несправедливыми препятствиями на своем пути. Он был достоин этой победы, и его усилия были оценены. Он получил высокое звание действительного члена Академии наук СССР, его книгу наградили Государственной премией, он был избран почетным председателем Международного общества по изучению Ф. М. Достоевского.

Благополучной была и его личная жизнь. После смерти матери он женился на красивой молодой девушке Нине Николаевне Петруниной, которая его любила и была заботливой и преданной ему женой. Он гордился ее красотой и успехами в науке и участвовал в совместных с ней научных трудах.

Казалось бы, на склоне его лет судьба его осыпала всем, что могло сделать его счастливым человеком. Но он помрачнел, юмор, который составлял обаятельную черту его личности, исчез из его обращения с сослуживцами. Может быть, на его состояние влияли недомогания. Но мне кажется, что более всего его огорчало падение привлекательности и популярности идей, которым он посвятил многие свои труды и надежды. Во всяком случае, это не могло быть ему безразлично. У крупного человека всегда большие мечты и намерения, но судьбу и историю не переспиришь, а его «оппоненты» были из такого разряда.

⁴⁹ Там же.

15. Таким мы его знали. Вадим Эразмович Вацуро

Впервые я стала встречать Вадима Эразмовича в Пушкинском Доме, где я была научным сотрудником и где он стал появляться, еще будучи студентом. Я не была с ним знакома, но очень скоро стало известно, что этот молодой человек — исключительный эрудит. Профессор Ленинградского университета Виктор Андроникович Мануйлов и его многочисленные ученицы и поклонницы говорили о Вадиме Вацуро в тонах восхищения. Мануйлов ценил ум и трудолюбие В. Э. и «покровительствовал» ему. Между тем, хотя профессор и его ученик интересовались и занимались близкими сферами литературоведения, их личности, их характеры, а как стало очевидно в дальнейшем, и их научная методика, их научный «почерк» были очень различны. В. А. Мануйлов был человеком художественной и литературной среды; театр и публичный быт людей искусства его привлекали не меньше (а может быть, и больше), чем «кабинетные» занятия литературой. Автор многочисленных стихов «на случай», он консультировал театральные постановки, писал рецензии на них, не брезговал даже участием в составлении либретто. Его склонность к популярному литературному жанру вызывала некоторое сопротивление в среде строгих и требовательных ученых старшего поколения, которые в прошлые времена сами были активными и боевитыми участниками бурной литературной жизни начала XX века. Я помню, как на защите кандидатской диссертации В. А. Мануйлова его оппонент Б. М. Эйхенбаум, иронизируя над пышностью слога автора, оценивал эти «красоты» словами героя из рассказа Чехова, реагировавшего на художественность восклицанием «Недурственно!» (повесть «Ионыч»).

В. Э. Вацуро уже в начале его деятельности были чужды уклонения с прямой стези служения академической науке. Повседневно ощущая ее значение и сознавая свой долг по отношению к ней, он чуждался всяких примесей к ее формам, был строг в своих художественных вкусах и требователен к соблюдению аскетической точности и безупречной доказательности. Исследование, кабинетная работа были его призванием и наслаждением; предметы, изучением которых он был занят, были неотъемлемой частью его духовного мира. Он искал, как Пушкин, смысла «утраченной» эпохи и стремился восстановить исторические реалии в их подлинности, чтобы современные люди могли составить себе

представление о прошлом — недавнем и более отдаленном. Всякие обобщения, не мотивированные привлечением вновь разысканных фактов, расширяющих представление об исторической действительности, или проверкой традиционных взглядов, его не убеждали. Зато введение в научный оборот новых фактических данных и материалов было для него праздником: он испытывал «удовольствие от подлинности»⁵⁰.

Наблюдая процессы, происходившие в исторической науке накануне XX века, Марк Блок обращался к современным ученым с предупреждением: «В принципе не исключено, что когда-нибудь наша цивилизация отвернется от истории. Историкам стоило бы над этим подумать. Дурно истолкованная история, если не остеречься, может в конце концов возбудить недоверие и к истории, лучше понятой. Но если нам суждено до этого дойти, это совершится ценою глубокого разрыва с нашими самыми устойчивыми интеллектуальными традициями. В настоящее время мы в этом смысле находимся пока лишь на стадии „экзамена совести“»⁵¹.

Опасения, высказанные французским гуманистом, были близки тем мыслям, которые побуждали русских ученых первой половины XX века в ряде случаев предпочитать частные, конкретные исследования явлений истории и литературы широковещательным теориям и особенно — общепринятым схемам и концепциям. К тому же у них не было уверенности в том, что современная наука выдержит «экзамен совести», если использовать выражение М. Блока.

В. Э. Вацуро по своим устремлениям примыкал — не по возрасту (он мог быть их внуком), а по характеру — к старшему поколению ученых-филологов XX века, разработавших в теории и в практических своих трудах текстологию и комментирование. Как они, он отталкивался от тенденциозности, от поверхностных интерпретаций, превращающих науку в пособие для «актуального», газетного истолкования современных явлений. Фактическими его учителями, близкими ему по научным принципам,

⁵⁰ О чистом и «остром удовольствии от подлинности», которое испытывает человек, обратившийся от расхожих представлений об исторических событиях к их научному познанию, писал французский историк Марк Блок (см.: *Блок М. Апология истории или ремесло историка*. М., 1973. С. 9).

⁵¹ Там же. С. 8.

были такие строгие, требовательные академические исследователи, как В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум, М. А. Цявловский, Т. Г. Цявловская, Н. В. Измайлов, Б. В. Томашевский. Он прекрасно знал их работы и ориентировался на их этическую позицию — сначала стихийно, а затем сознательно. Переписка В. Э. с Т. Г. Цявловской свидетельствует о том, что он учился у старшей генерации литературоведов и ценил личное общение с представителями среды, образовавшейся вокруг этих замечательных людей⁵².

Когда В. Э. стал появляться в Пушкинском доме и я стала за ним наблюдать, он произвел на меня впечатление очень скромного и хорошо воспитанного юноши. Худенький, внимательно вглядывавшийся в незнакомых ему людей выразительными большими темными глазами, он всегда проявлял внимание и предупредительность по отношению к окружающим. Он появлялся по большей части вместе с М. И. Гиллельсоном, который был старше его. Трагические происшествия жизни Гиллельсона, связанные с его арестом, были многим известны. Впоследствии Вацуру и Гиллельсон стали соавторами, и тут раскрылась общность их научных интересов. Гиллельсон — человек строгого рационального ума, шахматист — стал известен как неутомимый исследователь исторических и литературных явлений начала XIX в.

Оказавшись сотрудником Пушкинского Дома, В. Э. повел себя с большим тактом. Он понял, какие «подводные камни» и противоречия существуют в среде сотрудников Института, и занял строгую позицию, соответствующую его собственным принципам и научным симпатиям, в то же время завоевывая себе положение безотказным выполнением самых неблагодарных и трудоемких научных поручений. Он искренне интересовался научной жизнью учреждения, занятиями и интересами других ученых и был эрудированным читателем трудов и слушателем докладов сотрудников Пушкинского Дома. В этом учреждении была традиция поручать младшим научным сотрудникам составлять отчеты о состоявшихся конференциях и чтениях. Многие авторы, которым давались подобные поручения, шли при выполнении их простым путем: они обращались к докладчикам, выступавшим на конференции, и настоятельно требовали от них краткого изложения их выступлений, соединяя эти краткие изло-

⁵² См.: К портрету пушкиниста: Из переписки В. Э. Вацуру с Т. Г. Цявловской / Публ. С. Панова // НЛО. 2000. № 42. С. 78–123.

жения в общий обзор за своей подписью. В. Э. присутствовал на всех конференциях и сообщал о них в обстоятельных и серьезных статьях, в которых была ощутима его личная оценка того, что на них говорилось. Традиционный обзор пушкинианы под его пером становился как бы сообщением о том, что его заинтересовало и стоит внимания (см., напр.: «Пушкиниана в периодике и сборниках статей (1961–1962)» // Временник Пушкинской комиссии. 1962. М.; Л., 1963. С. 63–83).

Доскональное знание пушкинианы, объективная оценка работ пушкинистов и исключительная эрудиция в вопросах жизни и творчества поэта обеспечили молодому сотруднику авторитет не только среди членов Отдела, в котором он состоял, но и у старших, маститых пушкинистов. Однако В. Э., которого в среде ученых Института еще запросто называли Вадим, не ограничивал свои научные интересы одной пушкинской темой. Он много занимался исследованием жизни и творчества Лермонтова, так что В. А. Мануйлов привлек его (совместно с М. И. Гиллельсоном) к участию в составлении книги «М. Ю. Лермонтов: Семинарий» (Л., 1960), а также к комментированию академического Собрания сочинений Лермонтова в 4-х томах (1959–1962). Постепенно в работе над статьями в сборниках и научных журналах молодой ученый формировался как знаток пушкинской эпохи в широком смысле слова — литературы, журналистики, быта и истории большого периода.

Работы В. Э. мне были интересны: через тонкий анализ частных фактов и вопросов он изящно восходил к большим обобщениям и к разрешению проблем, которые были в науке предметом длительных споров; за точным и убедительным рассмотрением известных фактов, не раз до него комментировавшихся и породивших многочисленные толкования, ощущалась принципиальная позиция исследователя, отвергавшего поверхностные суждения и требовавшего пристального внимания к фактам, глубинного поиска в них ответов на все вопросы. Этот стиль В. Э. развивал в ряде своих последующих работ, вошедших в книги: «Сквозь „умственные плотины“» (М., 1972); «Лирика пушкинской поры» (СПб., 1994), «Записки комментатора» (СПб., 1994); «Пушкинская пора» (СПб., 2000) и др.

Участие в научных конференциях для сотрудников было нагрузкой, которая не освобождала от плановых заданий, а присутствие на заседаниях зачастую было утомительно. Поэтому некоторые ученые являлись на заседание ко времени, когда

должны были выступить, и уходили, прочтя свой доклад, не слушая других выступающих. Я сама уставала во время долгих чтений, но меня такое поведение ученых шокировало, особенно когда так поступали молодые сотрудники. Мне казалось, что это свидетельствует о падении престижа науки и невнимании к товарищам, безразличии к их работе. Впрочем, с годами я и сама стала опаздывать на заседания и пропускать их, тем более что резко ухудшилось движение транспорта в городе, и мне нужно было четыре раза пересаживаться, менять транспорт. Но, неизменно видя на заседаниях В. Э., я успокаивалась, у меня возникало ощущение, что все в порядке: наука на месте, она не сдает своих позиций. Лицо его было серьезно, он сохранял сосредоточенность и вежливое внимание. Однако его требовательность была слишком велика — многие доклады его не удовлетворяли. Он был очень последовательным и решительным критиком чужих работ, рыцарем точности, не терпевшим наукообразной болтовни. Сама наша «исполнительность» и дисциплина в посещении заседаний вызывала подчас у него иронию, и он позволял себе эпиграммы, воссоздающие стиль и содержание докладов. Так, во время одного помпезного заседания в актовом здании Академии наук в Ленинграде, на котором выступали большие академические начальники из Москвы или утвержденные ими лица, В. Э. прислал мне на клочке бумаги эпigramму в стиле тяжеловесных переводов Илиады XVIII – начала XIX в.:

Сим заверяю, что Лидья Михайловна Лотман
С самого раннего утра явилась в почтенном собрании,
Мысленным оком своим она видела всех Цицеронов,
Пафосом их выступлений наполнила ейные уши,
Ныне внимает Щербине и зреньем, и слухом, и чувством.
После таких испытаний уж ей и Бурсов не страшен.

В. Э. был увлеченным спорщиком и блестящим полемистом. Он, как никто, понимал значение обмена мнениями в научной среде и культурного воздействия на аудиторию живого общения серьезных ученых, их речей и даже самого их облика. Сохранилось несколько документов от участия Вацуру в таких прениях: киноплёнка с беседой знатоков литературы XVIII–XIX вв. В. Э. Вацуру и Ю. М. Лотмана о деятельности писателя и историка Н. М. Карамзина (фильм «Парадоксы Карамзина», 1991 г.); публикация диалога В. Э. и Н. Я. Эйдельмана на вечере, посвященном 125-летию выхода в свет «Полярной звезды» Герцена

и 155-летию «Полярной звезды» А. Бестужева и К. Рылеева в Доме-музее А. И. Герцена 3 декабря 1980 г. (см.: НЛО, 2000. №42. С. 177–196), беседа с В.Э. Вацуро по следам «круглого стола» «Пушкин и христианство» (Там же. С. 209–212) и др. В статье об Эйдельмане В. Э. впоследствии с особенной симпатией отмечал, что этот замечательный историк был «человек диалога» (Там же. С. 202).

На лестнице Пушкинского Дома, где В. Э. курил, всегда собиралось много сотрудников. Он был участником, редактором и организатором ряда коллективных трудов, и некоторые участники подобных изданий тут же читали и просматривали статьи и корректуры, попутно обращаясь к нему с вопросами. Я тоже нередко останавливалась на площадке этой лестницы, не удержавшись от соблазна принять участие в профессиональных разговорах, центром которых был В. Э. Когда в общей беседе затрагивались темы, которыми Вадим был увлечен и которыми специально занимался, он красноречиво излагал свои мысли в обширных монологах. Они мне очень нравились, часто я старалась наводить его на «минное поле» подобных тем, т. к. в каждом его монологе можно было столкнуться с неизвестными фактами, оригинальными идеями и парадоксами. По этому поводу я часто повторяла собственный афоризм: «То, что знают все, знаю и я; но то, что знают В. Э. и Юра (подразумевался Ю. М. Лотман), не знает еще никто». Иностранцы коллеги, приезжавшие в Институт и становившиеся свидетелями таких непринужденных бесед, интересовались ими. Например, американская славистка Антония Глассе говорила, что таких интересных дискуссий ей не доводилось слышать ни на одной из конференций.

Между мною и В. Э. нередко происходили споры. Такие споры оттачивают формулировки, заставляют критически взглянуть на то, что казалось ясным и решенным. Некоторые вопросы, по которым мы спорили, я помню. Так, я иногда заступалась за авторов, выдвигавших остроумные, но спорные концепции, ссылаясь на их талант. Были случаи, например, когда литературоведы выступали за сближения Пушкина с литературными явлениями, заведомо далекими от него и ему неизвестными. При этом я говорила, что эти сближения интересны своей неожиданностью и свежестью. В. Э. был неумолим и слушать не хотел о подобных «авантюристических» попытках. В другой раз у нас был принципиальный спор о Булгарине. В. Э. считал, что литературовед должен быть исторически объективен, что нельзя упрощать

оценку фигуры Булгарина: он был заметным и интересным деятелем литературы, и без публикации связанных с ним материалов мы не сможем понять эпоху. Я, как и Вадим, знала творчество Булгарина, но, читая его доносы, его пасквили на Пушкина, зная об его интригах и выпрашивании им себе выгод и чинов, я питала к нему активную ненависть. Я оправдывалась тем, что борьба Пушкина и Булгарина еще не завершена, что в нашей культуре живы семена, посеянные этими антиподами, и что бесстрастная объективность в отношении к их конфликту невозможна. Конечно, Вадим был прав, но и моя позиция имела свое основание. Впрочем, это был спор чисто отвлеченный, т. к. изучать и публиковать все материалы надо, но и относиться к ним критически необходимо. Это понимали мы оба. Был у нас еще один спор о целесообразности публикации писем писателя вскоре после его смерти. В. Э. видел в этом какую-то этическую неловкость, задевающую современников писателя. Я сама не публиковала писем, но дала опубликовать письма ко мне, по простому соображению: зная, какой беспорядок царит в моих бумагах и в бумагах моих коллег, я придерживалась соображения: напечатано — значит, не потеряно! К тому же это был спор традиционный: дочь Пушкина Наталья Александровна Меренберг предоставила И. С. Тургеневу письма поэта к жене Наталье Николаевне, и Тургенев их опубликовал, а сыновья осудили эту публикацию. И. А. Гончаров в статье «Нарушение воли» также выступил против «мании печатать письма». Иногда В. Э. казалось, что в моих работах слишком много косвенных соображений, и я вынуждена была «защищаться» от этих «придинок», подкрепляя свои идеи в спорах, а затем и в публикациях новыми фактами. Это отражено и в стихотворении, которое я надписала на оттиске своей статьи «Романы Достоевского и русская легенда» («Русская литература», 1972, 2); в нем я даже опираюсь на авторитет И. Г. Ямпольского.

Чем Вас могу я одарить
При важной сей оказии?
Позвольте Вам статьи вручить,
Они не без фантазии
В них чувство есть (таков мой пол),
Но, впрочем, есть и ratio*.
В них убедительной Ямпол
Признал аргументацию.
Хотелось бы, чтоб Вы, прочтя
И смысл их подытожа,

Нашли бы с Вами у меня
Несхожую похожесть.

Л. Лотман

Вот еще одна надпись — на книге «Записки комментатора» (СПб., 1994):

Дорогой Лидии Михайловне
Лотман —

От хорошего боярина, но пишущего высуня язык.

29.04.94

Эта надпись отражает мой разговор с В. Э. Не помню, по какому поводу, я ему рассказала, что в пьесе А. Н. Островского «Комик XVII столетия» подьячий царицыной мастерской палаты приносит жалобу боярину Лопухину (царицыну дворецкому) на другого подьячего, оскорбившего его словами:

Хорош бы ты подьячий;
Зачем-де пишешь высуня язык?
Зайти тебе с затылка да ударить,
И ты себе язык откусишь.

(Островский А. Н.

Полн. собр. соч. М., 1977. Т. 7. С. 327).

В. Э. либо забыл, либо захотел переиначить текст Островского, на который намекал, и заменил подьячего, который писал «высуня язык», на «хорошего боярина», которому подьячий жаловался.

Вадим буквально подавлял оппонента обилием аргументов, остроумием и темпераментом. Я, споря с ним, восхищалась его знаниями и находчивостью, и даже аплодировала ему, после чего он отвечивал легкий поклон, ироничный, веселый и по-своему изящный. В обращении его с женщинами всегда присутствовала джентльменская вежливость и некоторый оттенок снисходительности. Может быть, впрочем, в этом последнем была реминисценция его соприкосновения с восточной культурой. Он был человеком редкого остроумия, склонным к шутке и тонко понимавшим шутки других. Вместе с тем он был чуток; за его шутливостью скрывался лиризм, способность тонко понимать чувства другого, проникать в трагизм обыденных, бытовых ситуаций. Когда я рассказала ему о том, что мой брат после инсульта пережил совершенно новые ощущения, что жизнь как бы развернулась перед ним и он одновременно существовал в разных временных

ситуациях, видел умершего отца — так близко, что мог дотронуться до него, В. Э. с чувством сказал: «Вы, очевидно, очень любили отца!» Такой неожиданный вывод он пронизательно сделал из услышанного. В другой раз, когда меня спросили о моих впечатлениях о Канаде, где я была в гостях у сына, я показала фотографию, на которой я вместе с сыном, оба в фартуках, занимаемся хозяйством. В. Э. рассматривал долго и внимательно фотографию, и я поняла, что на наших лицах он видит грусть от близкой разлуки. Он был в душе лирик. Недаром он знал наизусть всю русскую поэзию и неустанно добивался, комментируя стихи, понимания того, какая реальность и какие чувства их питали.

Бывало изредка, что мы с ним обменивались стихами на случай. Мне было лестно, когда он, во время чаепития за круглым столом в Отделе пушкиноведения, процитировал мою стихотворную надпись на работе, которую я ему подарила. Мне он подарил стихотворение, которое надписал на книге «Сквозь умственные плотины». Книга была мне подарена в день, когда я защищала докторскую диссертацию, и в стихотворении он шутивно излагал содержание моей диссертации, которая была посвящена анализу особенностей прозы 1860-х годов, значения для нее опыта натуральной школы 1840-х гг. и новым идеям, утвердившимся в 1860-е гг. в творчестве ряда прозаиков. В стихотворении есть намек на писателей, о которых я говорила в работе, и на их произведения. Вот это стихотворение:

Шарманщик ловит пятаки,
Шарманщика — писатель,
Писателя берет в тиски
Квартальный надзиратель.
На мушку классики берут
Жандарма-ретрограда,
А в это время ляжки рвут
Им из второго ряда.
О ты, фантастика иль быть,
Век сложного простого,
Где все окутывает пыль
От пашни Льва Толстого!
Кто наведет на это лоск?
Кто разберет хаос?
Тот, кто имеет ясный мозг
И точный глаз и нос,

Лишь тот, кому все нипочем,
Лишь тот, кто умудрился,
Лишь тот, кто не простым врачом,
А доктором явился!⁵³

В этом стихотворении, некоторые детали которого намекают на подробности произведений, анализируемых в диссертации, проявляется и вечный скепсис В. Э., его недоверие к «теориям», и лирическое проникновение в материал диссертации. Мне особенно нравится характеристика XIX века:

Век сложного простого,
Где все окутывает пыль
От пашни Льва Толстого...

Впоследствии, в разговоре с В. Э., рассуждая о Толстом и Достоевском, мы приходили к единому мнению, что тенденция возвеличивать Достоевского и отодвигать Толстого на второй план не верна и в историческом, и в эстетическом отношении. Да и о русской душе Толстой сказал, пожалуй, более точно (хотя и не декларативно) во многих случаях, чем Достоевский.

⁵³ *Комментарии к стихотворению:*

Строки 1–2. Намек на очерк Григоровича «Петербургские шарманщики» и на отзыв о нем Ф. М. Достоевского (см.: *Григорович Д. В.* Литературные воспоминания. М., 1987. С. 79).

Строки 7–8. Пародийное истолкование мотива участия писателей второго ряда «шестидесятников» в литературном процессе.

Предпоследняя строка стихотворения. К слову «врачом» В. Э. поставил сноску следующего содержания: «Именно врачом, а не врагом. См. опечатку на с. 83: «Как будто набирали с рукописи! — *Примеч. наборщика*».

[В. Э. имеет в виду опечатку, допущенную в книге «Сквозь умственные плотины» издания 1972 г.: «Каченовский, старинный литературный врач Карамзина» вместо «враг Карамзина». Во 2-м издании (1986) ошибка была устранена. — *Ред.*]

После Стихотворения следует еще одна надпись:

Дорогой Лидии Михайловне
Лотман —
с поздравлениями по поводу
а) докторизации
б) Нового года
с лучшими пожеланиями В. Вацуро
4.01.73

Что же касается предубеждения Вацуро к «теориям» и предположениям, то сам он не мог удержаться от создания смелых концепций и делал это, по большей части, очень удачно. Так, например, в статье «Великий меланхолик»⁵⁴ он выдвинул остроумную гипотезу о том, что «приятель», о котором Пушкин пишет в «Путешествии из Москвы в Петербург», не кто иной, как сам автор, и затем, доказывая это предположение, В. Э. развивает блестящую концепцию об отношении Пушкина к своему собственному характеру, об осмыслении его характера и настроения Гоголем, об их отношении к своему лидерству в литературе. Таких смелых и сложных идей в работах В. Э. много, но от произвольных предположений и лихих попыток навязывать поэту свой собственный образ мыслей идеи В. Э. отличаются тем, что он был погружен в реальность и духовный мир пушкинской эпохи и черпал основания для своих изящных построений из множества известных ему, разысканных им лично исторических фактов. Случайный вопрос или разговор с ним как бы открывал шлюзы его учености, и он давал точные и оригинальные справки, щедро делиась тем, что было научной новацией.

В спорах проявлялась и присущая В. Э. независимость суждений, и свобода позиции. Он резко выступал против укоренившихся в научной среде мнений, касались ли они теорий, которые приобрели «статус» аксиом ввиду их традиционности, или репутации отдельных людей, ставших предметом осуждения по неосторожности или нарушения ими норм поведения интеллигентной среды. Эта независимость нашла свое выражение и в упорном нежелании В. Э. защитить докторскую диссертацию. Докторская степень была высшей ступенью в научной карьере ученого (кроме звания действительного члена Академии наук и члена-корреспондента Академии). Защитить докторскую диссертацию стремились все, и часто особенно настойчиво те, кто не был достоин этого. Академическая бюрократия все более и более усложняла чисто формальные требования по «бумажному», канцелярскому оформлению защит. Исключительными препятствиями обставлялись защиты диссертаций соискателей, почему-либо «не симпатичных» высшему начальству по «анкетным», личным и другим причинам. Лицам же, которые были «угодны» начальству, открывался «зеленый свет».

⁵⁴ См.: *Вацуро В. Э.* Великий меланхолик в «Путешествии из Москвы в Петербург» // *Временник Пушкинской комиссии.* 1974. Л., 1977. С. 43–63.

Не пожелав защищать докторскую диссертацию, несмотря на то, что у него было много работ, достойных присуждения этой степени, В. Э. продемонстрировал, что научная значимость ученого и место его в науке независимы от благоволения начальства и обладания формальным документом.

Владимир Павлович Бударрагин, знаток древнерусских рукописей, заведующий знаменитым Древлехранилищем в Пушкинском Доме и поэт, посвятил В. Э. Вацуро стихотворение, в некоторых отношениях загадочное, но создающее живой образ ученого:

Вадим Эразмович Вацуро
(В народе трепетно — *Вадим*) —
Своеобразная натура:
Анахорет и нелюдим,
Всегда сомненьями томим,
На все окрест взирает хмуро...
Вадим Эразмович Вацуро
(В народе попросту — *Вадим*) —
Дионисийская натура:
Тифлис провидится за ним,
Когда он тостом одержим
И вдохновлен стрелой Амура...
Вадим Эразмович Вацуро...
Народ склоняется пред ним,
Он сам себе номенклатура,
Наук словесных пилигрим,
Умов властитель...
Явлен, зрим
Вадим Эразмович Вацуро!⁵⁵

На первый взгляд это стихотворение полно противоречий: народ называет Вадима Вацуро по имени то «трепетно», то «попросту», но при этом «склоняется пред ним»; по своей натуре ученый — «анахорет и нелюдим», и вместе с тем он — «дионисийская натура»; он «всегда сомненьями томим», но — «умов властитель» и «сам себе номенклатура». Таков и был Вадим Эразмович Вацуро — знаток петербургского быта и бытописания⁵⁶, душевный

⁵⁵ Бударрагин В. Книга посвящений. СПб., 2000. С. 23.

⁵⁶ См.: Вацуро В. Э. От бытописания к «поэзии действительности». Ч. 1 // Русская повесть XIX в.: История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 200–223.

мир которого был проникнут духом Петербурга; он грустил, как многие русские поэты, о юге и о любимом Тбилиси; скептический и сомневающийся во всем, он создавал смелые предположения и умел их доказывать; душа общества, услышав остроумные речи которого каждый останавливался, — он искал уединения, пребывая в скитаниях по лабиринтам отечественной культуры и ее прошлого.

Загадка его богатой личности осталась не до конца понятой. И наряду с этой большой загадкой, неотделимой от мысли о прекрасном ученом и уникальном человеке, — дразнящая профессиональная мысль, что из фактов, исторических и культурных событий, которые открыл в своих исканиях этот «наук словесных пилигрим», он не успел донести до нас, что еще он знал из того, «что не знает никто».

Наука бесконечно таинственна и загадочно интересна, но самое интересное и загадочное в ней — создающие ее ученые.

Указатель имен, упоминаемых в тексте

Составитель Лариса Найдич

- Аввакум (Аввакум Петров) (1621–1682) — протопоп, русский мыслитель, писатель, публицист 202, 203, 205, 206
- Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881–1925) — писатель-юморист 27
- Адмони Владимир Григорьевич (1909–1993) — филолог, лингвист, литературовед, доктор наук, поэт 119
- Адрианова-Перетц Варвара Павловна (1887–1972) — филолог, исследователь древнерусской литературы, член-корр. АН СССР 78, 205, 216
- Азадовский Марк Константинович (1888–1954) — фольклорист, литературовед, профессор ЛГУ 66, 72, 82, 83, 86, 109, 155
- Акимов Николай Павлович (1901–1968) — театральные режиссер, художник, народный артист СССР 200
- Александр III (1845–1894) — русский император 11, 12, 37
- Алексеев Михаил Павлович (1896–1981) — литературовед, академик 82, 114, 127
- Алексеев-Попов Вадим Сергеевич (1912–1982) — историк, доцент Одесского университета 183
- Алексеева Любовь Васильевна (род. в 1921) — филолог, сотрудник Государственного экскурсионного бюро, сокурсница Ю. М. Лотмана 66
- Алмазов Алексей Ардалионович (род. в 1917) — литературовед, специалист по испанской литературе, живет в США 107, 197
- Анжель Морисовна — мать Г. М. Фридендера 237, 245
- Анна — сестра М. Л. Лотмана, тетя Л. М. Лотман 19
- Антон — см. Лотман Антон
- Асафьев Борис Владимирович (псевдоним Игорь Глебов) (1884–1949) — композитор, музыковед 225
- Ахматова Анна Андреевна (1989–1966) 119, 127
- Бабкин Дмитрий Семенович (1900–1989) — литературовед 137**
- Бабушкин Яков Львович (1913–1944) — литературовед, художественный руководитель Комитета по радиовещанию во время блокады Ленинграда 230
- Базанов Василий Григорьевич (1911–1981) — литературовед, доктор наук 70, 131
- Бабушка Роза — мать Михаила Львовича Лотмана 16, 18
- Бабушка Шейва — мать Александры Самойловны Лотман 24, 31
- Багрицкий Эдуард Георгиевич (1895–1934) — поэт 68
- Базанов Василий Григорьевич (1911–1981) — литературовед, член-корреспондент АН СССР 190
- Балухатый Сергей Дмитриевич (1893–1945) — литературовед, библиограф, член-корреспондент АН СССР 114, 120–122, 155, 196

- Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) — поэт, критик, переводчик 234
- Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844) — поэт 63, 64
- Батюшков Константин Николаевич (1787–1855) — поэт 110
- Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975) — литературовед, философ, культуролог 9, 248
- Беклемишев Владимир Александрович (1861–1920) — скульптор 135
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) — критик 8, 63, 150, 239
- Бельчиков Николай Федорович (1890–1979) — литературовед, член-корр. АН СССР 137, 140, 211
- Бенуа Александр Александрович (1870–1960) — художник, театральный деятель, историк и критик искусства 141
- Бенуа Альберт Александрович (1888–1960) — архитектор, художник 141
- Берггольц Ольга Федоровна (1910–1975) — поэт 127, 189
- Бергельсон Григорий Юльевич (1916–2002) — литературовед, педагог, переводчик 77, 107, 197–199
- Бердников Георгий Петрович (1915–1996) — литературовед, доктор филологических наук 31, 107, 197, 198
- Берков Валерий Павлович (род. 1929) — лингвист, специалист по скандинавским языкам, профессор ЛГУ, сын П. Н. Беркова 178
- Берков Павел Наумович (1896–1969) — литературовед, библиограф, член-корр. АН СССР 11, 82, 101–103, 106, 109, 111, 148, 155, 165–178, 190, 236
- Беркова Софья Михайловна — жена П. Н. Беркова 177, 178
- Берковский Наум Яковлевич (1901–1972) — литературовед, профессор ЛГПИ 155
- Берлович Ефим Савельевич — преподаватель политических дисциплин 228
- Бестужев Александр Александрович (Бестужев-Марлинский) (1797–1837) — писатель, декабрист 255
- Бетховен Людвиг ван (1770–1827) — немецкий композитор 54
- Биддер Елизавета Гуговна — педагог, учительница в Петершуле 43, 44
- Билинкис Ольга Борисовна — литературовед, сотрудник ИРЛИ 131, 140, 238, 239
- Битнер-Ермакова Гали Вильгельмовна — литературовед, переводчик, курсница Л. М. Лотман 85, 104, 110
- Битнер Вильгельм Казимирович (1865–1921) — издатель, журналист 85
- Благовещенский Николай Александрович (1837–1889) — писатель, прозаик 153
- Блок Александр Александрович (1880–1921) — русский поэт 119, 133, 216
- Блок Марк (1886–1944) — французский историк 251
- Болдырев Александр Николаевич (1909–1993) — востоковед-иранист, профессор ЛГУ 85
- Бонди Сергей Михайлович (1891–1983) — литературовед, профессор МГУ 145, 167, 169

- Борисов Александр Федорович (1905–1982) — актер, народный артист СССР 157
- Бриль Юлия — сокурсница Л. М. Лотман 84, 85
- Брюллов Карл Павлович (1799–1852) — русский художник, монументалист 29
- Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) — русский поэт 140
- Бударагин Владимир Павлович (род.1945) — литературовед, сотрудник ИРЛИ, зав. Древлехранилища 261
- Булгарин Фаддей Венедиктович (1789 –1859) — журналист, писатель, критик 255, 256
- Бурсов Борис Иванович (1905–1997) — литературовед, доктор наук 254
- Буслаев Федор Иванович (1818–1897) — филолог, фольклорист, искусствовед, академик 78, 81
- Бухштаб Борис Яковлевич (1904–1985) — литературовед, профессор Института культуры 179, 180, 185
- Быстров Сергей Николаевич — библиофил, инженер 209
- Бялый Григорий Абрамович (1905–1987) — литературовед, профессор ЛГУ 7, 114, 115, 126, 139, 141, 154–165, 190, 191, 218, 224
- Вагнер Рихард (1813–1883) — немецкий композитор, драматург 127**
- Вановская Татьяна Викторовна (1916–1956) — литературовед 196
- Вацуро Вадим Эразмович (1935–2000) — литературовед, доктор филологических наук, сотрудник ИРЛИ 7, 154, 251–261
- Векслер Иван Иванович (1885–1954) — литературовед, профессор ЛГУ 72
- Верн Жюль (1828–1905) — французский писатель 27
- Верховский Николай Павлович (1913–1943) — литературовед 83
- Веселовский Александр Николаевич (1838–1906) — филолог-компаративист, академик 134
- Виктор — муж няни детей Лотманов, столяр 29
- Виктория Михайловна — см. Лотман Виктория Михайловна
- Вильмонт Николай Николаевич — литературовед 213
- Виноградов Иван Архипович (1902–1936) — литературовед, критик 167
- Виньи Альфред Виктор де (1797–1863) — французский писатель 119
- Владимир II Мономах (1053–1125) — князь смоленский, черниговский, переяславский, великий князь киевский 78, 80
- Войт Бруно Иосифович (ум. в 1942) — учитель математики в Петершуле 45
- Вульфийус Александр Германович (1879–1941) — историк, педагог, преподаватель в Петершуле, один из ее руководителей, завуч и инспектор 43
- Выгодский Александр — философ-марксист 230
- Гарбузова Вириная (Виктория) Стефановна (Стефановна) — (род. в 1914) — востоковед-тюрколог, профессор 84
- Гарт Фрэнсис Брет (Брет-Гарт) (1836–1902) — американский писатель 28
- Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888) — русский писатель, критик 159

- Гаспаров Михаил Леонтьевич (1935–2005) — филолог, академик РАН 182
- Ге Николай Николаевич (1831–1894) — художник 142
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — немецкий философ 194
- Гейне Генрих (1797–1856) — немецкий поэт, писатель 60, 119, 126
- Герцен Александр Иванович (1812–1850) — писатель, литератор, издатель 61, 254, 255
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) 56, 213, 234
- Гиллельсон Максим Исаакович (1915–1987) — литературовед 252, 253
- Гинзбург Лидия Яковлевна (1902–1990) — литературовед, писатель 7, 119, 155, 178–187, 195, 196, 220
- Гишпиус Василий Васильевич (1890–1942) — литературовед, профессор, переводчик, поэт 88, 116, 118–120, 125, 154, 155, 232, 237, 238
- Глассе Антония — американский славист 255
- Гликман Дуся Исаевна — сестра Миры Исаевны Гликман 97
- Гликман Исаак Давидович (1911–2003) — музыковед, драматург, профессор Ленинградской консерватории 107, 192–200
- Гликман Мира Исаевна — педагог, директор детдома в селе Кошки 94
- Гнедич Николай Иванович (1784–1833) — поэт и переводчик 86, 104, 109
- Гоббс Томас (1588–1679) — английский государственный деятель и философ 87
- Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) — русский писатель 8, 27, 38, 118, 119, 131, 137, 139, 140, 188, 232, 233, 238–240, 260
- Гольдберг Анатолий Максимович (1910–1982) — сотрудник русской службы на радио *Би-Би-Си*, комментатор 211
- Гольдони Карло (1707–1793) — итальянский драматург, комедиограф 234
- Гомилиус К. Л. — врач в Петершуле 42
- Гончаров Иван Александрович (1812–1891) — писатель 256
- Горбачев Игорь Олегович (1927–2003) — актер, народный артист СССР 132, 133
- Горький Алексей Максимович (1868–1936) — прозаик, поэт, публицист 121
- Гофман Виктор Абрамович (1899–1942) — литературовед, профессор ЛГУ 167
- Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) — историк, общественный деятель, профессор всеобщей истории в Московском университете 101
- Гречина Ольга Николаевна (род. в 1922) — литературовед, сокурсница Ю. М. Лотмана 66
- Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899) — писатель 8, 259
- Гримм Вильгельм Карл (1786–1859) — немецкий собиратель сказок, филолог 72
- Гримм Якоб Людвиг Карл (1785–1863) — немецкий языковед, филолог, собиратель сказок 72
- Громов Павел Петрович (1914–1982) — критик, литературовед 155, 233–236
- Груша — няня в семье Лотманов 49
- Грушкин Александр Израилевич (1913–1942) — литературовед, научный сотрудник ИРЛИ 106

- Гуковская Зоя Владимировна (урожденная Артамонова) (1907–1973) — литературовед и переводчик, жена Г. А. Гуковского 107
- Гуковская Наталья Григорьевна — см. Долинина
- Гуковский Григорий Александрович (1902–1950) — литературовед, профессор ЛГУ 7, 63, 72, 81, 83, 86, 100–117, 119, 120, 122, 125, 139, 147, 149, 154, 155, 158–160, 166–170, 179, 181, 182, 189, 196, 235, 236
- Гуковский Матвей Александрович (1898–1971) — искусствовед, профессор 108
- Гумилев Николай Степанович (1886–1921) — поэт 133
- Давид (Дуся) — см. Лебит
- Даль Елизавета Алексеевна (урожд. Апраксина) (1937–2003) — внучка Б. М. Эйхенбаума 128
- Данилевский Александр Сергеевич (1911–1969) — биолог, энтомолог, доктор биологических наук, профессор 32, 38
- Данилов Владимир Валерьянович (1881–1970) — литературовед, архивист 149
- Де Сика Витторио (1901–1974) — итальянский актер и кинорежиссер 143
- Дельвиг Антон Антонович (1798–1831) — поэт 63
- Дементьев Александр Григорьевич (1904–1986) — литературовед, литературный критик 103
- Денкс Светлана Николаевна — врач, лечащий врач Ю. М. Лотмана 56
- Десницкий Василий Алексеевич (1878–1958) — литературовед, профессор, революционный деятель 105, 106, 138, 149, 167, 171, 172
- Джанелидзе Иустин Ивлианович (Юстин Юлианович) (1883–1950) — врач-хирург, академик АМН 36
- Джусойты Нафи Григорьевич (род. в 1925) — осетинский писатель, литературовед 172, 173, 177
- Диккенс Чарльз (1812–1870) — английский писатель 27, 28
- Дина Григорьевна — см. Фельдман
- Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович (1790–1863) — поэт, публицист и общественный деятель 71
- Дойл (Дойль) Артур Конан (1859–1930) — английский писатель 27
- Докусов Александр Максимович (1894–1981) — литературовед, профессор ЛГПИ
- Долинин Аркадий Семенович (1880–1968) — литературовед, профессор 111, 112, 144, 147
- Долинина (урожд. Гуковская) Наталья Григорьевна (1928–1979) — писатель, литератор, педагог, дочь Г. А. Гуковского 107, 115, 117
- Достоевский Федор Михайлович (1821–1883) — русский писатель 8, 82, 111, 153, 154, 162, 235, 240–242, 248, 249, 259
- Дудинская Наталья Михайловна (1912–2003) — артистка балета, народная артистка СССР 225
- Дуся — см. Гликман; см. Лебит
- Дымшиц Александр Львович (1910–1975) — литературовед 116, 125, 126

- Евграфова Тамара Ивановна (род. 1929) — воспитанница детдома в селе Кошки 97
- Егоров Алексей Егорович — фронтовой товарищ Ю. М. Лотмана, слесарь 74
- Егоров Борис Федорович (род. в 1926) — литературовед, профессор, доктор филологических наук 57, 68, 224
- Еремин Игорь Петрович (1904–1963) — литературовед, профессор ЛГУ 155, 172
- Ёлкин — журналист 171
- Жирмунская (Сигал) Нина Александровна (1919–1991) — литературовед, доцент ЛГУ 85**
- Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971) — литературовед, лингвист, академик 67, 85, 119, 134, 181, 185, 190, 196, 252
- Жихарев Степан Петрович (1787–1860) — писатель, журналист 132
- Зара — см. Минц**
- Зевина — см. Зернова
- Зеленов Михаил — сокурсник Л. М. Лотман 83, 84
- Зернова (наст. фамилия Зевина) Руфь Александровна (1919–2004) — писатель, жена И. З. Сермана 85
- Зильберштейн Илья Самойлович (1905–1988) — литературовед, искусствовед, коллекционер 237
- Зоценко Михаил Михайлович (1894–1958) — писатель 195
- Измайлов Николай Васильевич (1893–1981) — литературовед, доктор наук 247, 252**
- Иван IV Грозный (1530–1584) — русский царь 79
- Иванов Михаил Васильевич (род. в 1947) — филолог и психолог, профессор 111
- Иванова Ада — учитель русского языка, соученица Лидии Лотман по университету 188
- Инна — см. Образцова
- Иоффе Иеремия Исаевич (1888–1947) — искусствовед, профессор ЛГУ 197
- Ирина Григорьевна — см. Резниченко
- Ирина Николаевна — см. Медведева
- Ирма — двоюродная сестра Л. М. Лотман 29
- Кайсаров Андрей Сергеевич (1782–1813) — публицист, филолог, профессор Дерптского университета 71
- Кант Иммануил (1724–1804) — философ 126, 194
- Капеллош Белла (Бася) Наумовна (1919–2002) — литературовед, сотрудник ИРЛИ 149
- Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — писатель, историк 70, 71, 74, 214, 254, 259

- Катенин Павел Александрович (1792–1853) — русский поэт, драматург и критик 104
- Кийко Евгения Ивановна (1923–2007) — литературовед, сотрудник ИРЛИ 128
- Киров Сергей Миронович (1886–1934) — советский политический деятель 63, 86, 193
- Киселева Любовь Николаевна (род. в 1950) — литературовед, профессор ТГУ 56
- Клара Людвиговна — учительница музыки 54, 55
- Клеман Михаил Карлович (1897–1942) — литературовед, профессор 88, 159, 218
- Ключевский Василий Осипович (1841–1911) — историк, профессор 101
- Княжнин Яков Борисович (1742 [1740?] – 1791) — драматург, поэт 169
- Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) — правовед, историк, социолог, профессор 101
- Ковач Арпад — венгерский литературовед 248, 249
- Ковнацкая Людмила Григорьевна (род. в 1941) — музыковед 195
- Козаков Михаил Михайлович (род. в 1934) — актер, народный артист СССР 130
- Козаков Михаил Эмманулович (1897–1954) — писатель 130
- Козлова Лидия Петровна — организатор и заведующая краеведческого музея в селе Кошки 94
- Конан Дойль — см. Дойл
- Коонен Алиса Георгиевна (1889–1974) — актриса, народная артистка РСФСР 236
- Коплан Борис Иванович (1898–1942) — литературовед, сотрудник ИРЛИ 167
- Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) — писатель 159
- Корчагин Александр Иванович — редактор издательства Академии наук СССР 140
- Корчак Януш (Генрих Гольдшмидт) (1878–1942) — польско-еврейский писатель, педагог и врач 28
- Косман Анатолий Михайлович — литературовед, аспирант филфака ЛГУ, погибший на войне 104
- Кочеткова Наталия Дмитриевна (род. в 1938) — литературовед, доктор наук, сотрудник ИРЛИ 175, 247
- Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) — политический деятель, идеолог анархизма 42
- Кропоткина Зинаида Ивановна — преподавательница немецкого языка 42
- Кругов Юрий Павлович — воспитанник детдома в селе Кошки 94
- Кругова (урожд. Репина) Наталья Алексеевна (род. в 1930) — воспитанница детдома в селе Кошки, преподаватель иностранных языков 97
- Крупп Дебора Михайловна — инженер, подруга Виктории Михайловны Лотман 47
- Крылов Иван Андреевич (1768–1844) — писатель, баснописец, журналист 74, 77, 79, 104, 109

- Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868) — поэт, драматург 57
Кукулевич Анатолий Михайлович (1912–1942) — литературовед, сокурсник Л. М. Лотман 31, 38, 39, 72, 83, 86, 103, 104, 108–110, 113, 188
Кумпан Елена Андреевна — поэтесса, эссеистка 186
Кумпан Ксения Андреевна (род. в 1947) — литературовед 186
Купалова Ирина (в замужестве Жданова) 84
Курочкин Василий Степанович (1831–1875) — поэт-сатирик, журналист 152
Кутузов Алексей Михайлович (1749–1797) — писатель, переводчик 71
Кушнер Александр Семенович (род. в 1936) — поэт 180, 183, 184
- Ламарк Жан Батист Пьер Антуан де Моне (1744–1829) — французский естествоиспытатель 62
Лебедев-Полянский Павел Иванович (1881/82–1948) — литературовед, академик 119, 129
Лебит Давид Александрович (Дуся) (1906–1986) — двоюродный брат Лидии Лотман, искусствовед 24
Левин Мирон (1917–1940) — поэт, переводчик, сокурсник Л. М. Лотман 83, 86, 87, 103
Левин Юрий Давидович (1920–2006) — литературовед и переводчик, доктор наук, сотрудник Пушкинского Дома 72, 247
Левинас Эммануэль (1905–1995) — философ, комментатор Талмуда 9
Левитов Александр Иванович (1835–1877) — писатель 8
Лёля — см. Родионова
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) — российский политический деятель 140, 239
Ленсу Елена Яковлевна (род. в 1914) — литературовед 114, 181
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) — русский поэт, прозаик, драматург 8, 122, 130, 131, 160, 253
Лесков Николай Семенович (1831–1895) — писатель 77, 202
Лиза — см. Даль
Лими́на Зинаида Корнельевна — педагог, преподаватель художественного чтения 89, 97
Лина — см. Слободская
Лифшиц Михаил Александрович (1905–1983) — философ, искусствовед, критик 230, 237
Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999) — литературовед, историк, публицист, общественный деятель, академик 7, 78, 88, 147, 155, 159, 201, 203, 204, 213–226
Ловыгин Владимир Иванович — воспитанник детдома в селе Кошки 94
Лозинский Михаил Леонидович (1886–1955) — поэт, переводчик 119
Лойцингер (Лейцингер) Артур Михайлович — учитель черчения и рисования в Петершуле 45
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) — ученый-естествоиспытатель, поэт, художник 167, 168, 177

- Лотман (урожд. Нудельман) Александра Самойловна (1889–1963) — мать Л. М. Лотман, врач-стоматолог 16, 17
- Лотман Алексей Юрьевич (род. в 1960) — сын Ю. М. Лотмана, биолог 70
- Лотман Антон Эрикович (род. в 1958) — сын Л. М. Лотман, врач 184, 212, 247
- Лотман Виктория Михайловна (1919–2002) — сестра Л. М. Лотман, врач 7, 13, 20, 21, 26, 28, 30, 31, 33–37, 39–42, 44, 47, 49, 50, 52, 61, 62, 66, 89, 92, 130, 132, 175
- Лотман Григорий Юрьевич (род. в 1953) — сын Ю. М. Лотмана, художник 60, 70
- Лотман Михаил Львович (1882–1942) — отец Л. М. Лотман и Ю. М. Лотмана, юрист 19
- Лотман Михаил Юрьевич (род. в 1952) — сын Ю. М. Лотмана, литературовед, семиотик 60, 70, 138
- Лотман Юрий Михайлович (1922–1993) — литературовед, семиотик, культуролог, брат Л. М. Лотман 7, 11, 19, 26–36, 38–41, 46–75, 83, 85–87, 99, 113–115, 122, 129, 138, 142, 145, 150, 151, 162, 173–175, 181, 183–187, 190, 222–224, 246, 254, 255
- Лукач Дьёрдь (Георг) (1885–1971) — венгерский философ, эстетик, литературовед 230
- Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — советский государственный деятель, писатель, публицист 82
- Люба — старшая сестра Александры Самойловны Лотман 16
- Любарская Александра Иосифовна (1908–2002) — писательница, редактор, переводчик 190
- Люсия — жена С. Д. Балухатого 121, 122
- Ляля — см. Лотман Виктория Михайловна
- Макашин Сергей Александрович (1906–1989) — литературовед, доктор наук 216, 237**
- Макогоненко Георгий Пантелеймонович (1912–1986) — литературовед, профессор ЛГУ 80, 83, 103, 104, 109, 110, 113, 131, 147, 167, 187–192, 222, 236
- Максим Грек (в миру Михаил Триволис) (ок. 1475–1556) — публицист, богослов, переводчик, писатель 80
- Мальшев Владимир Иванович (1910–1976) — литературовед, археограф, специалист по древнерусской литературе, создатель Древлехранилища в ИРЛИ 8, 83, 201–212
- Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) — русский поэт, прозаик 9, 62, 110, 111
- Мануйлов Виктор Андроникович (1903–1989) — литературовед, профессор ЛГУ 120, 158, 159, 250, 253
- Марецкая Вера Петровна (1906–1978) — актриса, народная артистка СССР 234
- Мариенгоф Анатолий Борисович (1897–1962) — поэт, прозаик, драматург 132
- Мария Ефремовна — см. Минц

- Мария Николаевна — см. Михайлова
- Марк Твен (Сэмюэл Клеменс) (1835–1910) — американский писатель 27, 28
- Маркс Карл (1818–1883) — немецкий философ, экономист 135, 228–231, 233, 249
- Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964) — детский писатель, поэт, переводчик 69
- Матвеева Анна Николаевна — сокурсница Ю. М. Лотмана 66
- Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) — российский поэт, драматург 40, 80, 116, 117, 125
- Медведева Ирина Николаевна (1903–1973) — литературовед, жена Б. В. Томашевского 142, 143
- Мейлах Борис Соломонович (1909–1987) — литературовед, научн. сотр. ИРЛИ, профессор ЛГУ 155
- Мелетинский Елеазар Моисеевич (1918–2005) — фольклорист, литературовед, доктор наук 184
- Мельников-Печерский Павел Иванович (псевдоним Андрей Печерский) (1818–1883) — писатель, историк 8, 145
- Меншиков Александр Данилович (1673–1729) — политический деятель, сподвижник Петра I 167
- Меренберг Наталья Александровна (Пушкина-Дубельт) (1836–1913) — графиня, младшая дочь А. С. Пушкина 256
- Миллер Мария Карловна — учительница младших классов в Петершуде 43
- Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835–1889) — поэт-сатирик 152
- Мицц Зара Григорьевна (1927–1990) — литературовед, профессор ТГУ, жена Ю. М. Лотмана 59, 60, 68–70, 186
- Мицц Мария Ефремовна — тетья З. Г. Мицц 59
- Михайлова Мария Николаевна — воспитательница в детдоме в селе Кошки 94
- Мира Исаевна — см. Гликман
- Мицкевич Адам (1798–1855) — польский поэт 79
- Мокульский Стефан Стефанович (1896–1960) — литературовед, театровед 82, 197
- Мордвинов Николай Дмитриевич (1901–1966) — актер, народный артист СССР 234
- Мордовченко Николай Иванович (1904–1951) — литературовед, доцент ЛГУ 63, 71, 73, 88, 130, 147–150, 155, 158, 159, 218, 221, 238
- Мравинский Евгений Александрович (1903–1988) — дирижер, руководитель оркестра Ленинградской филармонии 194
- Муратова Ксения Дмитриевна (1904–1998) — литературовед, библиограф, профессор ЛГУ 121
- Мусоргский Модест Петрович (1839–1881) — композитор 36
- Набоков Владимир Владимирович (1899–1977) — писатель 180**
- Найдич Лариса Эриковна (род. в 1947) — кандидат филологических наук, старший лектор кафедры лингвистики Еврейского университета (Иерусалим) 9, 263

- Найдич Эрик Эзрович (род. в 1919) — литературовед, доктор наук 125, 127, 129–132, 246
- Наумов Александр Николаевич (1868–1950) — в 1915–1916 гг. министр земледелия 18
- Наумов Евгений Иванович (1909–1971) — литературовед, профессор ЛГУ 38, 101, 103, 107, 110, 189
- Наумова (урожд. Рабкина) Нелли Наумовна (1917–1984) — литературовед, педагог 169
- Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/78) — русский поэт 8, 134
- Николаев Николай Иванович — литературовед 112
- Новиков Николай Иванович (1744–1818) — просветитель, писатель, журналист, издатель 109, 189
- Новиков Николай Владимирович (1911–1997) — филолог-фольклорист, доктор наук 83
- Нудельман Моисей — брат Александры Самойловны Лотман 15, 16
- Нудельман Сара — см. Лотман Александра Самойловна
- Обнорский Сергей Петрович (1888–1962) — языковед, историк русского языка, диалектолог, лексикограф, академик 81, 202
- Образцова (урожд. Лотман) Инна Михайловна (1915–1999) — музыковед, преподаватель, композитор, сестра Л. М. Лотман 13, 14, 20, 21, 26–33, 35, 36, 40–42, 48, 49, 51–54, 92
- Оксман Юлиан Григорьевич (1894–1970) — литературовед, профессор 146
- Ольга Борисовна — см. Эйхенбаум Ольга Борисовна
- Орлов Александр Сергеевич (1871–1947) — литературовед, специалист по древнерусской литературе, академик 76–82, 106, 107, 120, 167, 196, 202, 204, 205, 235
- Орлов Владимир Николаевич (1908–1985) — литературовед, в 50-е – 70-е гг. главный редактор «Библиотеки поэта» 130, 140, 149, 155
- Орлова Любовь Петровна (1902–1975) — актриса театра и кино, народная артистка СССР 84
- Островский Александр Николаевич (1823–1886) — драматург, писатель 8, 114, 118, 151, 157
- Островский Николай Алексеевич (1904–1936) — писатель 205, 257
- Панченко Александр Михайлович (1937–2002) — литературовед, академик, сотрудник ИРЛИ 201, 205, 206
- Панченко (урожд. Соколова) Нина Тимофеевна (1917–1992) — литературовед 201
- Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — поэт, прозаик 116, 202
- Перетц Владимир Николаевич (1870–1935) — литературовед, академик 205
- Петр I (1672–1725) — русский царь 42, 167
- Петров Иван — воспитанник детдома в Кошках 98
- Петрунина Нина Николаевна (род. в 1932) — литературовед, доктор наук, жена Г. М. Фридендера 249

- Пиксанов Николай Кирьякович (1878–1969) — литературовед, член-корр. АН СССР 105, 106, 138, 139, 149, 155, 186, 197
- Писемский Алексей Феофилактович (1821–1881) — писатель 8
- Плетнев Петр Александрович (1792–1865/66) — поэт, критик 239
- Плоткин Лев Абрамович (1905/6–1978) — литературовед, критик, профессор ЛГУ 151
- Плутарх (около 46 – около 127) — древнегреческий писатель, историк и философ-моралист 51
- Позднеева Софья Дмитриевна (1915–1985) — музыкант, преподаватель фортепьяно 32
- Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — писатель, критик, журналист, историк 159, 218
- Полибий (ок. 204 – 122 до н. э.) — древнегреческий историк 50
- Полонский Яков Петрович (1819–1898) — поэт, писатель 24, 131
- Полякова Софья Викторовна (1914–1994) — филолог-классик и византист, литературовед, переводчик, профессор ЛГУ 32
- Помяловский Николай Герасимович (1835–1863) — писатель 8, 153, 154, 223
- Прокофьева Дарья Терентьевна — учительница немецкого языка, педагог 33
- Пропп Владимир Яковлевич (1895–1970) — фольклорист, профессор ЛГУ 11, 63, 72, 82, 83, 114, 122, 147, 196
- Прутков Козьма — вымышленный персонаж, «авторская маска», персонифицированный псевдоним, объединивший ряд сатирико-юмористических произведений А. К. Толстого (1817–1875) и его двоюродных братьев Жемчужниковых — Алексея Михайловича (1821–1908), Владимира Михайловича (1830–1884) и Александра Михайловича (1826–1896) 107
- Пумпянский Лев Васильевич (1891–1940) — литературовед, профессор ЛГУ и Ленинградской консерватории 81, 105, 112, 147, 196
- Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) — русский писатель 8, 11, 25, 27, 38, 39, 60, 63, 70–72, 74, 75, 77, 79, 86, 101, 103, 104, 106, 108, 109, 122, 137, 138, 146, 164, 165, 214, 243, 244, 250, 255, 256, 260
- Пушкина (урожд. Гончарова) Наталья Николаевна (1812–1863) — жена А. С. Пушкина 256
- Пширков Юлиан Сергеевич (1912–1980) — белорусский литературовед 172, 173, 175
- Пыляев Михаил Иванович (1842–1899) — журналист, литератор, историк 23
- Пятигорский Александр Моисеевич (род. в 1929) — философ 185
- Радищев Александр Николаевич (1749–1802) — писатель, публицист 70, 71, 74, 103, 104, 109, 137, 189, 246**
- Раков Лев Львович (1904–1970) — историк, искусствовед, писатель, в разное время директор Публичной библиотеки и Музея обороны Ленинграда 31
- Резниченко Ирина Григорьевна — жена Г. А. Бялого, гистолог 191
- Реизов Борис Георгиевич (1902–1981) — литературовед, профессор ЛГУ 82, 119, 155, 182

- Рейсер Соломон Абрамович (1905–1989) — литературовед, библиограф, доктор наук 220
- Репин Илья Ефимович (1844–1930) художник 31, 225
- Репина Наталья Алексеевна — см. Кругова
- Решетников Федор Михайлович (1841–1871) — писатель 8
- Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908) — композитор 36
- Рихтер Святослав Теофилович (1915–1997) — пианист, народный артист СССР 143
- Родионова (урожд. Финкельштейн) Елена Яковлевна (Лёля) — двоюродная сестра Лидии Лотман, инженер-строитель 18–20
- Рождественский Всеволод Александрович (1895–1977) — поэт 19, 27
- Ростопчина Евдокия Петровна (1812–1858) — писательница, поэтесса 131
- Руссо Жан Жак (1712–1778) — французский философ, писатель 82
- Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) — поэт, декабрист 255
- Савельева З. Н. 210
- Самокиш-Судковская Елена Петровна (1863–1924) — художница, книжный иллюстратор 141
- Семенко Ирина Михайловна (1921–1981) — литературовед, текстолог 184
- Сергеев Константин Михайлович (1910–1992) — артист балета и балетмейстер, народный артист СССР 225
- Серебровская Елена Павловна (1915–2003) — писательница, поэтесса 84, 110
- Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884–1967) — художник 142
- Серман Илья Захарович (род. в 1913) — литературовед, профессор 83, 85, 86, 103, 104, 108–110, 113, 155, 167, 188, 234, 235
- Серов Владимир Александрович (1910–1968) — художник 89
- Сигал Нина — см. Жирмунская
- Сковорода Григорий Саввич (1722–1794) — украинский философ, поэт, педагог 194
- Скотт Вальтер (1771–1826) — английский писатель 27, 28
- Скрипиль Михаил Осипович (1892–1957) — литературовед, доктор наук, сотрудник ИРЛИ 69
- Слободская Полина Владимировна (род. в 1917) — физик-оптик, соученица Л. М. Лотман 38
- Смирнов Александр Александрович (1883–1962) — литературовед, профессор ЛГУ 163
- Соколова Нина Тимофеевна — см. Панченко
- Соллертинский Иван Иванович (1902–1944) — музыковед, театровед, литературовед 103, 195
- Соловьев Борис — воспитанник детдома в селе Кошки 94
- Спиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677) — нидерландский философ 194
- Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953) — российский, советский политический деятель 110, 230
- Столяров Борис — воспитанник детдома в селе Кошки 89, 94

- Сумароков Александр Петрович (1717–1777) — поэт, драматург 103, 104
Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1917–1903) — драматург 8
- Таиров Александр Яковлевич (1885–1950) — режиссер, народный артист РСФСР 236
- Тамарченко Анна Владимировна (род.1915) — литературовед, театровед 229
- Твен Марк — см. Марк Твен
- Творогов Олег Викторович (род. в 1928) — литературовед, специалист по древнерусской литературе, доктор наук, сотрудник ИРЛИ 210
- Тетьа Маня (девичья фамилия Нудельман, в замужестве Бойтман) — сестра Александры Самойловны Лотман 23, 24, 41
- Тетьа Поля — жена Якова, дяди Л. М. Лотман 19
- Тиханова Мария Александровна (1897–1981) — историк 215
- Тициан (Тициано Вечеллио) (около 1480–1576) — итальянский художник 61
- Толстой Алексей Константинович (1817–1875) — поэт, драматург, прозаик 8, 27, 152, 153, 222
- Толстой Алексей Николаевич (1882–1945) — писатель 77
- Толстой Иван Иванович (1880–1954) — филолог-классик, профессор ЛГУ 81, 86, 196
- Толстой Лев Николаевич (1828–1910) — русский писатель 8, 59, 77, 122, 128, 202, 259
- Толубеев Юрий Владимирович (1906–1979) — актер, народный артист СССР 127
- Томашевский Борис Викторович (1890–1957) — литературовед, профессор 7, 8, 25, 67, 119, 131, 133–146, 148, 151, 167, 174, 176, 178, 181, 187, 196, 207, 239, 240, 242, 252
- Третьаковский Василий Кириллович (1703–1768) — поэт, филолог 169
- Трескунов Михаил Соломонович (1909–2005) — литературовед, переводчик, литератор 200
- Троицкая Валерия Алексеевна (род. в 1916) — геофизик, доктор физико-математических наук, соученица Лидии Лотман в Петершуле 44
- Тронская Мария Лазаревна (1896–1987) — литературовед-германист, профессор ЛГУ 82, 114
- Тронский Иосиф Моисеевич (1897–1970) — филолог, специалист по античности, профессор ЛГУ 114
- Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) — русский писатель 8, 128, 157, 256
- Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943) — литературовед, писатель 178, 179, 185
- Тэффи (настоящая фамилия Лохвицкая, по мужу Бучинская) Надежда Александровна (1872–1952) — писательница 27
- Уайльд Оскар (1856–1900) — английский писатель, драматург, критик, поэт 57
- Успенский Глеб Иванович (1843–1902) — писатель, публицист 159

- Успенский Николай Васильевич (1837–1899) — писатель 8
Успенский Борис Андреевич (род. в 1937) — филолог, лингвист и литературовед, доктор наук 184, 185
- Ф**ельдман Дина Григорьевна — педагог, завуч детдома в Кошках во время войны 93, 97
Фет Афанасий Афанасьевич (1820–1892) — поэт 8
Финкельштейн Елена — сестра Михаила Львовича Лотмана 16
Финкельштейн Яков — брат Михаила Львовича Лотмана 18–20
Фиш Геннадий Семенович (1903–1971) — писатель 30
Фиш Семен (дядя Фиш) — инженер-строитель, свойственник Лотманов 29
Фомичев Сергей Александрович (род. в 1937) — литературовед, доктор наук, профессор 8
Франс Анатолий (Анатолий Франсуа Тибо) (1844–1944) — французский писатель 8, 28
Фрейдленберг Ольга Михайловна (1890–1955) — филолог-классик, профессор ЛГУ 86, 147
Фридлиндер Георгий Михайлович (1915–1995) — литературовед, академик 83, 118, 140, 227–249
- Х**мелевская Екатерина Митрофановна (1909–1986) — литературовед 128, 140–143
Храпченко Михаил Борисович (1904–1986) — литературовед, академик-секретарь ОЛЯ АН СССР 137, 138
- Ц**ехновицер Орест Вениаминович (1899–1941) — литературовед и театровед 81, 82
Циглер Эльза Владимировна (ум. в 1969) — учительница рисования в Петершуде 45
Цявловская Татьяна Григорьевна (1897–1978) — литературовед 146, 252
Цявловский Мстислав Александрович (1883–1947) — литературовед, пушкинист 144
- Ч**арская Лидия Алексеевна (1875–1937) (настоящая фамилия Чурилова) — детская писательница 28
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) — писатель, критик 8, 126, 198
Чехов Антон Павлович (1860–1904) — русский писатель, драматург 8, 27, 30, 121, 159, 165, 168, 172, 250
Чистов Василий Васильевич — экономист, государственный деятель 83
Чистов Кирилл Васильевич (1919–2007) — литературовед, фольклорист, этнограф, член-корр. РАН 83, 219
Чуковский Корней Иванович (1882–1969) — детский писатель, литературовед, литератор 69, 193
Чулкевич Вячеслав Антонович — преподаватель русского языка в ЛГУ 206

- Шаак** Вильгельм Адольфович (1880–1957) — хирург, ученый, профессор 44
- Шаак** Татьяна Вильгельмовна — врач-хирург, ученый, профессор, соученица Лидии Лотман в Петершуле 44, 45
- Шадури** Вано Семенович (1910–1989) — грузинский литературовед, профессор 83
- Шаркова** Инна Сергеевна — историк 176
- Шекспир** Уильям (1564–1616) — английский драматург 60, 107, 196, 198
- Шиллер** Франц Петрович (1898–1955) — литературовед, специалист по западноевропейской литературе 230
- Ширкови** Александр — двоюродный брат Лидии Лотман 21
- Ширкови** Владимир — двоюродный брат Лидии Лотман 20
- Шкловский** Виктор Борисович (1893–1984) — литературовед, писатель 122, 178
- Шмидт** Отто Юльевич (1891–1956) — ученый, академик, один из организаторов освоения Северного морского пути 208
- Шмидт** Сигурд Оттович (род. в 1922) — историк, археограф, доктор наук 208
- Шостакович** Дмитрий Дмитриевич (1906–1975) — композитор 193–195
- Шура** — няня в семье Лотманов 20, 21, 24, 52
- Щербина** Владимир Родионович (1908–1989) — литературовед, критик, чл.-корр. АН СССР 254
- Эгле** — военрук в университете 197
- Эйдельман** Натан Яковлевич (1930–1989) — историк, писатель 254, 255
- Эйхенбаум** Борис Михайлович (1886–1959) — литературовед, профессор ЛГУ 7, 67, 72, 88, 105, 114, 116, 117, 122–133, 140, 144, 145, 148, 156, 159, 160, 162–164, 178, 181, 186, 190, 196, 218, 252
- Эйхенбаум** Ольга Борисовна (1912–1999) — дочь Б. М. Эйхенбаума 124, 130, 132, 133
- Энгельс** Фридрих (1820–1895) — немецкий экономист 228, 230, 231, 233, 249
- Эткинд** Ефим Григорьевич (1918–1999) — литературовед, переводчик, профессор, доктор наук 83, 113
- Яacobсон** Роман Осипович (1896–1982) — филолог, лингвист, литературовед, профессор 184
- Яковлев** Михаил — литературовед, доцент ЛГУ 80
- Ямпольский** Исаак Григорьевич (1902/3–1992) — литературовед, профессор ЛГУ 114, 147, 148, 150–155, 256

Содержание

<i>Найдич Л.</i> Вступительная статья	7
I. <i>Когда мы были маленькими</i>	13
1. Первые впечатления	13
2. Родители	14
3. Как меня украли.....	20
4. Наводнение 1924 года	23
5. Детский мир.....	26
6. Наши праздники	36
7. Петершуле	42
8. Наша жизнь на даче	48
9. О моем брате.....	51
II. <i>Университеты</i>	76
1. Ленинградский Университет	76
2. В дни войны	87
III. <i>Встречи. Учителя, друзья и коллеги</i>	100
1. Он был нашим профессором. Григорий Александрович Гуковский.....	100
2. Василий Васильевич Гиппиус.....	118
3. Сергей Дмитриевич Балухатый	120
4. Борис Михайлович Эйхенбаум	122
5. Борис Викторович Томашевский	133
6. Доценты нашего факультета. Николай Иванович Мордовченко и Исаак Григорьевич Ямпольский	147
7. Григорий Абрамович Бялый в моей памяти	154
8. В кругу студентов и коллег. Павел Наумович Берков	165
9. Лидия Яковлевна Гинзбург. Встречи и размышления.....	178
10. Георгий Пантелеймонович Макогоненко – мой университетский товарищ	187
11. Исаак Гликман в студенческой компании	192
12. Владимир Иванович Малышев. Служение идее и науке.....	201
13. Дмитрий Сергеевич Лихачев	213
14. Г. М. Фридлиндер в моей памяти сквозь долгие годы общения и сотрудничества	227
15. Таким мы его знали. Вадим Эразмович Вацуро	250
Указатель имен, упоминаемых в тексте.....	263

Л. М. Лотман
Воспоминания

Корректор *О. А. Потанина*
Компьютерная верстка *Л. А. Философова*
Дизайн обложки *У. А. Дымова*

Подписано в печать 06.11.2007. Формат 60x84 1/16
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Petersburg
Усл.-печ. л. 17,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 685

Издательство «Нестор-История»
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7
тел.: (812)235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru

Отпечатано в типографии «Нестор-История»
СПб., ул. Розенштейна, д. 21
тел.: (812)622-01-23